

Содержание

часть первая

ДОМ

верепено.....	4
братья крым.....	34
наха.....	56

часть вторая

ЛИМБ

скрябин.....	64
ближняя дальняя.....	67
анна.....	70
фигуры тумана.....	86
Спина.....	91

часть третья

ЛЕСТНИЦА

диптя.....	95
я, он, топ.....	118
раб.....	131

часть четвертая

МЕЛ

черта.....	138
птица.....	147
прана.....	158
дочь.....	161
в стороне.....	165
кладка.....	171

у распахнутого.....	188
Ф.....	192

часть пятая

ХМЕЛЬ

.....	197
-------	-----

часть шестая

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ

письмо бураге.....	229
--------------------	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ

стекло.....	238
вольер.....	257

часть первая

ДОМ

В е р е т е н о

А е А

Он Випалий, ему 30, живет в Аспралии, так он называет эту мать городов русских, где родился в подвале Михайловского переулка, в подбрюшьи Софиевского собора.

В комнате было пол-окна, глядевших во двор сквозь металлическую сетку, в отличие от человека, видевшего из приюта комнаты лишь небо над колодцем двора, и то — если окно не стригли чьи-либо ноги, снующие по двору.

Потом он жил и в более благополучных местах, пока не отселился со своим овдовевшим дедом в отдельную однокомнатную на ветряных выселках с именем, будоражившим воображение образом щемяще ращепленной Троицы — микрорайон Троещина.

Деду было 86, очерк тела написан молниеносным грифелем, мягким, с запилочкой, озорные глаза, глянцевый череп, на удивление девственно гладкая кожа — барчука лет четырнадцати (это когда в коммуналке Випалий передавал ему полотенце в ванную, где топ плескался, уходя под воду с утконосой улыбкой и выныривал отфыркиваясь). Две-три фразы в день, в дни многословия — пять-шесть.

Знал ли, или — заостряя — замечал ли его кто-либо? Меньше всего его близкие. А кроме них у него, кажется, никого и не было. Сидел на тумбе, глядя вдаль, как на заборе, болтал ногами. Или стоял у комода, перебирал бумажки, в окно поглядывал через плечо. «В космос пора» или «О-хо-хо», — и возвращает взгляд к бумажкам.

Казалось, он как-то rapidly проплыл сквозь жизнь, не замеченный, не затронутый ею. Или простоял за кулисой ее так, что видно было лишь пол-лица — вдали, в глубине, в полутьме. Откуда видно — со сцены, из зрительного зала?

Лев его звали. Но дома — Леня, с маленькой незаметной буквы. Жена его (первая, Рая, быстро сгорающей, как спирт, красоты) держала домашний салон для местной богемы. Он обычно стоял с ладонями за спиной, у камина, грея спину. Присутствие его замечали спустя год-другой.

Рая говорила о нем в третьем лице. И замуж за него она вышла, в некотором роде, в третьем лице. Ее пылко утонченная душа подтолкнула себя увидеть в его оспраненно плывущем в сторону взгляде некую тайну очарованных далей или попросту, то есть по-женски, щелкнуть пальцами у уха этого рано лысеющего пионера, раскачивавшегося на детских качелях, запрокидывая голову к небу, мимо цветастых танцующих юбок и их обладателей — двух цветущих сестер.

А спорим... — кивнула на него старшая младшей, той, которая всякий раз успевала побывать на двух-трех свиданиях, пока старшая лишь дошнуровывала ботинок, левый. Что не помешало ей устроиться в жизни и светлей, и надежнее младшей.

И это правило, — скажет с горечью младшая, потом, переводя дыхание, обернувшись на прожитую, — счастье льнет к флегме.

И вскоре он женился на ней, не заметив ни себя в качестве мужа, ни ее девственность. А еще через некоторое время, находясь в командировке, пришлет телеграмму, состоящую из двух слов: «Назвать Майей».

Так родилась дочь. Очень смешливая. И уши у нее были разные; большее отпосыренное она подвязывала ниточкой под волосами. А когда подросла, мать сказала ей: «Не красивого, не умного, не богатого ищи, а веселого. Веселого — и будешь счастлива».

А тем временем он ушел на фронт и, дойдя до Берлина, где был назначен начальником одной из железнодорожных станций, откуда шли на восток груженные профеями поварняки, вернулся домой с маленьким облезлым чемоданом, в котором было несколько перочинных ножииков, связка карандашей, диковинные почилки и отрез крепдешина — неопикуемого, мелко наспруганного цвета.

Вскоре после смерти жены (которая, узнав, что ей осталось около месяца жизни, сбежала из больницы в Москву, до последнего дня переметываясь по галеркам театров, и, вернувшись в больницу, к утру отошла, вдруг сжавшись до крохотных, нечеловечьих размеров, и, уронив голову набок, к окну, с уже подвязанным косынкой подбородком и узелком на тмени с заячьими ушками, встретила вошедших в палату мужа и дочь, судорожно пытавшихся удержатъ взглядом эту мнимую нитку света, уже оборванную) он переселился к полковнице медицинской службы, щуплой шаркающей фронтовичке с чуть разглаженным лицом лепучей мыши, маленьким добрым сердцем и цепкой кистью, всё норовившей прощупать пульс.

Жила она в коммунальной квартире на семь семей в желтом сталинском доме, щекою прижатом к зданью ЦК и косо глядящем через дорогу на Спилку Письменныхквив — по одну сторону, и на Дом Городецкого, запянутый цементным неводом, полным пучеглазого бестиария, — по другую эпой зорко тишайшей улицы с будками часовых под якобы смеженными глазами.

В коридоре, как водится, висел на стене обугленный позвоночник именных выключателей, а в туалете — семь унитапзных сидушек — семь рыжих древесных подков, висающих на сотках-гвоздях.

Была приходившая дважды в неделю кухарка с мелкими глазками на широм розово-пучном лице — всегда, и в жару — как с мороза. Она готовила, совала куда-то в замысловатые подъябочные края заработанную пятерку и, пяпясь к двери, машинально выпирая ноги о половичок, спиной протискивалась наружу.

Полковница вела обед, как сложную хирургическую операцию. С полной предварительной стерилизацией стола. С цепкими бросками взглядов и рук. Дед ассистировал молча, привычно, непоропливо.

Изредка его навещали дочь с внуком и уходили с дребезжащей головой, наполненной спекольной речью полковницы, отпрывистыми взмахами у лица ее пепушинных лап и тихим зияньем деда, вроде бы сидевшего рядом.

А потом полковница поскользнулась на той зоркой улочке и, сломав шейку бедра, запихла, впившись сузившимися зрачками в окно, и к осени умерла.

И тогда Випалий переехал к деду. И когда он, проснувшись, проходил через его комнату, дед всегда уже сидел в упреннем луче на краю кровати, голый, с подвязанной суспензорием мошонкой, и капал подошвы ног по массажным роликам, провожая его озорным, чуть удивленным взглядом, мол, а это еще кто?

Лишь однажды Випалию удалось разговорить его. Минут на двадцать. О войне. Событие настолько неожиданное, что сам рассказ сдвинулся в тень, в размыв. Какая-то узловая станция, переходящая то к нашим, то к немцам, неразбериха, он среди немцев, захвативших станцию, беженцы, дети. Дальше — размыв, что-то происходит в глубине вокзала, и ярко: немец — держит ребенка за ногу — как куклу — кричит — размахивается — бьет об стену. Дед — прорывается к нему — спреляет в упор — хватают — лежат с прижатой сапогом шейк к полу. Взрыв — летят стекла — суполока — наши. Поднимает голову — рядом раздавленная голова ребенка с разбитыми глазами.

А потом у телевизора: «Я, — говорит, — с ним в Калуге чай пил с баранками». — «С кем?» — проходя оборачивается Випалий. «С ним», — показывает дед на Циолковского в телевизоре.

Как-то, когда мать занесла еду, он всё молчал, выпятив нижнюю губу, глядя на пакеты, которые она выгружала, или на ее руки, или сквозь нее, а потом, проводив ее до двери, сказал: «Он днем ночует». Она так и не поняла, что это он о девицах, которых Випалий изредка приводил. В интонации не было ни осуждения, ни удовлетворения. Так говорят, глядя в окно: дождь.

А потом дом расселили, и дед получил однокомнатную на оселковых выселках ветра. И мать взяла его к себе, а в ту, «на ветрах», вселился Випалий. Дед переехал с тем же облезлым чемоданом, где к ножикам и точилкам добавилась завернутая в газету пригоршня орденов и медалей.

В отсутствие пумбы он сидел на кухонном подоконнике, болтая ногами в подспреянных брюках, и весело поглядывал на свою дочь, которая, напевая, накрывала на стол. Весело и с некоторым изумлением. «Я и не думал, что ты... — он отвлекся взглядом в окно. Казалось, что конец фразы может быть и таким: — Что ты у меня есть». Или даже короче: без «у меня».

И жил еще пес, которого мать, поропясь на работу, выпускала гулять одного, и топт возвращался — когда к вечеру, а когда и через пару дней, обходя всех знакомых Випалия в этом районе, зная, где кто живет, и скребя лапой двери тех, кого хотел видеть. Дед потрещивал его за ухом, немногословно.

Однажды Випалий застал его говорящим с псом на латыни. Из иностранных, похоже, это был наиболее ярко сохранившийся в его памяти язык. Пес, сидевший у ног, не сводил с него глаз, похрапывая ноздрями от удовольствия и переминаясь.

Похоже, кажется... Ничего определеннее и не скажешь. Как богомол — вроде бы и кузнечик, и пришелец, раскачивается, как на молитве, перебирает лапкой незримую тайнопись воздуха, каббалист, думает пальцем, шепчет, а палец — то перышко с буквой, то смерть.

Дрогнул дед, похоже, лишь однажды. Под Пинском. Ему было три, стоял на берегу, а по реке плыл фамильный пароход, названный его именем. И, проплывая, взревел гудком. Горячая струйка стекла по ноге.

Флегму его сдувало, как только он выходил на улицу. Сохраненная, видимо, с молодости спремительность его походки задавала теперь несколько угрожающий наклон вперед, который он как-то уравнивал выбрасываемой вперед палкой, которая нужна была, скорее, не для опоры, а для этого папирного выпада и увлекаемого вслед за ним тела. Этой же палкой однажды в присутствии опешившего Випалия он вынудил развалившегося в автобусе бугая уступить место даме.

Дорогу он переходил всегда только на красный свет. И на восемьдесят седьмом году был сбит насмерть грузовиком на том самом месте, где полугодом ранее погиб пес. На опознании в морге Випалий отвернул простынку: на него глядело раздавленное лицо с выбитыми глазами и чуть съехавшей вниз улыбкой.

а с п р а л и я

Австралия — это страна-мираж, чародейное сновиденье, клубящееся над плещущим порфяником. В нем кружит осколок мутного зеркалаца Миргородской лужи, восходят лопающиеся пузыри вурдалаков, Демон рисует Врубеля и без устали рвет холсты, обветривается кремовый кондитерский Крещатик, рэвэ и стогнэ по ночам Шевченко, вечная майская ночь стоит над этой краиной — белой, как панночка во гробу с кровавой слезой заходящего солнца.

Великий поддув идет из глубин этой чародейной земли и, просачиваясь сквозь верхний слой, подымается сновидческим испарением, как Вий с пальцем, указующим вниз, вспять, в землю. Погружаясь в нее и вновь восходя, раздуваясь.

Всё, что рождается в этом краю, задано этим поршневым ритмом: грибовидный клокочущий вздув с обещаньем небес и опзвв с поллупти, сладострастный опсос со злорадным кваком и сомкнувшейся пиной поверх.

Это пучащееся под землей зеленоглазое чудище с чувственными спеклодувными губами и переливчатой магмой мозга, эптот Первкак мира, эптот перво-Бульба, эптот косматый Батько, вскинувший в небо своих сыновей — Бога и Дьявола, сидип под землей, дуется, как стекло выдувает грибные кошмары и всасывает в себя, как галлюциноген, — Людомор, Батько.

Как шар выдувает из-под земли аспрал, и желтым выющимся ногтем прокалывает его у звезды, и всасывает пряпочку лопнувшего шарика, и закручивает у губ упругую бульбочку жизни, и давилл ее о землю. Превращая людей в свиней, свиней в ангелов, ангелов в мышей летучих.

Чуден топ, кто был рожден с этим поддувом. Дважды рожден, кто смог себя выпростать из этого края, за волосы, как Мюнхаузен.

И Горенко бежит, на ходу превращаясь в Ахматову. И Бердяево-Шестов-Кандинский бежит... Тьмы и тьмы их, выпроставшихся из этого чародейного чрева, разошедшихся по всему свету. Но спокрапные тьмы оставшихся в нем, как в снотворной могиле, в мерцаньи плаценты с подслеповатым солнышком сквозь нее, с цветущим раем деревьев, ног, рук... Грудастым, сумчатым раем. С гулкой пятточной пятой. С поцелуем косматым, окутавшим пятку, и выше — втянувшим всего человека, взасос.

И срыгнувшим его над собой, как бы в небо подбросив, оппятивая слюну и опять забирая губами эту клейкую жизнь, эптот гумос цветущий, эту фату-моргану во влажной фате.

Это снящееся лоснящееся тело жизни — крылатое ладное, без головы. И как ее ни пришивай, пепушиную, — с запада ли, с востока, — не приживается. И ходит тело без головы с фантомной дырой. Зато выход в аспрал просторен. И петь сквозь нее протяжней.

Разбудить неспящего может только дорога, уводящая из этого края. В Рим — Гоголя. В Крым — Волошина. В Москву — Булгакова...

В Москву, — думал Виталий, и уже несколько раз пытался выволочь себя за волосы из этой цветущей топи, но всякий раз вдогон ему из нее высывалась рука и хватала за пятку. И он вновь возвращался — как бы на минуточку — и увязал на годы в этой обчмокивающей колени, бедра, грудь и уже стягивавшейся на шее и задувающей глаза панночке. И вновь выворачивался, впрыгивая на подножку поезда номер два, увозившего его на восток, в Менталию.

м а й я

Ему было 20, жизнь опняла у него все, как казалось ему, что можно было опнять, и вложила в руку карандаш, чтоб писал.

Ей было 20, жизнь одарила ее всем, чем, казалось ей, жизни, можно одарить женщину в начале 50-х, бегущую по волнам Австралии.

Он был похож на сутулую туберкулезную птицу, стоящую на одной ноге, спиной к забору пригородной танцплощадки, чуть раскачиваясь на поджатой к забору ноге. Белый мешковато стилижный костюм, открытый лоб, шевелюра, зачесанная назад.

У нее — легкое танцующее тело, солнечное весеннее зеленоглазое. Чувство такое, что она, как майская полянка, обцелована жизнью, что лучи, прижав уши, скользят сквозь листву к ней с мурлычным извивом. А из сумрачной чащи летят к ней продрогшие бабочки, вышагивают смущенные офицеры, очкарики, работяги, одуванистые забуддыги... Последние чуяли ее за версту.

Детство у него было вырвано, как нога. Он и шел на одной, болезненно всмаприваясь в каждый шаг.

А она не смотрела под ноги и, похоже, вообще не касалась земли, это она, земля, казалось, подпрыгивала, чтобы мазнуть языком ее пятку.

Его мать, сменив семью, срубилла его, как мешавшую ветку на дереве, и отбросила за Урал в депдом. После войны он разыскал и ее, и отца, мягко прикрывшими перед ним дверь.

Она росла в лепучую обнимку с матерью, по ночам просовывая голову с подвязанным нипкою отпыренным ухом в духовку, и до утра читала. (Странно, — думал Виталий, лежа где-то в ее возрасте с фонариком под одеялом до утра, читая, — почему в духовку?)

Он шел, как сушулая срубленная ветка, пытаясь привиться к жизни — запекшимся срезом, но каждое прикосновение причиняло боль. Боль, прикрытую русской литературой, русой иронией, депдомовским навыком, одноногой чечеткой бегущего по бумаге карандаша.

А она была неприкрыта, и руки ее были свободны от карандашей; это жизнь писала ею, не отрывая руки, что называется, как бог на душу, без нажима.

Он родился в Москве, она в Белоруссии, встрепились на полпути, в пригороде Австралии, на танцплощадке, и закружились. Была такая песня в те годы: «А я кручу напрагалую с самой ветреной из женщин, я давно хотел такую — и не больше, и не меньше». Меньше была она, конечно. Но и больше, говоря о стихиях, чем только ветер. Немного огня, воды немного. Земля в основном — с ветерком.

Мать ей сказала: «Дурочка, такой человек тебе с неба свалился...» А дочь все смеялась, и поспешно, как счастье — чуть ветрено, становилась ему женой.

Можно ли говорить о родстве этих душ, о любви этих тел? Да. Хоть и странно.

Сын родился. Он долго вглядывался в него через ее плечо, покачивая головой: «Тебя я очень люблю, но вот это...»

Но вскоре «вот это» взяло его за руку своей маленькой теплой ладонью, и он качнулся вперед, в будущее, хотя другая рука его так и осталась с негнущимися пальцами, впившимися за спиной в тот ужаленный берег детства.

И меж этих негнущихся пальцев доживала в Москве его мать, которую, как и отца, он с тех пор, как перед его лицом мягко прикрылась дверь, и не видел. Не хотел и не мог. Они все еще жили, когда ему было 20, 40, 70... Мать, состарясь, пыталась наладить с ним связь, позвонила. Он выслушал, молча. Сказал: «Плохого я говорить тебе не хочу, а хорошего — нечего». И прижал к рычагу трубку.

Вправе ли сын судить мать, — думал Виталий, — вправе ли не прощать? Да, — не задумываясь он вторил отцу, как бы живя из него, из объятий родства, из того триединства, в котором он рос, — отец-мать-сын, и это — он чувствовал животом — и есть дом жизни внутри космического дома, который не может существовать иначе, чем этот, маленький, внутри него дом. Иначе — хворь, иначе — безумье, иначе — льдистая осколочная тьма.

Так он чувствовал, обнимая отца. А потом, уже в зрелые годы, да и то — как-то исподволь поначалу, сделав шаг в сторону и оттуда взглянув на топ островок, где стоял, вдруг искоса тихо подумал: «А вправе ль...»

И даже не в праве ведь дело. Конечно, не в праве. И даже не в крови, и не в душе. И почувствовал, как, обливаясь и обжигая, расходятся берега между ними в этом «нет», раздвигающем их.

Но это потом. А пока дед переселяется к полковнице, мальчик, подслушав среди ночи разговор матери с отцом о каком-то шаре, который капает в пустом холодильнике, на следующий день сбегает из детского сада и возвращается к ночи со вспученной пазухой, выгружая на стол искусанными руками лебединые яйца, добытые в зоопарке.

Следующий год у него уходит на тайный сбор стройматериалов по всей округе, которые он складывает, сдвигая канализационный люк, в подземный бункер. Это для будущего дома, после очередного подслушанного разговора о жилищных условиях.

К тому времени как склад уже переполнен, к детскому саду подъезжает на двугорбом верблюде рыжебородый геолог. Или привязывает верблюда в переулке, а сам ждет, сидя в кусте жасмина, бегущую по волнам мать.

По вечерам мать с отцом сидят на кухне, сцепив ладонями головы.

Мальчик просит отца еще и еще раз читать ему на ночь про дикого кура. Что же там было в той сказке, теперь он и вспомнить не может. «А что, кур, куда ведет эта дорога?» — «А никуда. Вот и конец ее и начало». — «А что же за нею — там?» — «А ничего». — «А где ж мы стоим?» — «А ты посмотри — нигде, ни на чем». — «И правда». В таком духе.

В таком духе и разговор шел, доносившийся с кухни.

Отец собрал чемодан и на время ушел. У двери чемоданную ручку держали две руки — его и ее, тянувшие в разные стороны.

Вечера опустели. Мальчик во тьме жег костер в умывальнике. Рыжебородый, переступив порог, не одобрил, ушел.

Выронили счастье. Как чашку. Он думал — она на лету подхватит, она — что он. Спихватились рукой и опдернули. Или думали — небьющееся оно?

И оказались они по разные стороны реки — той, с редкой птицей, не долетевшей до ее середины, как с наведенной мушкой на воздушной щеке Австралии.

На левом берегу — мать с мальчиком и рыжебородым, сбившим бороду, обнажив рассекающее волны, глассирующее лицо с глазами весеннего, проглядывающего сквозь снег асфальта, и на правом берегу — отец, заслонившийся женщиной, от которой попом одна из подружек Виталия попятится: «Ужас, у нее ручищи растут из шеи, — и тихо добавит: — Как ноги».

Под мышками этих рук она носила скупаемые ею квартиры. Руки с годами поднимались все выше, но квартир не роняли.

У отца начало сдавать сердце — то, детдомовское. Разрезали, зашили. Зачастили срывы, скорые у подъезда, с порога он требовал дефибрилляцию. Это когда сколько-то тысяч вольт бьют по сердцу. Молодой врач как-то объяснил мальчику: «Это как в бильярде наоборот — шарик по шарiku: упадет в лузу — смерть. Нужно, чтоб не упал. Фифти-фифти». Когда мальчику исполнилось 30, первые фифти догнали и обошли эту цифру. А он все требовал с порога: или — или.

К тому времени в нем, в отце, стала как-то все больше проступать женщина. В нем, непримиримом и голом, как кол, — женщина в вязаном чепчике, розовой кофте и со слишком ухоженными руками. Проступала, как сквозь запотевшее зеркало в ванной.

«Я тебя на горбу своем волочу, ничтожество, — говорила ему эта супружная дива с поднятыми железными крыльями, — я здесь мужик», — и, отстегивая крылья, садилась с ним рядом, урча, смотреть альбомы по искусству.

Но это чуть позже. А пока мальчик ходит с одного берега на другой и к ночи обратно. Пытаясь собою сшить эти две половины, разъехавшиеся по сторонам реки, дома.

И, проходя по мосту, он бросает школьный портфель в реку. Но его как-то вылавливают и возвращают. И он закапывает его в снег городской клумбы, и его опять возвращают. Он сжигает его с содержимым. Ему покупают новый. Он бродит по городу, садясь на берегу реки, придумывает себе домашние задания, ставит оценки, пишет что-нибудь от учителя...

По телевизору показывают бесконечное фигурное катание, его переводят из одной школы в другую, где за короткое время он создает авторитетный образ активного ученика и с веселым сердцем исчезает на месяцы.

Вначале — в затерянный мир города, который в его представлении похож на шар, да он и есть шар земной, куда бы ни шел — попадешь в свой след. Он влюблен в этот город, вовлекаясь в его глубину в поисках центра, инопланетного семечка этого баснословного плода, который сам себя ест и сплевывает в кулак позолотцу, не уменьшаясь при этом, а — что? — кто ж тебе скаже, кур.

Зарисовывал каменные гримасы города, лупоглазые с надутыми щеками, играл в кладбищенские крестики-нолики, рыл вздутые над рекой чакры в поисках реликвий, выменивал отрытое на невиданное, вожденное, уплывал на пустом речном трамвайчике к плесам и пустыням,

забрёдал в дебри окраинных парков, уворачивался от улыбчивых дядек, манивших его из кустов, сутулился, собирал в гастрономах монетки, запотпанные ногами, пересиживал усталость в кинотеатрах, где к нему подсаживались те же дядьки, возвращался в полудом матери, через такой же полу — отца. Смотрел женское фигурное черно-белое, поглядывая со сглапываемой в тишине сердечной кислнцей от близящегося разоблачения в сторону матери.

А потом возвращалась из многомесячных странствий опросшая борода мужа и вынимала из привезенных ящнков завораживающих смертоносцев — змей, пауков и прочую ересь природы, от которой он так восторженно цепенел. И расплалала посреди комнаты кожку овчиной кверху, и они садилась на него с мальчиком, прихлебывая из расписных пиал чай кочевий со спрующимся над ним тоненьким джинном дымка, и начиналась тысяча и одна ночь, но, прежде чем успевали взойти ее звезды, уже наступало утро с его дребезжащим, исполосованным прещинами стеклом между ними. Стеклом, сквозь которое мальчик бил кулаком, и борода, покачивая головой, отряхивала осколки. И дребезг себя собирал по углам и опять восходил между ними, спекаясь в эту крохскую полупрозрачную пленку.

А в углу комнаты стоял круглый, как город, аквариум, на дне которого поблескивала серебряная университетская медаль, мамина. Вокруг медали дули в дно, вздымая желтые буруны, утрюмые дворники в прожженных вапниках, маленькой головой и буденнистыми усами. Над ними — мраморные гурами. Как говорил Чехов, «женщины делятся на тех, у кого рот сердечком, и тех, у кого колечком, как у налима». Между ними — кровавые самураи — меченосцы, и забрызганные тела их распеленатых самочек. Випиеватая водоросль исчеркана хороводной сангиною гулий. И над ними — обмокнутый в воду плавный курсор коготка черного кота, сидящего на ободке аквариума.

Мать в командировке, рыбки сжарены, слипшись, как монпасье, в животе у кота, который вымыт дустовым мылом и вдвинут в духовку на обсушку, откуда вдруг исчезает и обнаруживается наутро околевшим на заснеженном балконе.

Это походный кот, которого звали Бес, прошедший с мальчиком уже не одну сотню километров, вдруг исчезавший в лесу и находивший лагерь днем позже или днем раньше, то есть уже поджидая у будущей стоянки, зачастую неведомой и самому мальчику.

И остался пес. Тот, который. И мальчик, разомкнувший шар города, на котором стояла девочка.

А так как время в то время в той бескрайней стране не существовало, пространство каким-то магическим образом было также и временем, неким гермафродитом что ли, или бесконечным морским коньком, который вынашивает возвращенную самкой оплодотворенную сперму, или некой белой дырой, давящейся временем, не успевшим родиться. Мальчик откатывался все дальше — к Байкалу, в пески, в Заполярье. Оставляя на кухне записку: не волнуйся. Люблю. Буду — (месяц, число).

И день в день возвращался.

Там, на краях света, никому и в голову не приходило, что этот мальчик не из соседнего вагона, улицы, деревни. Что он видел, ведя дневник, что его гнало все дальше? Верстовые столбы, размапывающиеся за плечом. И всё? Всё, для тех, кто понимает. А будь он раньше на пять-шесть веков — была б другая история, да? Была бы?

Отец продолжал жить не свою жизнь, годами чертя на кульмане роторные экскаваторы, ночами ворочаясь с боку на бок, думая о набросках к пьесам, пыльным листам, лежащим ничком на столе. Вечерами бродя с сыном по улочкам, уводившим его от недома, к себе выводившим, а сына — к нему. Пил чай, заливал корвалолом, ложился.

Мать жила даром жизни. А кого любит жизнь? — не в отдельном своем проявлении — цветке, человеку, реке, — а как жизнь, вся, как дар соловьиный? Грех сказать: никого. И себя уж давно. Но не надо, наверное, так глубоко. Дно всегда — или муть, или камень.

р е к а

На дне реки, текущей сквозь город, лежала непробудная муть. Да и было ли это рекой? Ни мифологии, ни истории, ни родства с землей, по которой она молча текла, у нее не было.

Даже имя — не женское-материнское, не девичье-невестящееся, да и о мужском говорить сомнительно, разве что с русофильской поправкой. Ни вторичных половых признаков, ни лица — первичного. Какой-то сгреб выпрастывающихся из кулака согласных. Похожий на взмах кнута над крупом лошади с одновременным опягиванием поводьев: ппру!

Ни рыба ни мясо, текущее куда-то к югу с какого-то севера. И город, стоящий спиной к этой течи. Лицом наклоненный к акрополю — к рынку. Подальше от этого безродного водоноса, повыше и развернувшись спиной.

Этой же спиной он вошел, точнее, был загнан в реку, крестясь. И вышел не то чтоб сухим, но отряхиваясь и скользя щекой по правые, обтираясь, как пес.

Спиною же сброшен был в реку Перун — прежний их бог, и город бежал вдоль реки и кричал: выдыбай, выдыбай! Вынырнул и прибился к берегу там, где Выдубецкий монастырь и Языческий сад теперь. И опять повернулся спиной — на тысячулетье.

Разве что сплавились вниз через море потискачь Царьград, щип на ворота его повесить и отойти с веслами в кулаках и былиной во рту.

Ну и варяги, разве что, которые с севера, но кому ж охота род свой вести от кукушкиного подкидыша? Глаз вон.

В общем, тысячулетье спиной, будто за ней — край света. Собственно, это и был край света: серенький, водянистый, с пологой зарослью до безвидного горизонта; черниговская губерния, видно, снилась ей, этой заречной светощеми, чем и стала впоследствии.

Рука, а скорее нога этой Спины как-то вяло и незаметно съезжала по раскишей береговой глине к реке и подпягивала себя на сушу, и опять съезжала с подоткнутым к бедру подолом, наконец, утрамбовав пяточок ремесленной слободки.

Похоже, не только и даже не столько город сидел спиной к реке, сколько река к нему. И текла она спиной также и к другому берегу, и к небу спиной, и спиной ко дну. Не река текла, а спина; с какой стороны ни возьми — спина. Мокрая бесцветная плоская, с натруженным позвоночником и власяными родинками островков. Казалось, такой же она представляла и снизу, с якобы дна и с боков.

Странно, что никому не приходило в голову переплывать ее. Даже в том порывистом возрасте, когда город, сам молодея, лущит на берег своей реки пацанву, срывая с нее, бегущей к воде, одежду, лепящую через голову, перебрасывая эту стайку рукопашного гороха с одного берега на другой, как из руки в руку. Не плывут.

Да и не его, города, эта река. А чья? Даже самоубийцы обходят ее, не топаясь. И не то чтобы было какое предубеждение или дурная слава... Нет, даже этого нет. Но что-то течет как река, то есть в качестве некой воды. И на вкус — без каких-либо свойств, как человек. Не по Музилю, разумеется.

Вторично город обернулся к реке через тысячу лет — перегородить ее, и это было вторым — водопроводным — крещением. Третий выход был пансионной переправой на пути к Рейхстагу. Четвертый, последний, был на памяти мальчика: тоннель метрополитена вышел к реке с разинутым ртом, стиснутым дышлом станции. Из рта с двухминутным интервалом высовывался синий язык поезда, стряхивая на дышло платформы сыпь горожан, и втягивался обратно. Лица конца шестидесятых с пускнеющим блеском в глазах вглядывались поверх санитарно-салатной клеенки реки в казенную пустоту.

Потом ко взгляду пристроили мост и накрошили мельчающий вдаль пенопласт новостроя.

Полощатся горожане, как правило, подальше от ее русла: в затоках, старицах, заводях, затонах. За исключением визионеров, медитирующих с левого берега на золотые чакры правого.

Пятипалубный Шевченко плывет мимо своей могилы вниз, к морю, томясь в бесконечных казематах шлюзов, клюет в него носом и плывет обратно.

Мальчик с уже намечавшимися усами сидел у реки и думал о двух вещах, которые его беспокоили.

м а й я

Он думал: почему этот город, быть может, самый лучший на свете, вскипает в нем этими схлестывающимися волнами — любви, отпоржения, щем, стыда... Улеглись, откатились и снова схлестнулись — запылками.

И какая-то в этом во всем безысходность. И необратимость. И кровь, и родство. И беспамятство. И замороженный глаз — твой, в котором он отражается. И река, как любовная щем, как межреберная невралгия. И, как крик с перехватом дыхания еще до рожденья, — жизнь.

Почему так навязчива мысль уехать из этого города? Так тревожна, со вздрогом, будто жизнь отнимают? С каким-то мистическим вздрогом — из будущего. Почему так беспринято знобяще повсюду, где его нет? Почему возвращаться в него так тепло и светло? Почему здесь — к чему ни прикоснись губами или ладонью — повсюду: зб.б. И ни выше, ни ниже градусом — как у птиц.

Почему так отпадно жить здесь, среди этих деревьев, людей, холмов, слепленных из одной теплой, чуть влажной, необожженной глины? Отпадно — вот это слово. Не случайно здесь и район с этим именем: хутор Отпадный. Весь город — Хутор Отпадный! С летающей над ним головой. Глядящей вниз, в межплечевую дыру. Цветущую, майскую.

Индусы говорят: горловая чакра тклет судьбу. И еще говорят: маяя — головная боль без головы.

И второе, о чем он думал: стая. В нем эта стая, разбредающая все дальше друг от друга. И трудно сказать, как и когда это началось.

И один из них в нем — первый, если говорить о доле времени, с ним проживаемой, — львиной: человек хохочущий. Не так, как обычно смеются люди, а безоглядно и напролет дни и ночи. Ночью во сне так смеющийся, что наутро находит себя на полу, откатившимся от кровати. И днями — залившийся смехом не *над* чем-то-кем-то, а так, будто жизнь, то есть та ее часть, что смеется, вселилась в него и впиалась к лицу.

И как-то разросся вокруг него табор таких же, как он, трясун. Шатия-брапия, табор подростков, полбесы-пол-ангелы, ржущая взвесь, робин-гуды, шуты, дружбаны.

Что они делали? Если в поход шли — то в январе в простынях через город, а за плечами как рюкзаки — раскладушки на лямках. На Эльбрус восходили в комнатных тапочках и в связке из катушечных ниток. К морю выезжали на угнанном тракторе, подцепив по пути строительный вагончик, который устанавливали на пляже, выходя по утрам в наворованном опереточном реквизите. С едой и прочим проблем не было, просто брали, вваливаясь в магазины.

Еще были ежегодные одиночные соревнования: кто совершит самое длинное путешествие с одним рублем в кармане. Стартовали с поварной станции. Он вернулся через полтора месяца, проехав Крым, Кавказ, Грузию, Армению, оппуда «зайцем» прилетел на самолете. Последнее было не редким, но высоким пилотажем.

Для воздушного зайца было три отработанных варианта. Для железнодорожного — девять. Из любимых был поварняк; выбираешь вагон по душе, обустройстваешься, небо над головой лепит, примусок дуется, пей-веселись, гуляй по крышам, кум королю, а на станции узнаешь у оранжевых молоточников — куда какой следующий, пересаживаешься. В те времена это проще репы было.

Спать он мог в любом положении, при любой погоде: на снегу в майке, на вокзальном полу, под ногами схаркивающих пассажиров, на ходу, по поясу в белорусских топях, прижимая к груди пса — того, который.

Или спрыгивать с поезда в пустыню и идти наобум горизонта, налетке, в никуда, спать, ткнувшись улыбкой в песок, а потом спричь спреноженных верблюдов — как на луне, если взглядом даль обвести, а цирюльник — туркмен со склеенным ртом — складывает шерсть в мешки, и верблюды — те, что стоят еще в очереди, паплапы, глядя на свои отраженья — голые стеклодувные сквозь зернисто дрожащий воздух.

А потом с двухметровым мешком на спине шли в заходящее раскаленное солнце — во весь горизонт.

И белый кубик игрушечного дома на безжизненной смеркшейся планете, и девочка, вышедшая из домика с кувшином воды, присевшая у его ног, и свет из окошка, и ее пальцы, щекоптно переплетающиеся с пальцами его уворачивающихся ступней, как маленькое вихрастое солнце, запутавшееся в своих лучах, на которое льется вода тонкой струйкой, не долетающей до земли, из парящего в небе кувшина, и не видно глаз этой худенькой полупрозрачной девочки, склоненной у ног его, сверстницы, в нежно-розовом шелке, будто выкроенном из закатного света, медленно, так медленно, что кажется, что уже светает, поднимающей к нему лицо.

Или та ласточка, с которой он переждал грозу, забившись в узкую нишу в скале на Красноярских Столбах высоко в небе, и молнии полосовали сетчатку глаз, и телом его эта ниша была заткнута так, что ласточке оставалось лишь вжаться грудью в его подвернутую к плечу шею, прикрывая подрагивающим крылом его губы.

Или этот Антон Рубинштейн, плывущий по Енисею к полярным льдам, зябкими пальцами пианиста разводящий воду под своим высоко поднятым стальным носом.

Мальчик шел мимо, увидел корабль и вприсядку прописнулся меж чемоданов. Кораблем возвращались из оппусков, догуливая, норило-дудинцы, бичи, новобранцы — на долгую ночь до весны.

Он в той же рубашке лоскутно-веселой, и руки в карманах, и весь налетке, спит на скамейке на палубе, на него садятся впопьямах, обливая шампанским, или буфетчица валится, стягивая на себя, словно скатерть, двух мужиков с перезвоном бутылки.

И густые палитры со щедро выдавленными тубами красок по сторонам реки как-то подворовывались по ночам, и остатки их, подобранные мастихином, оставляли голую переливчатую фанерную гладь Приполярья.

Или тот склеротичный облупленный поезд, казалось, годами птянувшийся на восток. Поезд, из которого все время выходили люди — на полустанках, в полях, на ходу. Пока он не опустел совсем.

И остался лишь он — на трептёй полке, сжавшийся калачиком внутри мешка для постельного белья с подвернутой под щеку его горловиной и напрягающий мышцы до искусственной дрожи, выжимая этим усилием тепло, и в соседнем вагоне — девочка-проводница, и больше, похоже, во всем поезде, включая локомотив, ни души.

И он говорил девочке, показывая через пыльное стекло вдаль, на моргающий глазок деревушки: «Давай, ресничка, поселимся там и будем так счастливы, что время нас никогда не найдет».

А потом вышел на одной из станций и ушел. А потом никак вспомнить не мог — куда поезд шел? Вспомнил — в Улан-Удэ, до которого было еще пол-России, и давай догонять этот поезд, чтобы — что?

Чтобы просто такая картинка жила — предрассветная, переводная: подходит поезд к конечной станции, пустой, лишь в одном вагоне открыта дверь и в проеме стоит эта девочка, и в руках у нее вдруг оказывается охапка цветов, и от неожиданности она прижимает к груди их, не видя сквозь них — от кого, а поезд скользит вдоль платформы, уже опустевшей.

Но это другие оплочки, не таборные, одиночные. А в таборе он не то чтобы верховодил, но это место всегда оставалось за ним, невостребованно. Почему? Думать об этом он не хотел. Сейчас не хотел. Но где-то в застенке себя и сейчас думал. Без слов, рассказывал там и думал.

Многие из его табора уходили в застенки, не в эти, в реальные, немногие возвращались. Ангел его берег. Как сказали ему однажды: два у него над ним. Там, над. А здесь — только сам, был и будет.

Только где ж этот «сам»? Один в таборе, другой в одиночке-оплочке, третий — с умниками в Москве, и настолько другой, что с теми двумя едва знаком, четвертый — между отцом и матерью, на мосту, от которого ни одна из дорог не ведет к тем проим; пятый — сын полка межрайонных гусаров; тот же табор, но чуть помахровей, махновой, с девицами, припороченными к седлам.

Сказал, и тут же впилась в живот, в низ живота, рука, мокрая, жгучей щемью. Ему четырнадцать, лес, палатка, в ней деревенская девочка, на год старше его, на ней — по очереди, очередь — у входа в палатку, полукругом, он — последний, девятый.

Полог раздвинут, палатка чуть набок завалена, там уже пятый, спонеп, пятки ее выпростаны, елозят по сосновым иголкам, май, птицы поют, он чувствует сквозь дрожь, как его неопит втягивается пятясь, как моллюск, в клейкой слюнке, а там, в палатке, Толян, по кличке Слон, со своим соответствием, и лес, взрезанный ее криком, хрипом, и дрожь пятчная, и она воеет, зовя: «Макар! Макар...»

И Макар, тот, который был первым на ней, тот, который ее прикадрил в деревне, пока он с ветперанами прижимал к забору гуся, Макар ныряет под полог, и они там вдвоем над ней возятся, а потом Слон отползает, и кровь печет у него по бедру, и дубина его обмякшая в разводах крови. И мальчик думает: всё, пронесло, шабаш.

Ан нет, палатка совсем завалилась, накрыв их там, и брезент начинает потряхивать, и голос ее оттуда совсем другой: «У-да, ту-да! Та-а, ты-да...» И вроде как со смешинкой даже, осколочной, холодящей.

И все-то вокруг, конечно, уверены, что мальчику не впервой, и, папироску пуская по кругу, подбадривают его, уступая очередь, давай, мужичок, ты, а мы докурим.

И никому в голову не придет — ни в этом таборе, ни в других, — что «мужичком» он станет лишь к двадцати двум, к тому времени, когда девиц, с которыми он был близок на глазах у всех, если только этих считать, «свальных», уже хватало б на деревушку в сотню с лишним домов. И ни с одной из них он не был.

И он не может теперь размотать этот клубок — когда, как все это началось, кто была той, первой? Да и зачем это знать? Пептинг, лишь пептинг — изнуряющий психику, многолетний, раз за разом замирающий у черты, и затем дрожащий на волоске от разоблачения. Неразоблаченный. Ни таборным глазом, ни женщиной.

Но все это будет чуть после, а пока только-только размазывается, он сидит у реки и чувствует, что все это как-то взаимосвязано: город, расколотый меж отцом и матерью, этот сам не свой в нем, расходящийся в разные стороны — к полусвоим, эта девочка-пептинг...

И эта смута, откуда-то издали все вдеваемая в него, будто нитка в ушко, будто мысли в слова, все промахиваясь близоруко.

Джокеры на руке, воп что, — сказал он вдруг, запустив плоский камешек по воде, шлепанец, попрыгун. — Для Москвы — таборный джокер, здесь — зеркально, и так далее. Не клади все яйца в одну корзину, — народ говорит. А поэт говорит: «Весь себя вложи в единый чек, — и добавляет: — Только в той ли кассе чек ты выбил?» Значит, не разобьются яйца, не съедят колобка, если он во все стороны раскатится. И у каждого своя пропка и свой прищур. А если с кем и случится что, не трагедь, перемигиваются. Минус в том, что накап послабше, за счет раздробленности, зато сохранней. Топкое место. Потому как раздробленности какой — внутренней ведь. Тогда что «сохранней»?

И, не найдя ответа, встал, отряхнул песок, поднял голову к лаврской колокольне, горячей в закате на том берегу, красавице спонсорской в панамке облачка, чуть подброшенной над головой. Такие, значит, стратегии две: чеково-разовая и колобково-рассыпная.

И потом, как-то мутно на жизнь смотреть сквозь прицел оптический. Не жизнь, а крест.

И, взглянув на часы, взбежал по откосу: навстречу ему шли мать с отцом, держась за руки, смеясь, перебивая друг друга, мasha ему издали рукой. В этом году ему наконец удалось свести их, впервые, спустя одиннадцать лет.

Мать говорит: «Знаешь, я спросила у отца: какое из человеческих проявлений для него самое неприемлемое? Он сказал: предательство. - А я — ханжество. А ты?»

м е н т а л и я

Менталия — это сама себе голова, красная, с сильным припоком крови и пикающим виском. В голове есть царь, но как и в любой голове — нет Бога.

Она лежит лицом вверх, глаза ее чуть раскосы, или это кажется от ее косолазия; один зрачок косит на восток, другой на запад. Но голова вращается: так что косит она и на юг с севером, и по всему кругу. Хотя вращается против движения времени, то есть как бы стоит на месте.

Рот у нее широко распахнут, изо рта торчат языки, и на каждом из них — тигун, кремовый, на кремль похоже.

Этот разинутый зев несколько гримасит, подстреливая верхнюю часть лица, плюща глаза; то ли рожает, то ли зевает, то ли жрет свои языки, то ли ржет.

Или это сердце ее изо рта у нее торчит рваное?

Брови ее союзны, что говорит как о счастье, так и о мракобесьи.

Борода распет не только там, где обычно, но и по всему периметру — рыжими протуберанцами разной величины и напора. Самый крупный гребень — на голове, по пробору. Маленькие чертополошья пучки торчат из ушей.

По лицу прошла копытом орда. На щеках появились ямочки. Не только на щеках. И румянец в глазах.

Голова росла, матерела, звала себя Мамушкой. Лунапичная, сновидческая ее сестра восходила из северной топи, покачивалась на краю и глядела через плечо на Рыжую, как Медуза на солнце, и опять погружалась, и вновь восходила.

Как и на любой голове, лицо занимает сравнительно куцее место, относительно общего объема, куцее и поверхностное. Главное — между лбом и запялком, где сидип в кушаке и заломленной набок ушанке маленький кучер, навеселе, с хитроватым прищуром сквозь морозную сыпь.

Ямщик, не гони, — ржет чудо-тройка, — дальше будешь.

А зачем мне дальше, — задумывается Дурак, — дай ответ.

Ржет Горыныч, взмахнув крылами: — Кто ж тебя выдумал?

Лежит голова между Западом и Востоком, и солнце над ней в зените, и в голове — полдень, и не отбрасывает она тени. Час Нечисти.

И, как любой голове, не хватает ей тела, и она приращивает его вирирь и вдаль, едва шевеля конечностями, которые то ампутирует, то пришивает, то дарит.

Неба, как и над любой большой развипой головой, нет над нею. То есть оно есть, но внизу — там, где для маленьких голов обычно располагается бездна.

С птичьего полета Воробьевых гор можно взглянуть на это лицо с бурапинистым носом колокольни Ивана Великого, на который наброшено кольцо Садовое.

Изначально лицо и было вытесано из полена. Бурапинистый характер во многом сохраняет свои черты. Страсть к закапыванию денежки, вера в поля чудес, размашистый пофигизм походки. Трудно представить, как бы сложилась его судьба, кабы не Алиса с Запада, Базилио с Востока, Барабас с Юга и Дуремар с Мальвиною на руках с Севера.

Так или иначе, ухо его по-прежнему легковерно, опзывчивость неумна и нос по-прежнему у волшебной дверцы.

Где-то У. Это важная, заглавная буква. Не менее характерная, чем Ча, Ща. Или судьбоносные Э, Ы.

Азбуку для Бурапино принесли два брата с юга. Словарь собрал немец с самой русской фамилией: Даль. Энциклопедией жизни стал африканец как самый русский человек и вообще — как русское ВСЁ. Хлеб клевавший с ладони царя, чтобы петь о свободе. Чтوب заживо вмурованным в Сибирь друзьям писать: не пропадет ваш труд. И параллельно самодержцу — мольбу о круглой сумме на погашенье карточных долгов. Русь с обезьянней гримаской его лица, вскормленного няниной грудью, потрусив деревце Запада и сплюнув в ладонь шелуху, заговорила на мировом русском.

А потом, после всенародного выноса, солнце было завернуто в рогожу и вывезено в ночь из города на телеге, как зарезанная свинья, с сидящим на ней полицейским.

И, как свинья, зарезанный Лермонтов, в луже крови лежащий в ночи на Машуке. И Чехов в тухлом вагонном гробу, панированном устрицами, подъезжает к Москве. И Гоголь во вскрытом гробу — на боку, со впившимся в крышку ногтем. И Достоевский, живущий с побелевшими пальцами под оборванною пеплей на шее. И Мудрец, бегущий из города, купающийся в смерть, как в кожух, на заснеженной станции. И Щегол, справленный в братскую слизь, под сапог безымянный. И Розанов, околевая, пишет Горькому: «Максимушка, холодно, помоги...» Тишь.

Что ж за гений у этой «одной шестой»? *Шестой?*

И откуда свалилась она, эта пунгусская голова? Самая тяжелая на земле голова. Самая горячая на земле. Самая буйная, самая светлая, самая шапкая на плечах. Самая будущая, самая настоящая Неголова.

А в ней что? — мозгва, то есть ум, по идее. Только ум сей умом не объять, да и голову не измерить. И Чаадаев выводит Ноль между Западом и Востоком. Ноль головы. И объявляется сумасшедшим. И Хармс пишет Ноль, говоря: ноль это не то, что вы думаете, говоря ноль. - И пропадает без вести. И Достоевский рисует топор, летающий вокруг этой земляной головы. А под ним, вихляя по голове, колесо капится — гоголевское.

Третий Рим, — говорит голова, третьим глазом глядит, три дороги под нею, на трех и стоит. Троя. Троица. Спас на крови — родства не помнящей.

Рысь-матушка.

м а й я

Всё же это неравновесные фигуры, — думал он, — ханжество и предательство. Как змея и камень.

Человек может споткнуться, сломаться, в конце концов, он не рассчитан ни на огонь, ни на иглы под ногти.

Петр предал. И что? Стал камнем Ученья. А, по отцу, должен был стерп быть из памяти.

Предательство — это поступок, оступок, подножка на рыпвинах обстоятельств. Споткнулся, не устоял. Это можно, а мать бы сказала: и должно понять и простить. Это вызывает к сочувствию, к сердцу.

И потом, если чуть шире взглянуть, таково ведь течение жизни, принцип времени: непрерывность изменчивости.

А ханжество почему-то не вызывает сочувствия, даже не сердце его споронится, а кожа. Чувства его споронятся, все вместе, с какой-то брезгливостью что ли. И как-то всё не у дел остается — и жалость, и «пониманье», и голос прощенья.

И потом, ведь это не случай, не судорога, а внутри, как второе лицо. Не ложь и не фальшь, не лицемерье, не мимикрия, не маска, а — что? Откуда такое пошнотное чувство гадливости? И не в разуме, топ всеяден, а в сердце.

Христос дышал в сторону от фарисеев, а Петра — предателя — рядом с собой усадил — как ближнего.

А если вспять опмотать историю: Иегова простил бы Петра, усадил бы рядом?

Нет, пожалуй. Потому что Закон, а закон — в черепа, а сердце — оно без кости.

Ужаленный у него бог, детдомовский, в ладонь ужаленный. И на том свете не допустит он мать к себе. Даже если лишь палец от него там останется, пальцем мела черту проведет у ее ног.

Но, — думал он, — раз я сын плоть от плоти, значит во мне этот палец блуждает, и во мне, как бы ни пятался я от него, двоебожник: этот детдомовский съезженный бог большеглазый и танцующий ливневый майский.

И еще он подумал: это как-то похоже на тех добреньких дядек, щекотавших воображение, суливших диковинные безделушки, с плотоядно слащавой улыбкой манящих в кусты.

Это потом он подумал: государство — любое — топ дядька. С этой ханжеской сладкой улыбкой — на Востоке ль, на Западе, — Коммунизмом его назови или Рынком, — черп, как дядька, один. Задуть глаз, зашептать ухо, снять с ребенка штаны, приподнять над землей и насадить на себя — всего. А ребенок — он кто? — Жизнь ведь. И об этом ведь речь. И отсюда ведь это пошнотно гадливое чувство. Даже камень не кинешь, и не потому, что и сам не безгрешен, а потому, что там нравственный гладкий лоснящийся скунс.

Неравновесные фигуры. Вот если бы он сказал: подлость. Ханжа и подлец. Эти уже равновесней.

А ханжа — это водка такая, китайская, хлебная. И вообще любой суррогат на спирту.

Суррогата он хорошо хлебнул на выпускном школьном, когда мать с отцом впервые сошлись после одиннадцатилетнего разрыва, и теперь, стоя в плотной толпе родительского амфитеатра перед освещенным прожектором крыльцом школы, осторожно пытались опереться на сомлевшую за все эти годы, шаткую, все подворачивающуюся ногу.

Ждали выхода выпускников. Он появился первым, держа на руках одноклассницу, и, мазнув невидящим взглядом по головам, покачулся и рухнул с нею на клумбу.

Голову он поднял за рекой, в упрямом тумане их застилавшем: ее, лежавшую в белом изорванном кружеве, как узкая грядочка ландышей; и его, голого, над нею склоненного, волхвующего цветовода.

Он вдруг вспомнил себя голым в кабинете у директрисы. Почти голым. Когда та, выведенная им из себя, пыталась содрать с него нешкольную одежду, вызывая нешкольную. И запретить голым в своем кабинете. И что дальше? Вряд ли она в том порыве глядела столь далеко.

Несколько дней спустя он устроил ее пышные похороны, чин чинарем. Сделал ее муляж, сколотил гроб, стрел все цветы в округе, вывел во двор свой класс «В», за которым пристроились и более благополучные буквы, и носил вокруг школы со всеми ее вдруг распахнувшимися окнами под медвежье мычанье Шопена и барабан, заглушаемый взрыдом. Она была очень красивой и молодой под цветами.

А потом попала ему книжка Алена Бомбара «За бортом по своей воле», дневник врача, переплывшего Атлантику на резиновой лодке. Мол, убедить тех, кто тонет сразу после кораблекрушения, что делать это не обязательно, можно и выжить.

К тому времени расхожие испытания его уже не утоляли. И он решил увеличить дозу, хотя географически все еще приходилось ограничиваться обтянутой проволокой 1/6 суши. Иначе, конечно, Атлантика. Или Индийский ОК, — думал он, глядя на купленную за 80 р. резиновую лодку, из тех, в которых обычно сидят в камышах рыбаки в приднепровских лужах.

Первым делом он купил плотную клеенчатую скатерть сказочной величины и цветочности. И смастерил фартук на лодку с корсетной шнуровкой на ее спине, но так, чтобы можно было рукой под водой дотянуться. И сморщенную грудастую муфту, из которой он, сидя в лодке под фартуком, смотрелся, как бюст марсианина на цветочной клумбе. Марсианина в зловеще серебристом прорезиненном костюме противохимической обороны. Капюшон туго стягивал гуппаперчиво сморщенное лицо грозного викинга. Байдарочное весло было распилено на два и дорощено алюминиевыми трубками от пылесоса. Ночи он проводил в лодке, стоящей посреди комнаты, свыкаясь и параллельно решая теорему Ферма: как установить на резину спальную мачту?

Л-образная мачта с С-образными захватами на борту с подстраховочными прокладками. Установил. Вроде держало. Парус выбирал долго, в районном магазине «Тканыны», в женском отделе. Ярко-желто-оранжевый.

Переплыл киевское море, то есть водохранилище, ночью. Приехал в Крым, к Карадагу, где обычно проводил все лето, робинзоня в бухтах. Спустил на воду в Коктебеле, чтоб не волочь по горам в обход. Поднял парусок, ветер с берега, упрямее солнце расслабило, прикрыл глаза, задремал, очнулся вне берегов, под пограничным капером, подтягивающим лодку за мачту к борту, как канате за шпакку.

День был воскресный, офицеров в части не было, солдаты не скрывали возбуждения, поймав перебежчика. Он подливал масло, чертя на карте маршрут, оставлявший Турцию далеко позади.

Наутро посадили в автобус, отправили домой, он вышел за первым поворотом и спустился через горы в бухту. Гарцевал он на лодке стоя, вылетая из нее навесом в прибрежный накат, ликуя в пене.

Для переплытия был выбран коварный паз Азовского моря. Океан, в его представлении, был хоть и изнурипелейней, но проще — в силу несуетного угла волны. В Азове же волна — каждая — была похожа на рушащуюся деревянную горку. И шли они как бог на душу положит, вразброд, без хозяина. И сшибались на каждом шагу, почнее, подвздошьи.

Из провизии взял он небольшой шмап почеревины и канистру воды. И отчалил в безлунную ночь из Бердянска в сторону Керчи. 200 км по условно прямой.

Наутро, в светающем сумраке, мимо него прошел сухогруз. Высоко в небе, свесившись через борт, проступил ангел в полосатой телогрейке, разглядывавший его, гребущего от скользящей у носа стены, в бинокль.

В этот же день под Евпаторией взвился смерч, унесший последнего из старожилов, который помнил нечто подобное в 1896 году, чем и спращал приползавших на грязи раскормленных мамаш, прижимавших к груди худосочных детей. Смерч этот, выронив старожилку где-то над крымским перешейком, нырнул под Азов, как под одеяло, вспенив, вспучив его и изорвав.

Мачту с парусом вырвало из пазов, вскинуло в небо и, подержав там в раздумье, опшвырнуло во тьму. Море шло ходуном: ключья шерсти в сваявшихся колпунках и облезлые ребра. Псориазные отмели — «банки» со взметаемым шурфом воды, будто мины взрывались, там, к юго-западу, куда несло лодку. Туда, где весь горизонт был как вязка червей дождевых.

Лодку несло под водой, опуская едва не до дна и вздымая на миг, за который он должен был цапнуть ртом воздух, уже машинально.

Двое суток спустя начало понемногу стихать. Всю ночь что-то тыкалось в днище, он думал — отмели, оказалось — дельфин, «свинтус морской», как их называют местные. Весь следующий день этот утконосый дирижаблик верложил лодку, покусывая дряблую выдохнувшуюся резину, кладя голову на уходящий под воду борт.

На четвертый день он очнулся в крапчато-белой каптерке несколько вывихнутой геометрии. Он обводил неподвижной головой, запрокинутой на корму так, что затылок его полоскался в воде, это подрагивающее, надетое на его голову вывихнутое пространство, которое вдруг снялось с его лица, разминая подсушенные крылья и кося холодным отдаляющимся глазом на его один, левый, неприщуренный.

К вечеру, когда море уже выстелилось, как линияя простыня, видимо, еще не запроваленная по краям, он услышал звук вскипающего чайника, совсем рядом, у локтя, такой уютно-домашний. Это сочился, пузырясь, воздух из все-таки перепертого крепежом мачты борта.

Он вспомнил из книжки, той самой, весьма остроумный способ заклейки: спермой. Похоже, это был не его случай. Лодка, то есть почти тряпка, посапывала заподлицо с водой, почти такой же тряпчатой. Потом — достать из скафандра то, теперь уже неизвестно что, откуда предлагалось извлечь искомое, казалось делом долгой и бережной жизни, которой у него, судя по рваному пузырящемуся шву, оставалось минут сорок.

Он пожевывал почеревины — первые ломтики за эти дни и, похоже, последние. Пить не хотелось, тело настолько пропиталось влагой, что казалось, и некому умирать: просто вода растворится в воде и всплывут три ломтика почеревины. Оглянувшись, как водится, на прожитое никакого желания не было. Дельфин оттолкнулся подбородком от борта и ушел. Лодку мелко пожевывало на кочковато взрыхленной воде. Последнее, что он увидел: разгуливающих невдалеке фламинго, они поклевывали заходящее солнце и, через плечо зануривая голову в воду, ополаскивали горпань.

Когда он очнулся, берег был в полумиле от него. Лодка, выдохнув из себя все, что могла, каким-то образом все еще держалась на воде, бездыханно.

Подплывая к берегу, он услышал усиленный через мегафон лающий голос санаторного спасателя: «Эй там, на матрасе, вернитесь за буюк!»

Выйдя из лодки, он потерял равновесие, но все никак не мог упасть, а бежал под наклоном к земле на подгибающихся ногах, пока не скрылся из виду.

Ни денег, ни одежды, ни документов у него не было, об обратном пути он как-то и не подумал.

Возвращался поварняками, собирая на вокзалах вокруг себя ширящуюся толпу, наяривая рапсодным речипативом волнующие гекзаметры с заплющенными глазами и время от времени спягиваемой с себя отслоившейся кожей, небрежно справливаемой к ногам. Кормили, поили, провожали замороженным взглядом.

Какое-то время флажок рьяно полоскался на дрове. Но довольно скоро пообтrepался, повьцвел, обвис. Осталось дровко, ссутулившееся чуть больше прежнего, на отцовский манер.

Отец тем временем, пока лодку колбасило, вскочил среди ночи в гостиничном номере в Феодосии и долго не мог прийти в себя от привидевшегося во сне лица сына, хохочущего во весь экран, заливаемый гребнями волн.

Утром всполосил редакцию областной газеты «Победа», те связались с пограничниками, рыбаками, кораблями и рыбами. Были подняты вертолеты. Но к тому времени его снесло уже далеко к западу, в «мертвую зону», где искать почему-то не приходило в голову. Единственным свидетельством оставалась запись в бортовом журнале сухогруза «Днепр» о проплывшем бублике с марсианином в дырке.

А потом, подменив на несколько дней своего друга, работавшего на складе спортивной базы в пригороде Киева с чудным именем Конча-Заспа, он познакомился с легконогой женщиной, дочь которой была на несколько тысяч лет старше его. Старшая. А младшая — на несколько тысяч младше, по ту сторону от принятого отсчета.

А сама женщина стояла как бы вне времени, на призрачном пригорке над той рекой, которую мы в поропях принимаем за жизнь, и в ней отражались, струясь, ее очень длинные ноги из осеннего солнца и несмелые груди, как прижатые кулачки, и порывисто вскинутые губы, чуть приоткрытые к небу, и горько веселые морщинки у незабудочных глаз.

Она стояла на этом зыбком пригорке, обхватив ладонями свою сприженую светловолосую гривку и, щурясь в какую-то дальнюю даль, встряхивала головой.

А жила она в другом пригороде, противоположном Конче, у которого тоже было дивное имя, близдиканистное: Бровары. То ли вареные брови, то ли ворованные. А у нее они были белесые, плёсовые.

И мотнули они в Карпаты, которые он и любил, и знал. И она, казалось, и любила, и знала — его. И они ложились в постель, и весь его к тому времени изощренный опыт волхвованья над женщиной, карусельного ее вознесенья, обволакивающего охмела ее и отхода во тьму, за мерцающий занавес, не войдя в нее так, что ей кажется... Бог его знает, что казалось им всем, но глаза их лучились.

И у этой лучились, но не от того.

И они меняли гостиничные номера на бревенчатые избы в снегах, печи на свечи, шило на мыло, лучились глаза сквозь мяпущиеся языки его суепливо факирного пламени.

И вдруг сжались и сникли. Тишь наступила. И темень. Лучились глаза.

Не торопила. Не поддержала. Ждала. Так казалось. Когда он пытался от нее заслониться, присев перед девочкой — той, которая на несколько тысяч лет впереди него, этот глазастый фаем из будущего в длиннополом тулупчике с туго повязанным красным платком, заправленным за воротник.

Девочка покрывала его лицо горячей ладошкой и шептала быстро-быстро, пока хватало воздуха, а потом глубоко вдыхала, глядя поверх его головы.

И он между ее пальцами глядел поверх ее головы на женщину, стоявшую у стены этой затерянной в снегах котельной под Яблоницким перевалом, за которым где-то кружила машина с ее любовником, припавшим к рулю в этой снежной крупе, завивавшейся вверх от земли, за которой горело окно с тeneвым, прикусившим губу, запрокинутым профилем старшей.

И ладонь на лице, и пляшущий отблеск от приоткрытой заслонки на прижатых к груди кулачках, и крупа по стеклу, и прикушенная губа, и озябшие ноги на голом полу, и окно, и глаза сквозь ресницы лучились, он был в ней, уже в ней, как во сне, бескрылый, висел над землей и не падал, не падал, он плыл, он парил, и под ним, как земля, отдаваясь и близясь, лучились глаза, увлажняя веселую горечь дрожащих штришков у висков.

Девочка, всполошенная его несмолкавшим звериным ревом, спояла в дверном проеме с таким же разинутым ртом, как и у него, сидевшего на полу. Чуть поменьше, конечно, и не таким опустошенным.

«Я думала, меня разорвет, — тихо смеялась она, застегивая за спиной свой детский лифчик, — вот-вот и лопну, всё льет и льет, и всё с этим ффырком, ффырком, как деревенская водокачка, а ты, — она всё никак не могла, смеясь, справиться с этой застежкой, елозя за спиной сложенными крыльями, — а ты — всадник... Помоги, пожалуйста, сегодня не получается».

Девочка за окном поднималась все выше на заснеженную гору по смерековой вырубке, проваливаясь по грудь и уже не оглядываясь, исчезая красным клубочком под небом.

р е ч ь

На что ловят читателя? На сюжет, проще всего, главное правильно насадить: чтоб крючок не был виден, а хвостик подрагивал. Червяк обычный безмятный дождевой.

Еще — на запах, на макуху. Чуть сложнее, надо готовить, не то чтоб ручная работа, но все ж. Суррогат интриги, щепоть эпитетов, специй.

Мысль. Желательно афористичная, с чуть парадоксальным зачесом. С дальнейшей эксплуатацией ее на страниц 5–10. Это знает риторика, а риторика знает читателя.

Ничего, что мысль — любая — с духом. Уже с духом, еще до того как выловлена. С головы. Ароматна головка рошфора.

Речь используется как материал. Общедоступный, из общей ямы.

Ангела пользуют как кобылу, читатель в телеге, дорога дальняя, окольная, обещан *город*, он всегда впереди, *завтра*.

Читатель движется верстами, считая столбы, вглядываясь вперед. А под колесом что?

А дыханье зачем? Чтобы улицу перейти, совершить поступок, дожить до *завтра*.

Дыханье не прожито, *сегодня* упущено, читатель лежит на следующей строчке, странице, жизни. Уже лежит *там*, не войдя в *здесь*. -

И упускает жизнь. И этим пользуется литература. На тот же манер.

Китай говорит, что необходимы от 60 до 70 жевательных движений на каждый кус пищи, чтоб почувствовать ее настоящий вкус, чтобы ее *прожить*.

И жуют прошлое, уже созданное, которого им благо хватает для жева, и передают дальше, детям, как птицы, изо рта в рот. Литература не приращивается.

Европа глотает будущее. Приращивается нелитература.

Индия задерживает настоящее, как дыхание. И, удерживая, перяет его, входя в транс. Отраживая невербальное измерение. Физика говорит, что нельзя одновременно измерить координату и импульс частицы; удерживая одно, упускаем другое. Это физика с ее причинно-следственным миром. А Бог, который не Физика, одним словом? Применительно к искусству речи, это можно соотносить с поэзией и прозой. Первая способна «схватывать» мир в одном прыжке, вспышке, точке. Точке, в которой дух живой дышит. А дышит он — на манер жизни — и везде, и нигде одновременно.

А вторая посуху идет. Посуху, но идет, в отличие от первой. И телегу капит, нарративную. Путь плетет. Путешествует. У одной — прыжок, вертикаль, небо. У другой — колесо, земля, горизонт. У одной — время, «воздух ворованный», у другой — пространство, пространство дарованное. У одной — воздух, у другой — духовоз.

Один ангел падший, другой оплывший. И нет меж ними ни любви, ни дружбы. Несовместимость. Вылазки есть. В виде «прозы поэта». Переписка. Лево́й руки с правой.

Это попытки выплывать пространство из времени. Как солнце, которое «ест» энергию времени собственной жизни и тем приращивает ее. Иначе, по расчетам, его энергозапас должен был уже давно иссякнуть.

Проза Манделштама — из этих попыток. Соснора — на этих подходах, рапирных. Еще кто? Вспоминаешь, морщась. Старые мастера шли за тридевять — рыть пигмент, вынашивать краску — свою, в своей ладони, распить, как дитя, духотворить ее, прежде чем наносить на холст.

Кто так сейчас работает? В литературе — кто? А вчера? А за все времена? И тогда — непростой вопрос: почему? И ведь та, «ручная» работа с материалом, который тоже надо ставить в кавычки, потому что Дух не «материал» Бога, это ведь лишь минимально необходимый шаг от профанного, шаг, о котором даже говорить стыдно как о достоинстве.

Каждый «мазок», каждая «единица высказывания» должна быть этим «своим дитя», по своему образу и подобию, а не взятым из общей ямы и встроенным в вереницу таких же серийных клише.

Кто так видит? Глаз ребенка, пока не заплыл от езды на телеге. Жизнь так пишет, но это сознанием не удержать, не сойдя с ума, не лишившись чувств, не надев на себя гондон.

И тогда глаз — глазомер, дух — духомер, жизнь — жизнемер на телеге, капающей от начала к концу.

И тогда: *сказала она, улыбнувшись, и взглянула в окно. Или: у него были курчавые смоляные волосы, высокий лоб... и так далее.* - С привычкой, например, *покусывать в задумчивости карандаш. Хотя: легкие беспечные облака плыли над его головой. И: он вошел в нее и она обхватила его руками и прижала к себе. А: все счастливые семьи счастливы одинаково. Да, но довольно людей кормили сладкими; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. И: он охотно гладил ее по волосам и плечам, пожимал ей руки и утирал слезы...* Чехов, Толстой, Достоевский, Пушкин, Лермонтов и так далее.

Неужели глаза голубые, зеленые, серые, светло — темно плюс еще пять-пятнадцать оттенков? А погода прекрасная, ясная, пасмурная, ну еще двадцать пять имен. А грудь упругая, маленькая, обвислая, очень красивая... А голос? А лес, а ладонь, а огонь, а смех, а вода, а смерть, — всё, всё из мадоналдса. Почему?!

Почему она свинчивает зрение, конопатит слух, дубит кожу, наперсток насаживает на мозг?

Почему она жизнь, непрерывную неповторимость сводит к семи цветам, шести чувствам, пяти пальцам, четырем сюжетам, трем временам, двум вопросам и одному ответу?

Почему ее бог — конвейерный, как собака Павлова, со слюной створоженной? Почему эти лампочки сигнальные горят в каждой строчке, на каждой странице? Эти лампочки, которые сочны. Которые взяты в ближайшей лавке. Оптом. Механической рукой.

Почему книги вываливаются из рук? Фауст, Комедия, Кихот, Илиада... Эти. Не говоря о других, помельче.

Даже у Гоголя переживаешь на телеге иной раз страницу-другую, пока не подарит жизнь, перейдя дорогу, какой-нибудь *графинчик в фуфачке пыли*. То же и у Набокова.

Почему шея литературы оседлана непопырем, как Хома Брут панночкой?

Почему жрет лицо это рыло самозванного счастья?

Почему-почему... Потому что у попа была собака. Потому что читатель не живет в настоящем времени. Потому что настоящее — скорость света, а не его опстой по обе стороны, где и живет читатель: или в прошлом, или в будущем. Или в возвратном залоге, или в развратном.

А настоящее — для ангелов. Кто ж им пишет?

м а й я

И его вновь унесло в Крым с ветерком весенним.

Беатриче стояла на высокой скале над морем и, оттолкнувшись, летела... летела... Всю его жизнь.

Таким было тело ее. Как Крым. Она и была его Крымом со всем его морем и небом, и детством, и соразмерностью губ, и ладоней, и глаза, и сердца — всему, что вокруг.

А совсем вокруг, то есть за летящим солнечным извивом ее тела с сомкнутыми пятками, висел на пальцах поселок, прижавшийся к скалам и глядящий через плечо — на нее, летящую, на море, клонящееся, как подсолнух, к закату. И назывался он Понизовка — от холодного течения, набегавшего в дни полнолуния незримиыми янычарами с кривыми ножами в зубах.

Природа жила в ней — как осень в лесу, как свет меж деревьев, как снег на весу. А это с людьми почти не случается. Природа обходит их, чужая хребтом за версту. А в ней вот жила, не чуралась. В ней было просторно, *отзывчиво тихо*, светло... Нет, светало.

Не успел он взойти по лучу — не из ада, из табора, который к нему подтянулся в искрящем дыму. В ту же ночь на краю поселка схлестнулись их десять голов с харьковской сотней курсантов, танкистов. Эти парубки наезжали сюда ритуально — выпустить пар, порубиться.

Челюсть с тремя переломами ему туго стянули проволокой, пронизанной сквозь десну меж зубами. Месяца на два.

Он ушел из больницы, прихватив во дворе сушившееся на веревке одеяло, и, набросив его на плечи, сел у осеннего моря.

Жилье он нашел себе в полуразрушенном замке над Ялтой. Кроме него там скрывался юноша-рыцарь, не бледный, но беглый. И с ним его маленькая, но удаленная декабристка. И еще у них был варан с декабристкой. И такса по имени Винчи. А варана они называли Джоконда.

И они выводили их погулять на заброшенную детскую площадку, за руиной восточного флигеля дворца. И Винчи играл с Джокондой, следившей неповоротливой улыбкой за его мельтешеньем у носа с припаданием к земле — то слева, то справа, перебирая ракурсы.

И вдруг исчезал в полусомкнутой пасти модели — так, что лишь пропеллер хвоста с визгом вертелся в нехотья разворачивающемся фюзеляже.

Подползая к углу песочника и хитровато ухмыльнувшись в оглядке, она срыгивала в угол этот трепыхающийся моторчик.

Порой игра заходила так далеко, что приходилось подымать Джоконду за хвост и выбивать из нее Мастера плетенкой для выбиванья ковров.

К морю он спускался через Чеховскую библиотеку, тишайшую, с одичавшими книгами, оглохшими от тишины. Брал следующий том Достоевского и, наверно, по единственной в стране улочке Рузвельта, которая как-то весело рифмовалась в его уме с улицей Маршака в том же городе (как разведенные в стороны ладони: у Теодора — простипутки с укапившимся инвалидным креслом морвокзала, у Самуила — шутки с непрекрытыми чреслами окраинного базара), шел в закупок у моря, известный лишь местным, к морю, как известно, не хаживающим, и чипал, не шевеля губами, и спускался по ржавой лесенке в воду, и во рту его, зловонном, чужом, онемелом, помились у крученой железной решетки эти три, так и не успевших сказать, слова: я люблю тебя, я... — оплывая от берега, — тебя, — выдыхал он носом в воду, — люблю, — переворачиваясь на спину и обнажая железо во рту, поблескивающее в лучах, и греб к ускользавшей, смеркавшейся нипке берега.

А потом прошла низовка, резко похолодало, в замке он остался один, мастерящий пончо из того больничного одеяла.

От Достоевского остались непрочитанными лишь тома примечаний из собрания того пускло-болотного цвета, на который уже поглядывали припухлые берега.

Да и море теперь обнажало порой такой же проволочный, косогубо мычащий в нависшее ртутное небо расшатанный рот.

А потом, когда ему сняли решетку и выпустили язык на волю, он переехал в Симферополь, к ней, где она, белошейка, училась, в этот городок Сим-сим, где двери и не закрывались, и наступила пора тополиного мимолетного счастья.

А городок был похож на что? — на развязанный пуп на клинышке полуострова с зарослями, чем ниже, тем гуще? На султана? На главного евнуха, а гарем в море полощется? На Одессу, переехавшую в Винницу?

Что-то все же странное было в нем, отошедшем от берегов в глубь полуострова и живущем там полулежа, с подбородком на локте, глядя в даль цвета кислого пива своим солнечно-пыльным лицом.

Один глаз хохла, другой татарина, нос турка, рот грека, а сам русский.

Или: голова — Сим, под ней — Фероп, а ножки — Оленьки. На семи ветрах.

Шаг в сторону от центральной улицы — и ты в кривонгом дворике времен полимеолита; колонка со ржавой каплей на губе посреди двора, застеленного облезлой леопардовой шкурой сквозь подрагивающую листву инжира.

Ледащие шавочки лежат в бигудях, хекая от жары. Фаянсовые кошки с мутно-голубыми глазами, как солнечные копилки, сидят на черепичных крышах, постукивая оплеченным вокруг лап хвостом.

Горбатые запорожцы, висащие в двориках, полуразобранные, на полпути к вознесенью. Мужички, лежащие под ними в обнимку с кружкой пива и графией Монсоро, полученной за 20 кг макулатуры.

Белье на веревках, как генеалогическое древо, привалившее двор. Детская табуретка и вздутая баба на ней со взбитой ватой на голове и ожерельем клыкастых прищепок на валкой двуспальной груди.

Неторопливо фланирующие улицы. Со взглядом чуть вверх и в сторону. Двух-трехэтажные особняки, почесывающие спину. Или просто стоящие с пустыми разинутыми ртами окон.

Речка, бродящая по городу, как кошка, сама по себе.

Деревья и кофейни перепутались так, что давно позабыли, кто из них кто. Хвостатые турочки на раскаленном песке. И такие же дурочки, закипающие на деревьях. Птицы, млеющие за столиками, люди, щебечущие на ветвях.

Рынки на каждом шагу — мал-мала больше: рыбы в цветах, вино в осах, млеко в невестах, зелень в слезах, мясо в коралловых рифах, град винограда, фрукты-булгузы, бес на весах с гирькою солнца в зубах.

И — выбеленная подмышка вокзала, сквозь которую въезжала страна и уезжала, не замечая города.

И он послал телеграмму ректору университета: «Не могу вылететь на госэкзамен по погодным условиям».

А погода стояла... На ногах не стояла, вся — в небе и лапки в меду.

Сад луны и пиры до утра, а с утра и до ночи — стог солнца, в котором зарывшись лежали.

Смеялась. Он зашепывал пуговицы ее сосков, пугуеньких, не отпугиваемых губами. Смеялась. И в шею, как воздух дрожащую, когда поддувал. И когда кончиком языка водил по нехоженным тропкам ее ладони.

И когда уплывал на щеке по стыдливо пугливому свету ее живота — в золотые черемушки средостенья, смеялась: «Щекотно!»

И повсюду, повсюду ей было стыдливо щекотно. От слов, что шептал в ее легкие пятки, и в чуткие пряжки, и в русые прядки, в ребенки ушей...

Я люблю тебя, я... — он птянулся губами и дул, распаяя ее, разгораясь...

...и стог уже тмился от света, кренясь, и — мазнув языком, облизнулся и — вспыхнул. И тихо осел, запахнувшись распушенным жаром — с поддувом вперед, все летящим, летящим — во всю его жизнь.

п ы л ь

В день взрыва он очнулся в перелеске на обочине дороги, неподалеку от Гомеля. Выполз из-под валежника, которым присыпал себя с вечера. Умылся в придорожной луже. Бескрайняя мазупная равнина, низко бегущие облака — голые рваные, с засаленным исподом. Как беженцы, — подумал он, упирая лицо рукавом, — в отрепьях.

Третий день он добирался автостопом из Питера домой. Тягостный вой доносился из деревни, дальней довольно, но ветерок мел оттуда. Через два дня он въехал в Киев.

Шли слухи. Тем временем урановые спержни на станции выстреливались в небо, как исполинские карандаши, чертя свои иероглифы смерти, — так представлял он себе, глядя на запруживающую город первомайскую демонстрацию, мысленно добавляя букву «н» к их раскатыстому «ура», пока не хлынули в город беженцы, пока он сам не увидел, что происходил.

У него было много друзей в Припяти, сам он был на станции всего месяц назад, был внутри того самого блока, быть может последним из пришлых, еще пошупил, ковыряя носком ботинка подслеповатый грифель одного из спержней: «А что эти стойки — перелетные? Так и зимуют стоя?»

Спальный и купейный слой покинул город. Плацкарта и общий в обнимку заливались «красненьким», «сухарем», по Минздраву. Впервые за всю свою историю народ поголовно сменил ориентацию, перейдя на благородный напиток. Скупали его дюжинами, укладывая в авоськи, город позвякивал с утра до ночи шаткими улицами, не спеша возвращаться домой. Пили на всех скамейках, в транспорте, на ходу. Закусывали «кареглазиком» — капнув йодом на рафинад.

У русской смерти есть лишь одно лицо: Тоска. Прочие — задницы, а не лица. С дыркой для героизма. Бог не выдаст, свинья не съест. Взмахни крылами, гульба-пальба! Люди мерли незримо, как в воздухе растворялись. Но ощутить это можно было лишь на распоянии ресниц, дыханья. А в стране очарованной дали...

— ...шел по Киеву-городу Вий, — договаривал он оборванное.

Квартиру свою, оставшуюся от деда, он отдал друзьям — беженцам из Припяти. Прах деда был зарыт рядом с первой его женой Раей. Год. И полтора, как он всунул в рюкзак уже негнущееся тело пса, сбитого на том же перекрестке, на котором был сбит и дед, и зарыл в лесу под кострищем, рядом с тем местом, где стояла палатка, откуда близились к нему, конвульсивно дрожа, разведенные пятки той деревенской девчурки.

А сам переехал в пригород, в обезлюдевший дачный поселок. По одну сторону от станции — дачи, по другую — психлечебница с деревушкой.

Наутро, выйдя во двор, он замер, казалось, на тысячелетие.

Это была не пыль и не тишина. Это был их ребенок.

Оно, это тишайшее незримое Присутствие, покрывало всю землю, все небо, и все росло, поглощая все мыслимые пределы.

Как змея, заглатывая, насаживая себя на них, как разинутая пасть ее, сходящаяся из всех пределов одновременно и сомкнувшаяся над едва просвечивающей сквозь швы жизнью.

Тишайшая незримая змея Пыли, нахлобученная как мешок на мир с остановившимся временем.

Он шел по поселку внутри этой тихой безжизненной мешковатой змеи. И казалось ему, если выбраться из нее и оглянуться: это было ребенком с пылевидною головой во все небо и маленьким сморщенным пельцем земли.

Но не выбраться. Некуда. Нет ничего, что могло бы быть вне.

Он шел по поселку, надвинув капюшон прорезиненной плащ-палатки, кирзовые сапоги оставляли за спиной медленно вздымающиеся горчичные буруны пыли.

Деревья стояли в чехлах. Дома, брошенные впопыхах, обросли гробовой щетиной. Псы лежали на дороге на боку, непроглядно занесенные этой субстанцией, лишь родничок глаза едва пробивался сквозь пыль.

Он вышел в поле, такое же мертвое, как и небо над ним. В котором покачивались, снижаясь, сожженные рукописные листы ворон. И, не коснувшись земли, восходили.

Солнце с луной стояли одновременно по сторонам этой мерно кружащейся муты, и стороны эти переглатывали попеременно — каждая свой горловой заволоченный мутью ком.

День за днем, ночь за ночью, все лето он глядел в этот пылью спеленатый мир.

Кто глядел? Только пыль под пустым капюшоном. Пыль, обутая в уходящие сапоги.

Пыль, — он думал, — всё пыль: воздух, звезды, земля — всё из пыли. И в пыль. Мать, речь, смерть. Пылью пыль... И душа. Распыляющаяся вселенная.

А пять лет спустя раздался звонок, на пороге стояла девочка и держала за руку маму, с которой у него был краткий роман — пять лет назад, перед отъездом на станцию Пыль.

Она и тогда была мамой с годовалым мальчиком и мужем в погонах. И жила она в военной части — по той же Пыльной ветке, на ее краю. И каждый день приезжала в город на учебу. И на любовь. А потом исчезла.

Девочка взобралась ему на колени, взяла его за нос и принялась разглядывать. И он разглядывал ее поверх кулачка на носу. И мама ее смотрела на них, как глядят в боковое зеркальце на дороге. Чай попили. Взяла за руку дочь, у двери обернулась, палец к губам приложила. - И исчезла. В Москву.

м а й я

К тому времени он был уже немного женат. В том смысле, что меж ними разгуливали полторы тысячи километров, то упраздняя себя, сжимаясь в почку, захлебываясь светом, родством, спростным спремительным счастьем, и расплетались, меняя конфигурацию, точнее, перемещался он, а она поглядывала в окошко на реку Оку и чувствовала его, где бы он ни был, как биенье своего сердца. А он ее — как кровь свою.

И потому они могли не видеться месяцами, годами, встречаться раз в ю, а живи они дольше — раз в зоо лет, время их не касалось, как не меняется от рождения группа крови. В это трудно поверить, но те, с кем это случилось, поймут.

И это не покрывалось тем, что имеют в виду, говоря: «любовь», или «судьба», или «страсть», или «сестра». Разве что отблеск от двух последних. Для него. А для нее он — *художник*, если одним словом. Но и *редкий ребенок*, если двумя. И пожизненный, как небо, *мужчина*.

И царил меж ними какая-то обратная, что ли, перспектива. *Было-есть-будет* их жизнью читалось справа налево, в обратной зависимости: *было* стояло на переднем плане времени и, как поводыр, выводило «задник» будущего в бесконечно длительное и единственно настоящее *есть*.

В старину у русичей время текло из будущего в прошлое, так и называлось — *переднее*, то есть начальное.

То есть они уже были в будущем, тысячи жизней назад, у его истока, и там неразлучно текли, а здесь расплетались, как в устье река, и опять заплетались. Странно все это, необъяснимо. Будто два встречных течения в реке. Но и это — и так и не так.

И он все кружил: Киев — Москва — Ока — Крым — Киев. Как часовая стрелка. А минутной была его жизнь. А секундная подрастала. - В Киеве, с бабушкой.

в и п а л и я

В Крым он переехал налегке и выбежал к морю в новогодний день. Пустынная набережная. Снег, медленными непролазными лопухами заносающий поселок, и ослепительно голубое небо над морем.

И этот снежный занавес своей бахромой опущен на береговую кромку, повторяя ее и заучивая наизусть — там, на мысе, где его чуть раскачивает, распуская на нити.

Он шел с облепленной снегом улыбкой и вдруг замер с занесенной над землей ногой: в занавесе была прореха, и из нее торчала растрошенная корма двухмачтового фрегата, кренящегося набок под мерным изумрудно-стеклянным накапом. Мачты, раскачиваясь, цепляли снежные нити прорехи. Нос фрегата заливала волна и перекапывалась через бушприт, переворачиваясь на спину, как прыгуны через перекладину.

Он разделся догола и, войдя в воду, сумел подобраться к борту этого Лепучего Голландца и взобраться с кульком в зубах по веревочной лесенке на его грот. И, откупорив шампанское, — там, в сияющей прорехе неба, голый, раскачиваясь как призрак на призраке, ловил ликующим горлом пенную струю попереж с охмелевшими хлопьями снега.

На обратном пути ему было видение: она кружила, не касаясь земли, ввинчиваясь вдаль, все выше по крутой улочке в сторону его дома. Балетные тапочки с красными тесемками поверх бледно-розовых, как снег, лосин, сведенные над головою руки; медленный белый панец.

Он нагнал ее у поворота. Блаженно-чуткое лицо, колко-желтая шерсть волос. «Привет», — сказала она губами, беззвучно.

Новосельно-новогоднюю ночь они провели на полу в его новой квартире. На детском матрасике, одолженном у соседей, пока его жилье, упакованное в ящики, перешептывалось во тьме поварного вагона, спящего в отстое где-то под Херсоном.

Первое, что он купил в Новом году, войдя в безлюдный эрмитаж хозяйственного магазина: девять пластиковых ночных горшков. Молоденькая продавщица слегка опешила: «Вам какого цвета?» И записала в амбарную книгу: *ночные вазы, 9 шт., 3 р. 60 коп.*

И началась веселая мистерия обустройства. От рассветного окна он двигался в сумеречную глубь комнаты, балансируя на столе, тампая копченый облущенный попок поролоновыми мочалками, окунаемыми в разноцветные ночные вазы с краской. Когда небо с мерцающим сиянием, исходящим от феникса с подоткнутыми лапами, в которых топ держал гроздь люстры, было создано, он перешел к стенам.

Жили здесь до него старик со старухой. У самого синего, которое проступало повсюду, восходя по стенам и, собираясь в гримасы, в причудливый беспорядок, глядевший вниз — на бутыльно-мрачный линолеум.

Старик, называвший себя «начальником Черного моря», выдавал лодки на спасалке. А теперь он сидит со старухой в его сухопутной квартире на Троещине и глядит на горящие окна высотки, подступившей вприпрыжку, благо еще, что мертвяк пустыря, разлагающийся под морозящей серой, не виден.

Несколько лет спустя старик зайдет к нему и, став на четвереньки у ванны, вытащит из-под нее ржавую двуручную пилу. Постоит у окна, глядя на море, на горы, скажет: «А мы со старухой здесь живем, на спасалке. Заходи, порыбачим. До осени».

«Старик? — переспросит новый «начальник моря». — Какой старик?»

Квартирная космогония приближалась к концу. Демидург вступал в разговоры с самим собой. Уроборосная планировка жилья подходила для этого как нельзя лучше: голова, высунутая из комнаты на лоджию, покусывала свой хвост, скользящий на ту же лоджию через кухню. Можно было ходить за собой по пятам, по кругу, а можно и вывернуться за углом и столкнуться с самим собой. Два больших зеркала-ловушки стояли на самых каверзных поворотах, подзуживая драматургию.

Наконец, он сказал: «Хорошо», — и, обогнув квартиру по кругу, подошел к себе сзади, и те — в зеркалах, обернувшись через плечо, — подмигнули.

Дом ли это был для него? Нет. Но мир. А точнее, ангел со вскинутыми за спиной рассветными парусами.

Теперь можно было переходить к «дачке», щедро доведенной ему стариком при обмене.

Дачка представляла собой хлебную будку, впекшуюся в бугристый цемент. Вниз от будки шли огородные террасы, а сверху к затылку ее прижались две двухсплитровые цистерны, на которых сохранилась рельефная надпись: *luftwaffe*.

Дачка стояла на горе над поселком, где только ленивый не имел такую *внебрачную* дачку, а то и две-три. *Нагулять* такую не составляло труда: выбрал место, обтянул проволокой и — мичурься, стройся, — все твое. Называлось это *самозахват*. Скользишь взглядом: горка как горка — девственница кудрявая, никаких тебе ни огородов, ни дачек, пока носом не ткнешься; а там — кипит партизанщина.

Псы, сидящие на яйцах с вальяжно разведенными ногами, незнакомки деревьев под белыми вуалями, кролики, глядящие на них блоковскими глазами, куры, расхаживающие, как заспанные подушки в задранных наволочках, легкотелые светелки людей, перламутровые высолы в восходящем небе, подсыхающая земля из весеннего, вымоченного в море солнца.

На его участке завелись два постоляца: двухметровый желтопузик и заводной ежик со спичечный коробок. Он и потряхивал себя, как коробок, когда видел протянутую к нему ладонь. А заводу ему хватало метра на три по прямой, которая сворачивалась, стихнув, и, подзаведя себя там, с исподу, запускалась на следующую трехметровку. Он так и ходил галсами по огороду, отпрапляясь на ночь в гараж облюбованного им целлофанового кулька.

А змей свалился буквально с неба, плюхнувшись под ноги Випалию, половшему цветочную дребедень. Змей со старческой близорукой улыбкой глядел на него, как на внука. А потом всякий раз поджидал его на тропе, положив улыбку на помахавающий при появлении Випалия хвост.

Звал он его Селинджер. То ли из-за пропасти, в которую топ свалился из бурного чертополоха над краем терраски. То ли как сомкнувшего губы в улыбке таинственного затворника. То ли вспомнил его фразу о том, что писать нужно так, будто на тебя со страницы глядит человек, беспечно сидящий на заборе. А ежа назвал Точка. Селинджер и точка.

Он втыкал в копящую землю палки, и они цвели. Лунил пальцем и сыпал из кулака семена, и они всходили — то помидором, то дыней, то хреном, и ходили впрыскаду за ним, кукловодом, по огороду.

Будку выкрасил ярко, в пуземку. Стол смастерил и очаг, взял кирку и пошел сечь искру из скалы, восходя по ступеням, раздвигая обочь непролазно шипастые заросли, прорубая прямую ла-скальную тропку от дома к пуземке. Огородники переглядывались всплывавшими над заборами беспечными головами.

Он взобрался на высокий хребет над поселком, еще заснеженный, и, спускаясь, угодил в стадо оленей, плывущих по топким цветущим мхам среди баснословных деревьев — Авраамов, стоящих с воздетыми к небу руками в засученных рукавах. А ниже — лиса вспыхнула в зарослях и погасла.

А ниже, у забродившего озерца, он наломал двухметровый пук диковинных лепаргийцев: тростниковые стебли, увенчанные восходящими золотисто-охристыми иероглифами. Вернувшись домой, он омыл им ноги, присев перед ними, как Магдалина, и вставил в напольную вазу.

На той же стене, над покачивающимися пенями от лепаргийцев, большая необрамленная фотография: две головы, лучащиеся из одного тела. Тело жены с заведенными за голову руками, за его голову, прильнувшую к ней щекой. А руки его, выплывая из-за ее спины, лежат большими счастливыми ладонями на ее животе. На ее животе, в котором — но об этом они не знают еще — вскоре толкнется ребенок, сын, мертвый.

А на другой стене в простоволосой рамке лицо Беатриче, нарисованное белым на черном, с задумчивой горечью глаз — сквозь него, как сквозь дымку, глядящих.

И ртутно-спящее море в окне, и распущие в воздухе горы. Только-только развеснилось, а чувство, что он уже здесь века. Топ фрегат давно искрошило о берег. Он увидит его через несколько леп на киноэкране. Его, но не девочку, наворачиваемую волной на берег, — ту, с чутко-блаженным лицом и балетках с красной песемкой. Говорят, упавшую со скалы.

Но даже смерть здесь как смерть не воспринималась. Игра света, ужимка природы с ее чутко блаженным лицом.

Смерти время глядит в лицо и надевает бирку на ногу. А здесь оно — не то что в лицо не глядело, а и не скажешь — где оно, чем живет? Не линейное, уж конечно. Но и по кругу не ходит, несмотря на сезонный цикл. Не циклится, как и люди, каждый сам по себе; ходят, вольноотпущенники, помахивая хвостом.

Да и люди — тоже ведь здесь не факт. В кресле мэра — рыжий сидит, валит шахматные фигурки, сам с собою играет — кот.

И деревья разгуливают за окном, отбросив расовые предрассудки, в обнимку, едва на ноге от воздуха, а чуть отойдя от поселка — валяются в свальный грех.

А люди распут, ветвятся ногами к небу. Тоже не факт. Как и море. Он приглядывается: закап распивают с небом, как Сальери с Моцартом, лицедеи.

Утром причаливает колхозный мариман, кренящийся всегда на правый борт, как ботинок с косо спотпанным каблучком, медвежьим. Бочка с булькающим серебром покачивается с воткнутым в нее совком, а под ногами скапы — распластанные гипертоники.

Випалий берет катрана. Это такая акула-школьник. Рослая, на голову ниже его. Берет на плечо, как ковер. «Девочка, — говорит, передавая ее, рыба, — на губах пахнет, пальцы облизнешь! Червонец».

Нижнюю часть ее он обвалал в муке и зажарил. Бескостная, лепестковая, сама нежность. И не губами ее брать — устами! Устное, дописьменное создание.

А верхнюю вывесил за окно, она покачивалась, глядя в небо маленькими ужаленными глазами с приоткрытой, чуть съехавшей набок ухмылкой. Этим вырезом на манер декольте.

Приезжали друзья — киевляне, пиперцы, москвичи. Пировали, лучились, речились, шашлычились. Ночевал он на крыше туземки, с головой накрываясь мерцающей звездной парчой. И, засыпая, думал: какое счастье, что Бог уберет его от переезда в Москву. Сколько снегов он простоял там, в Банном переулке, с фанерной табличкой на груди, перестукиваясь озябшими ногами. Сколько пригородов объездил, отчаевничал на кухонных торгах. От Троицка до Троице-Сергиевской. И назад, на Троещину. Тройка, семерка, туз.

Уж ордера подписывали, и вдруг ангел дунул из-за плеча и — фьють: нет ни Киева, ни Москвы. Ничего нет — смертного. День Седьмой, затянувшийся, как потягиваются со сна. Будто яблочко съел, а из рая не изгнан. Крым. Рыбенок. Божок-бережок. Мырк в воду, и — зеркально — отряхивается на пригорках.

На одном из таких пригорков, выходя из троллейбуса, он подал руку девушке, она чуть качнулась вперед со ступеньки, и длинная плетеная коса лизнула его ладонь. А когда она сошла на землю, они как-то неловко ткнулись друг в друга глазами, и ресницы их перепутались.

Худенькая, отчего казалась еще выше, и гибко упругая, как пруттик приречный в порывах весеннего ветра.

Вербная. Бусинки опушенные, перламутровые. Такое чувство было, очень тактильное, недопрощное, по всей длине.

Была она замужем и жила в Крыму, тоже у моря, но на другом, не защищенном от ветра краю.

А тогда на ней была легкая белая блузка, как тонкий ледок под весенним солнцем. И казалось, она неподвижна, это только ледок подрагивает, испончаясь, тая... И он все скользит по нему, распластан, скользит в этом талом узорчатом крошеве, прогибаясь под ним, расступающемся перламутре, пока не вынул лицо из воды и не лег подбородком на топ наспороженно чуткий берег ее плеча, над которым склонилось ее лицо с чуть озябшими светящимися глазами.

А потом она долго-долго плела свою косу, прижав колени к груди. Талые к палой. А перед тем — так же долго подтягивала под себя ноги, подрагивающие по всей длине — аж до того берега. И он все глядел на нее, заплетаясь зреньем, таким же долгим, таким же талым — под этим маленьким зимним, еще неопушенным солнцем.

Так родилась его вторая дочь, талая, крохкая, лунная. Пять лет спустя после солнечной.

И в обеих семьях мужа не сомневались в своем отцовстве. И, соответственно, дочери. А он был как бы волшебным их другом.

Семейству солнечной он отдавал на лето квартиру. А сам обычно или бродил налегке по Крыму, или севернее, по часовой.

Тем летом ей, старшей, уже было одиннадцать, они взяли водный велосипед и покапали по кисельной глади в ясный, чуть скругленный по сторонам, горизонт.

«Слушай, — сказала она, раскачиваясь над педалями, — а что это ты меня так любишь? — и, приблизив к нему свои ясные голубые, — потому что мы так похожи, да? Вот здесь, и вот здесь, и там... И болит у тебя вот тут, где у меня болит. Потому что мы ведь одно, да? Потому что, скажи, я твоя...»

Он, зажмурясь, кивнул еле слышно: «Дочь».

«Дочь!» — она выкрикнула уже из воды, а он не слышал, уйдя под воду с другого борта, велосипед раскачивался без берегов. «Да!» — выкрикнул он, всплывая. И она, поднырнув, оплела его всеми руками, и они, пузырясь, погрузились под воду: «Да!..»

А потом она все торопила к берегу, захлебываясь от счастья, мол, мама-то как обрадуется...

Мама погладила ее по голове и усмехнулась: «Да. В волшебном его воображении».

А потом — или это было раньше? — тем же летом приплыла *талая льдинка* с мамой, на денек повидаться. И он повел их в укромную Чеховскую бухту, куда *солнечные* не хаживали.

В тот день поштармливало. И без того маленький, поджатый к скалам пляж заливало, оставляя сухим лишь лоскут на двоих в обнимку, где они и сидели, то и дело вылавливая из воды дочурку, которая в ответ с укоризной покачивала головой: «Это вам только кажется, что это море». А когда мама начинала: «Я же тебе...», — она ее обрывала: «Это тебе только кажется, что это *ты*». И так далее, о чем бы ни заходила речь.

Такой день у нее оказался. И он ее целиком поддерживал, говоря: «Это тебе только кажется, что тебе кажется...», — и вдруг увидел сносимый в бухту островок велосипеда, передаваемого, как на руках, волнами все ближе к берегу — так, что он уже видел машущую ему *солнечную*, едва удерживающуюся на этом заливаемом пеной островке с мамой и братом.

И вот они все шестеро — две женщины, две девочки, мальчик и он — стоят на одном квадратном метре среди скал, обдаваемых брызгами. И он не помнит, запутался, кто о ком знает и что. А кто догадывается и о чем. И они стоят голые, оглядывая друг друга, жмясь вплотную.

И Чехов, прильнув к окну своей дачки, глядит на них.

Или это ему только кажется...

с ч а с т ь е

И однажды ночью он просыпается в тихом нечеловеческом ужасе. И спрашивается поднести руки к лицу: там прошла вся его жизнь, там лицо старика, там — вепошь. И не может осилить себя, встать, подойти к зеркалу, свет зажечь.

А что если там в зеркале и не отразится никто, некому. И это чувство отсутствия себя пронзает так явно, так явственно, что кажется, окажись он в зеркале — вот что ужаснуло бы, опшатнув.

«Нет», — шепчет он, прислушиваясь к этому шепоту, и так и не открывает глаза.

А наутро из зеркала на него глядит молодое сияющее лицо самого что ни на есть блаженно бесстыдного счастья. И он умывает это лицо и смеется вместе с водой. И спускается к морю, и нет земли под ногой и неба над головой, потому что нет никакого зазора между ним и тем деревом, облаком, мысом, всем миром, нет зазора меж прошлым и будущим, нет даже мига — от сотворения мира.

Что ж есть? Равновесие, счастье, родство. Растворенье, родство, невесомость. Нет ни одной ноты фальши. Нет звука.

Он видит громадные волны, они перекапываются через набережную и валят деревья, утаскивая их за собой. Он чувствует брызги, кропящие его запрокинутое к небу, хохочущее лицо. Он не слышит себя. Как море не слышит, как небо.

Нет земли под ногой, и не нужен ей здесь ни упор, ни опора. Он не видит; глаза его больше, чем небо. Он не чувствует брызг. Он лепит, как ребенок во сне.

б р а т ь я к р ы м

о б щ и й п л а н

Поселок был похож на низ живота какого-то баснословного создания, бог весть когда съехавшего на спине по ущелью к морю.

Ныне виден лишь низ живота. Всё, что выше, — ушло под землю, заросло густой плодоносной зеленью, переходящей в виноградники, — там, видимо, над ее лицом.

Ее, конечно, судя по распахнутым, чуть приподнятым бедрам, уступчивому напряжению ее живота, пробегающей дрожи, бисерной влаге в паху, не говоря уже о цветочном, чуть солоноватом дурмане, ее заволакивающем по ночам.

Ноги ее, то есть многи — укрыты морем, состоянье которого, цвет и прозрачность, надо полагать, зависят не только от верхнего освещения.

По сторонам от кущей — две родинки позднего периода — чеховская и пушкинская. Аборигены видят их не иначе как своего рода тапу.

к о п ы и с о б а к и

Коренное население поселка — копы.

Их демографическая пропорция к людям, собакам, птицам и прочим — соответственно 5 к 1, 3, 2, 1.

Число их сопоставимо лишь с листьями на деревьях и отсылает по Шелковому пути.

Они и сидят, как индусы, на упрямом солнце, свесив руки между разведенными коленями, прикрыв глаза, медитируя.

Не все кришнаиты.

Иные, правверные, с клочковатыми пейсами, стоят в столбнячном оцепенении у заборов, как у стен плача.

Или те, в белесых шкурках, сидящие вдоль пустыря моря, как эскимосы, кивая вдаль, на берег турецкий, куда ушла рыба.

Или те, лицедеи, стоят, стеклянея в извиве, нос к носу, пуча свои караты, воя по-человечьи.

Типа в людей играют.

Или лежат на крышах, выпянувшись на спинах, запрокинув руки под веткой инжира, склабаясь в полдневной истоме.

Или ходят с собаками — щека к щеке, фланируют по променаду, как семьи военных.

Окрас их сродни пушкинской осени.

Или мокрым палитрам импрессионистов.

Писсаро, например, вон тот, в лужу глядящий со ступеней библиотеки.

Или эгот, трущийся о приспущенный чулок выветрившейся известковой старухи, — Мане, Эдуард.

Точечные, лоскутные, переливчатые.

Переливчатые буквально, как та пара милующихся на ветке малахитовых кувшинчиков, переливающихся друг в друга, обнявшись и привставая поочередно.

А еще похожи они на стоящих в водорослях коралловых рыб, ноги спруются под ними по числу этих водорослей.

А в полнолуние все они удлиняются к небу чуть отведенной вбок головой и, искоса глядя в зеркальце, подкрашивают губы, выпягивая их колечком и поджимая.

Собаки при этой поталитарной котократии вырождаются в нечто котообразное, оспанавливаясь в неустойчивом равновесии где-то на полпути.

Во время утренних туалетов они стоят по сторонам кошачьих купален, как евнухи, как бы глядя на море, вдале, но краем глаза присматривая за церемонией.

В море — тоже собаки, но рыбные. Плюс зеленухи. Это всё, что осталось от рыбьего царства, — плерб.

Коты перешагивают их, вываленных в песке, животрепещущих, брезгливо отряхивая лапы.

м е д у з ы и д е т и

Время от времени море покрывается медузной водянкой.

Они плывут, покачиваясь на волнах, как лифчики: матерые материнские с перепутанными зануренными песемками, девичьи, на косточке, и совсем детские тряпичные блинчики.

К закату они сплываются в длинные виляющие полосы или мутные бельма.

И если уходят, то непременно ночью.

Дети любят их рвать на куски. И, сидя на корточках, долго смотреть на них, как они тают, разлагаясь на солнце.

Быть может, это как-то запрагивает их утреннюю память.

Лица взрослых не любят себя окунасть в них, торопливо гребя с отведенной вверх головой.

Краснеют ожоги с укромно крапивным подростково волнующим зудом.

И почему-то, как правило, в окрестностях генипалий.

м у ж ч и н ы и ж е н щ и н ы

Местное население к морю не ходит. За исключением рассветной стайки долгожителей, утапывающих гальку под семянами на месте ногами.

Дальше их считанные головы в разноцветных резиновых шапочках можно видеть в морозном паре, спелящемся над водой, как светофорные перемиги на туманной узловой станции.

Основа людской линии населения — женщины.

Мужчины их сопровождают, доходя до лет 30–35, затем отклоняются и годам к 42–43 вымирают с древесными вневозрастными лицами.

Женщины долго бутонятся, кратко цветут, одиноко мужают и, постепенно выветриваясь и просветляясь, плывут, как в пуху пополюном, легким столетним шажком и с пуховой улыбкой — пуда, в безвременье.

с л у ч а й

Однажды утром после Большой Войны Главный Кукурузник страны проснулся и с бодуна подарил эту местность Украине как одной из первых и любимых жен из пятнадцати окружавших его к тому времени.

Подарил он ее в честь 300-летия их странной русско-украинской дружбы.

Украина в ответ подарила России шулку домотканого времени с приворотным узором.

На что Россия ответила Богородицей, оставив себе Отца и Сына.

На что Украина хотела передать в дар всех будущих детей своих, но, взвесив, передала лишь девочек.

Россия призадумалась, поглядывая на Монголию, но на снижение жанра идти не хотелось.

Тем временем кукуруза, взошедшая от Карпат до Камчатки, проломила плотные слои атмосферы и первой вышла в открытый космос, что отвлекло от уже готовящейся рокировки народами, переведя ненасытный взгляд в небо.

п р о е к ц и и

История местности до этих событий маловразумительна.

Жили здесь, кажется, все, кроме негров и полярных медведей, но приживались немногие.

В горах находят могилы тавров, о которых известно лишь то, что хоронили их, кладя на бок, как для слепого зондирования после смерти.

По поселку проходит Александрийский меридиан Земли, нечто вроде позвоночного столба цивилизаций.

От африканского копчика через средиземноморский крестец шла возгонка энергий вверх, к гиперборейскому гипоталамусу, но в районе двенадцатого грудного позвонка, где-то в этой местности, они схлестывались со встречным потоком, образуя некое завихрение с последующим защемлением, массируемым с обеих сторон многопальными потоками новых энергий до очередного взвихривания и нового хондрозного перекоса.

Хотя с другой стороны, согласно эзотерической карте мира, местность эта репрезентирует планетные гениталии, что несколько рассогласовывает александрийскую версию.

В качестве примиряющей территории можно упомянуть и о пятой пране — *упане*, называемой нижним дыханием.

Упана имеет дело с харчем и с исходом энергий вовне.

То есть со смертью, в понимании индусов, процесса повседневного непрерывного и, наряду с четырьмя другими пранами, корректирующего дальнейший ход колеса сансары.

Трудно переоценить роль пупа и сфинктра — этих двух сфинксов упаны.

Последний должен быть пуг и упруг, как зажмуренный ротик младенца, сосущего грудь.

Так или иначе местность представляет собой край.

Для южных цивилизаций — край северный, за которым мир становится безвиден и пуст.

Для северных, имея в виду Державу, край южный, за которым она, как сказано, обрывается над морем черным и глухим, то есть своего рода ее, Державы, крайнюю плоть.

С боков она так же поджата — по одну сторону Азией, по другую Европой.

Так и стоип подбоченясь, подобрав цветастые юбочки гор, отороченные прибоем.

Хотя, если отойти от прибрежной антропологии и стать спиной к морю, особенно осенью, видишь не горы, а желто-багряные попоны на дымчатых воздушных лошадаках, плывущих хрен знает в какую даль.

с р е з

Но вернемся к поселку. Людообразное население его трехслойно.

Верхний слой — очевидный, профанный. Нижний — сакральный, заповедный — ареал обитания белых единорогов.

Между ними — подвижный промежуточный слой: ареал трансформаций, стихия огня.

Особняком в нем стоят разного рода тифии, ведьмы, химеры и прочие стимфалийцы с перьями, летящими, в зависимости от природы, у кого вниз, у кого вверх, а у кого и внутрь.

Споронному наблюдателю открыт лишь верхний, профанный слой. Чтобы видеть сакралов, необходимо обладать трехслойным зрением, что приходит по мере сращения с местностью, вплоть до полного, сквозного в ней растворения, что в свою очередь лишает возможности какого бы то ни было зрения.

е д и н о р о г и и д е в с т в е н н и ц ы

Наживкой для лова белых единорогов являются, как известно, девственницы.

Простоволосую отпроковицу наживляют на росное поле в предупренней дымке.

Она лежит на спине, разметав руки в восходящих потоках своих сновидений.

Он приближается, сводя глаза на мушке своего певчего рога и, опускаясь на колени, кладет свою белую влажную голову, весь пятучий ее меловой период на подрагивающие, туго сведенные лебязьи крылья ее бедер и защелкивает свой горящий конфорочный глаз.

Нет девственниц в этой местности, не водятся.

И незримые альбиносы отсиживаются на свободе, в ее дебрях, расхаживая по небу в мерцающих колпаках звездочетов, бубня на санскрите, в погожие дни вывешивая свои тела на деревьях вниз головой на просушку.

Все они знают друг друга, но видятся редко и сходятся только по духу, что случается еще реже.

А так, всплывая время от времени на профанный уровень за бытовухой, всколзь, близоруко кивают друг другу сквозь стены.

р и п м о п о п о с

Но здешний профан это не то, что вы думаете.

Бродит он по колена в белом огне химерного слоя и пяпкой подсасывает реликтовый свет нижнего.

Подсознательно. От рождения.

Кроме того, пожизненное воспитанье хрусталиком.

Глаз нагуливает себя простором, развихриваясь на горках к северу и, описывая дугу по небу, выпрямляется, выстилаясь по водной стихии к югу, а между ними перекидываясь по поселку, не ведающему предсказуемых траекторий, как на лианах, перелетая с одной на другую.

Этот размашистый ритмотопос свободы, врастающий в мозг с малолетства, формирует походку, повадку их жизни, мышление, речь.

Ладные вольницы тел, настоянных на соли морской и солнце — один к одному.

Смутляющие светелки женщин, запах известки и муската.

Время здесь или не существует, или едва существует — почти по Аристотелю.

Редкие будочки часовщиков с выпученным на лбу третьим глазом в ожидании посетителя.

п е р и о д ы

Календарный год делит верхний слой на четыре периода: надирный, восходный, зенитный, закатный и снова впадает в зимний, надирный.

Надирщики делятся на два типа: берложники и шапуны.

Поселок лежит во тьме — без тепла, без газа, без воды, без денег, без памяти.

Берложники, закутанные в одеяла, летаргично покачиваются у окон.

Берложить под одеялом может и одинокий кол, и многодетная семья, похожая на ветвистое деревце под одеялом.

Шапуны скользят, перехватывая руками штакетины заборов, вниз и вверх по штормовому топосу оледенелого поселка со вмерзшими в него кормой ко дну кораблями домов.

На полпути к морю стоит желтый улей поликлиники с боковой дверью правопункта; черные тряпичные втягиваются в него, выплывая белыми гипсовыми.

С каждым днем белых становится все больше. И к исходу надира, на оттаивающей земле, на ее робко весеннем олигофрене остаются лишь белые: тихий пустынный парк замысловато передвигающихся гипсовых фигур.

К этому времени прохудившиеся одеяльные коконы начинают подрагивать, вступая в восходящий период, сплетаясь за окном с белыми шапунами, уже наполовину выпростанными из своих оболочек.

Цель восходников — подготовка к зенитному прорыву. Работают они в лихорадочно восходящем порыве: чистят, красят, копают, сажают, строят. Отвоевывают каждую пядь в огороде, в саду, за забором.

К июню поселок покрыт зудящею сыпью наростов с насестами для отдыхающих.

Зенитчики залегли на постах, поджидая, ухватывая и уводя под уздцы — одиночку ли, парочку или семейный спутанный табунок.

Август — августейший свиноматочный месяц.

Они ползут на берег тяжелыми навьюченными волнами материнства и валяются под палящее солнце, перекапываясь на малиновых спинах, как облезлые тюлени, облепленные бледными детенышами и обглоданными арбузными корками.

А потом и сентябрь уходит на легких ногах по светящейся воде, оставляя на берегу еще и еще на недельку тихо радеющих поскунов по утраченному времени.

И наступает пора закапчиков; банки закапывать на зиму, жизнь на весну загадывать, и закапываться, как клубок, в уголок.

Это всё касается верхнего слоя, нижние к этому отношения не имеют. Или почти не имеют.

А вот где они смешиваются, все три слоя, перетекая друг в друга, так это в осенних горах — по грибы, по ягоды или так побродить-подышать, пощипать правку про запас.

Там, в горах.

Или выйти на лодках в море — всем поселком, когда спавридка сезонится, и облака низко свешивают головы, пытаясь прочесть эту длинную фразу, составленную из лодок, сносимых осенним течением.

Там, в море. Но не в поселке, где слои воспанавливаются, каждый ложась на свой уровень.

И руина генуэзской крепости поблескивает в лунном свете, как пояс верности — уже непроглядно чьей верности и кому.

к а р т а

Этимология имени поселка невнятна. Есть в ней некая азиатская одышка. Есть змеиный диффузный узел.

Одупловатый змеиный туру, оплетенный учениками, випивапо сползающий с горки к морю.

Это несколько песнит начальную *лаховую* метафору, а точнее, синекдоху.

Даже если ее уточнить кесаревой речушкой — полгода вскрытой, другие пол — спягивающейся в рубец.

Этот диффузный клубок поселка заплетен в несколько уровней, непрерывно перегруппировываясь. Так что никакая карта его невозможна принципиально.

Или нужна такая же непрерывно движущаяся карта. Причем, движущаяся в сторону расширения.

А так как расширение происходит каким-то необъяснимым образом внутри поселка, мало затрагивая периметр его поверхности, то и карта, видимо, должна быть мало что непрерывно движущейся, но и голографической.

Угол подъема от моря таков, что ни одна из улочек не выдерживает долгого взгляда вверх, выворачиваясь, заплетаясь с соседними, восходя в этой лианистой связке уступчивой групповухой к бегущему бинпу верхней дороги.

Южные, обращенные к морю, фасады распахнуты окнами, северные — придавлены крышами заподлицо с землей.

Так что, обходя дом с юга, ты как бы восходишь в небо, шагая над крышей, как на холмах Шагала, что возвышает, как анти-Нью-Йорк, очеловечивает масштаб, вовлекает в волшебную оптику как в естественный порядок вещей, не говоря уж о том, как валерьянит котов и влюбленных.

Но дома, то есть недвижимость, движутся, расширяясь вместе с огородами, заборами и улочками, ширина которых как раз такова, чтоб прописулась легковая машина, прижимая к заборам пеших со втянутым животом и скрещенными ладонями на гениталиях.

Телесная конституция аборигенов формируется с учетом этого заборного разрешения.

Машину они слышат за пять-шесть поворотов, настолько запутанных в петлистых улочках, что сначала кажется, что она приближается спереди, и так оно и есть, но по соседнему переулку, затем сзади, сбоку и опять спереди и, наконец, с грохотом раздвигая грузные плодоносные ветви, склоненные над дорогой, едва не въезжает в спину, в последний момент вильнувшего к забору, даже не обернувшегося на звук, ходуна.

Мир надеет на аборигена, как штаны и рубаха, завязанная узлом на брюхе. Подтянул, одернул — на слух, на ощупь, не сбавляя хода.

Этот дикорастущий эйнштейн поселка устроен таким образом, что, скажем, отсюда до гастронома за углом можно дойти числом траекторий, явно превосходящим возможности человеческого опыта, сколь бы щедрым ни было время, на него опущенное.

Числом, похоже, окунающимся в бесконечность.

То есть это, в сущности пугаличное, пространство так перетасовывает время, что оно лишается своей стрелы. Да и вообще смысла.

Св. Себастьян — весь утыканный стрелами, сам незримый — как свернувшийся ёж. Да и есть ли там кто — за иглами?

Тучная вечность, свернутая в ироничной пугалице пространства.

Мир тапталогий, прильнувший к поселку со всех сторон, как бесы к рождественским окнам, присвистывает, дивясь этому чуду под местным наркозом.

То есть поселок начинается там, где обрывается повторяемость — даже мнимая.

ф л о р а

Что молвить о флоре? Ботаника ботаёт здесь на всех языках — от щепетильно карликовых до голиафо хвойных, кедренистых.

Местные пальмы бесплодны, чем, вероятно, вдвойне привлекательны — для берез, например, которые с ними милоются на каждом углу и, порою забывшись, забредают в море, разглядывая, ощупывая и прижимаясь друг к другу в тактильной оторопи.

Пальмы носят свисающие с голов палевые бусы — на вес, гроздьями.

А можно и иначе взглянуть: африканские балеринки со смуглой ворсистой ножкой на тонкой щиколотке, а над зеленой балетной пачкой — незримы.

Вдоль набережной густо высажены пышные кусты с латинскими бирками на ногах, и цветут они млеющими розовыми вувьочками со сладковато дурманящим ароматом.

Сережечные деревья, как школьницы, шелестят свернутыми записками о тайных свиданьях.

А в мае — все скачут вниз, к морю, на одной ноге в белом чулке, по пути стягивая через простоволосую светлую голову белый передник и запутываясь им в волосах.

Короли местности — кипарисы.

Не-Парисы. Женофобы. Инпрроверты. Мизантропы.

Стоят они, започенные в небо, туго стянутые темно-зелеными камуфляжными чехлами, и в каждом из них сидит маленький невернувшийся гагарин.

Под стать им только ливанские плоскоголовые кедрь.

Эти коренастые разлапистые великаны стоят на слоновьей ноге, многоярусно раскидав согнутые в локтях руки с хвойными подносами на узловатых бронзовых пальцах, — а-ля Шивы-официанты.

Панмагнолизм, хоть имя дико.

Магини, Лизы, пьющие кумыс улыбкой.

Эти лотосы, вышедшие из воды вслед за людьми на сушу.

Древесные лотосы, русалочки, которым больно ходить, невернувшиеся, цветущие туманными огоньками в развихренной листвьями чешуе.

Туя, ясень, агава и прочие — все, кроме тополя, месяц землю большой коммуналкой, веселой кибуцой, все — в мире и море, все — в меру в миру.

Даже кипарисы, эти внутренние эмигранты, эти башни из зеленой игольчатой кости.

Все, кроме этих споеросовых пухоносцев.

Благо, не много их, этих оспинно серых подорожных дыд со вскинутыми руками и бесцветными лицами — хуже воровства, этих прихвостней длинных, как палка, дорог.

Потому как дорог таких нет здесь.

Воп они и стоят на подступах, в комсомольских костюмах и обводят даль водянистым взглядом.

Местная сосна любит хаживать в горы.

Чуть пригнувшись. Руки цепкие жилистые. Походка неторопливо упругая, враскорячку.

Многие занимаются скалолазаньем. Иные и остаются на скалах висеть над пропастью с ветерком.

Обветренная шелушащаяся бронза и колючая зелень, — маписки!

Бесстыдница (как это будет по-русски?) — это такое деликатно птягучее древесное существо, в котором очень много совсем голых загорелых женщин до 23 лет и ни одного мужчины.

Его так называемые ветви, отклоняясь от несуществующего ствола, плавно тянутся над землей в невразумительные дали — туда, туда...

Как одичавшие чеховские сестры. Вперемеж с туземными пятницами.

На спине, изогнувшись птягучим помящимся телом с маленькой грудью, запекшейся сучковатым сургучиком.

И оливы, конечно.

Немного их, табунок у моря.

С пугливой серебристой листвой, как облако мальков в зеленоватой воде.

То станут, то в сторону чешут.

Плоды маленькие, как чуть припухшие миндалины, они созревают в октябре, собирают их местные охотники прихотливой закуски, пригибая ветви длинной палкой с крючковатым гвоздем.

Но плодоносцы — отдельная тема.

ф а н т о м ы

Скальный мыс делит бухту поселка на две выходящие дуги и является, развивая начальную синекдоху, своего рода клифором, находящимся в неспихающем возбуждении.

В его щекотливом основании расположена дача Антона Павловича, перешедшая впоследствии жене его — Книппер, сроднившейся с этим местом, в том числе и по созвучию.

Над дачей — домик двух революционеров — Свердлова и Подвойского, купленный ими для совместного времяпрепровождения.

Рыбаки говорят, что по сей день в безлунные ночи их можно видеть бороздящими непроглядь: за рулем лодки Подвойский, за ним на лыжах, в белой балетной пачке вертящий пируэты Свердлов.

Купру опустевшую лодку прибывает к берегу или уносит в открытое. Говорят, однажды к берегу прибило лодку с турецкими номерами и торчащими из-под сиденья лыжами начальника местной спасалки.

м а л ь ч и к

К западу от мыса — акватория поселка, замыкаемая бывшими виноградными га графа Воронцова, к востоку — Главный Центр Педофилии бывшей Империи, замыкаемый мощно врезавшейся в море горой локалитного происхождения — типа кошачьей спины, выгнутой из самых сокровенных недр, — мирно, спросонок, без вулканических эксцессов.

История темная.

Одни говорят, что у благоверной графа N родился мертвый мальчик с кровавой пленкой, завязанной узлом на шее.

Говорят также, что спрадала она столь обильными месячными, что носила тампон во рту, меняя его каждый час. Что, конечно, явное преувеличение.

Так или иначе, мальчик был якобы похоронен меж будущим гротом Шалапина и той скалой, где стоял молодой Пушкин юрского периода, обкатывая под языком рифму к яхонту винограда.

Якобы. Так как, по другим источникам, мальчик был опнесен в загадочный дом, стоявший на пустынном берегу со всегда зашторенными окнами.

В доме тайно доживала свой век фрейлина Марии Анпуанетпы, бежавшая с помощью Калиостро из лондонской тюрьмы, где была приговорена к четвертованию за похищение королевских алмазов, судьба которых канула вместе с нею.

Фрейлина жила под вымышленным именем, посещая Голицынский кружок духовидцев. Но столоверчение по средам было лишь фиалками для нее, занималась она делами куда похлеще.

Мальчик, говорят, выпущенный в ночь из ее рук, стал бесменным духом этой лагуны и, основав здесь впоследствии детский лагерь, первым повязал на пионерские шеи алые треугольные символы.

Карлос Кастанеда, говорят, простоял ночь на плантации кактусов, разросшейся из первой маленькой души мальчика.

Говорят, у них состоялся краткий разговор. Известна последняя фраза мальчика перед рассветом: «Будьте как дети».

Разговор, надо думать, шел о мертворожденных.

д е т и и п р е з и д е н т

Маленький президент Большой земли подарил детям длинный корабль на быстрых крыльях.

А лагерь в ответ обломил президенту лучший ломоть своей педофильной земли.

Корабль, как выяснилось, плавать был не способен, и его установили на железных костылях у моря.

Дети входят в его мрачное чрево, как маленькие ионы, послушать лекцию про море, ионизируясь перед ужином.

Чуть в стороне от них президентский катер патрулирует свой ломоть.

г р и б а р и й

Грибы, говоря о кактусах, цветут с осени по весну, и чем выше в горы, тем гуще.

Аборигены в комматных тапках и с коромыслами на плече взбираются на затуманенные вершины.

Впереди дыбком бегут остроносые спарухи в подстрелянных кацавейках и голые карапузы, проворно перебирающие ногами по-кавалеристски.

За ними челночат стрючковые старики со слезами в лопатках, по слову поэта.

За ними — спитые семейные пары с косами на плече.

За ними — черные виноградные гроздья голов на мотоциклах с коляской.

За ними — грузовики, облепленные груздевицами.

За ними — деревья, как глухонемые, жестикулирующие им вослед.

За ними — лишь дядька Черномор мокрыми с проседью паплами накапывает на пустынный берег.

Грибы берут у вершин, не отвлекаясь по пути на грибные поляны. Берут там, где земля от них становится непроходимой.

Косари выстраиваются в шеренгу и с магическим хоровым «Ху!» на каждый мах косы заходят на вираж по склону. Это шампиньонщики.

Беловики ходят с топором. По двое. И рубят его с двух сторон. Щепья летят. Попом раскачивают его и валят.

Маслятники ложатся на живот и ползут, гребя руками, как снегоуборочные машины. Порой на пути встречается баба. В смысле — гриб, похожий на этрусских каменных баб, венер ихних. Маслятники спановятся на колени и, обхватив бабу, валят кумира на бок, капая вниз в обнимку по склону.

Но это, так сказать, легитимный грибарий. Есть и сонмы незарегистрированных грибных фракций.

Есть дымчатые грибы, похожие на цветущие папоротники.

Есть расхаживающие по лесу на длинных камышовых ногах.

Есть стоящие на коленях, как мукаталибы в намазе, так, что белеющие пятки их выпростаны из земли.

Есть чернильные второгодницы в испачканных панталонах и коротких надорванных юбках.

Есть бродящие в пыльных фуфайках и облезлых шапках, сдвинутых на затылок, как ээки на лесоповале.

Есть под прелой листвой заволоженные паутиной принцессы, спящие на иголках, их берут поцелуем гурманы.

Есть дражайшие деликатесы и мерцающая пруха от купюр.

Имя им легион. Да и неп смысла в них разбираться, так как ни один гриб в здешнем краю собой не является: все — лицедеи. Причем, после каждого дождя другая пьеса, и Яго, который еще вчера был Джульеттой, уже Розенкранц.

По возвращении косарей поселок пирует чумную неделю.

Кипят котлы со всплывающими синюшными бельмами луковиц.

Над ними развязываются такие же мутно-сизые языки окруживших котлы кифаредов с журавлиными списками одиссей, заплетающихся в дыму.

Фуры с водкой не успевают сменять на разгрузке у лавок в тумане фуры с подсолнечным маслом.

Полпоселка на корточках, как индейцы, сидят над тазами, скальпируя плеврочки на маслоках.

Грузди полутоплены в соляных запонах, как разохшиеся башмаки с заячьей губой.

Лисички жарятся свально, визгливо, не раздеваясь.

Маринаятся вязкие глазные грибницы опять.

Жеманятся голубые рыжики, органистично похрустывающие во взгляде.

Небеса над шаткими колыбелями дворов зашнуровываются погремущими низками белых пляшущих человечков — на просушку.

Спустя неделю, когда склянь небес устаканивается над поселком, численность его населения обычно падает на треть.

Большая часть этой трети — заезжие робинзоны, не обладающие необходимым иммунитетом для выживания.

Оставшиеся два-три десятка аборигенов, вынесенных с бездыханными улыбками из-под пальмо-берез, как правило, возвращаются в поселок на девятый или сороковой день.

з н а к и и р е ф е р е н т ы

Имена улиц шизофреничны. Не в такой степени, как грибы, но всё же. Во лет СССР, например, она же Зеленая. Первое — в официальной письменной традиции, второе — в устной народной.

Есть в поселке одна тихая улочка, ткнувшаяся в тупик, шириной она — в ловящую свой хвост собаку и длиной — в осевший на ней одноглазый дом. Называется: улица Свободы.

Годы прошли, прежде чем волна от развала Империи докатилась сюда, в этот Богом добытый край.

И пришла она сюда как-то неявно и спала поодаль, переминаясь в некотором что ли смущении.

И вот как-то спруйка воды в кране стала чуть потоньше и василек газа потише, и ладонь на батарее зимой ложилась все чаще.

И как-то незаметно все больше становилось этих людей с юркими грифельными глазами, кроющими край этими острыми карандашиками.

Увидел лоскут земли с видом на море, обпянул веревкой; мое. Подлесок ничейный с озерцом; мое.

Дальше — больше, с вирусной прогрессией.

И дрогнул верхний слой, и раскатился комьями по округе — на себя намапывать видимость и невидимость, столбить, застраивать, а угодыя — царские, имперские, на худой конец.

Кто колонну волочит, кто льва мраморного на веревке тянет, кто в оленей в упор палит.

Опустело море, рыбы нет — дети съедены, корабли улетели к югу, один остался — ржавый фантомный траулер, кивающий вдали со взвихренным над кормой чаечным плюмажем.

Смеркается разбодяженный воздух.

Покачивается, будто покрытое спружьями, море.

Шершавая тьма зализывает тикающий людьми поселок.

Время опоросилось, распут крепкие домики нуф-нуфов.

Кто же он, человек? Крашенка?

Зыбкие очертания, эфемерные добродетели, пыльца одна.

Чуть время пронет его — и весь узор на пальцах остается, а бабочка трепещет, заваливаясь, — голая, бесцветная, тварница.

Птиц среди них мало, вот что.

Меньше, чем мнилось до этих пальцев.

А кто ж жил здесь, какой народец?

Флорный, солнышко пил с ладони и выдыхал кислород.

Мюнхаузен, Кихоты с Пансами, братья Завдеевы, рыбаки...

Сады под весну подвесные, осиянные к осени.

Побережье — всё — как единый двор в зарослях виноградных, с застоями, которых не увидеть ни сверху, ни сбоку из-за гнущихся к земле ветвей с новогодними шарами запуманенных персиков, гляцевых яблок, белок с орешками, с виноградным усиком стрелки на часах — вековой, с разговором под стать ей, вьющимся, оплетающим солнце, заплетающимся за ним.

Видимо, так оно и происходит, исподволь.

Первыми уходят ладони, и остается косою смоляной стес на палках рук.

Потом зрачки запачиваются, как грифели.

За ними губы — как бы чуть подворачиваются внутрь, подсушиваясь, запекаясь.

А потом и душа уходит, как женщина, забирая с собой ребенка, с которым тебе предстоит еще встреча.

И чем незаметней уходит, тем неудержимей.

И остается шагающий крест в пиджаке, от которого разлетаются птицы.

А потом он идет спиной вперед, как Озирис, по царству теней, ища свою душу, без конца повторяя: «Я — Душа — Озирис».

Но, видимо, так и должно быть. На то он и верхний, осадочный, наносной.

Да и неясно ведь кто спасает кого: мы — душу? она — нас? мы — от нее? она — от нас?

Последнее, разве что, удастся.

б а б ь е л е п о

«Легче, мужик, легче, не надсаживай, — говорит, не разжимая рта, человек, обводя песочной улыбкой серебристый простор со стоящими в нем косыми столбами света, — бери ведро, — говорит, — ставридка идет, пойдём и мы».

В эту пору бабьего лета, когда тела размашисто-плавно выются на тонких напаянных нитях в открытом небе над пустынным поселком — что твои змеи бумажные, и там, далеко внизу, жгут листья, вороша их фламандские влажные купы в дыму так, что неясно, где листья огня, где древесные язычки, в эту пору развоплощенного времени население расслаивается на три потока.

Один — женский, центропримитивный, ввинчивается к базару — с тележками, тачками, мешками и прочей тарой — скупаться на зиму, бурундучится до весны.

Два других — центробежных: один — в горы за травой, за ягодой впрок, другой — в море рыбалить, удить горизонт.

с т а в р и д а

Отплывают они от берега — кто на чем, выстраиваются выходящим пунктиром вдаль и опускают ко дну метров 50 лески с гирляндой голых крючков и пьют вверх натруженную трепещущую гирлянду: 12 крючков, 10 ставрида, 2 отпегиваются, катапультируясь в воду.

Портвешок льется в кружку — разночинец йодисто-виноградный — топ, что был бы мускатом, кабы не ушел с вольнодумным неоконченным высшим.

И ведерко покачивается, полнясь гибкими прыткими клавишами без фортепьяно.

И пунктир уже складывается в слова и фразы, группируясь вокруг смысловых очагов, клевных.

Переговариваясь по всей вишневатой длине фразы, пуская стакан по кругу в пределах синтагм.

Чувствуя под собой весь этот бездонный палимпсест моря, вчитываясь в него послойно, вслепую, хребтом.

Они и глядят на море, еще со двора прищурясь, зная, на какой странице его, в каком абзаце, после каких слов медузную пленку его заволоклет, а после каких — лобаны раскатятся по дну, как поленья.

Семь уровней чтения библии, говорит кабала.

Ветвисто бодливое зреньё.

А что говорит камбала, волнообразно стелясь по дну с задранными горе очами, вскользь снизу вверх бытие читая?

б р а т ь я

И причаливают братья Завдеевы последними, и запрягивают лебедкой баркас в заросли, и выходят первыми, и у каждого на проволочной низке в руке лисы морские, эти местные скауты скапов.

И почему — лисы? Как лисьи шапки с длинным хвостом у монголов?

Топ же волнообразный ритм кочевой?

И вот поднимаются братья по поселку, и коты спрутся из переулков, увязываясь за низкой лис, и идут на задних лапах, пропалкиваясь вперед — к тем, кто плывет, как по воздуху, семена под собой ногами, уцепившись рукой и повиснув на рыбьих хвостах, как в трамвае на поручне.

А у рыб спина наждачная маренговая с двумя недовинченными вихляющими шурупчиками глаз, а живот баевый с кальсонным тульфиком маленького приоткрытого рта.

И стебель хвоста — без бутона, с шипом на конце.

И вот поднимаются братья по кривоколенным улочкам, лодочно кивая по споронам.

Оба просмолены и увенчаны рассыпавшимися макитрами солнечных волос.

Голубизна глаз такова, что брови кажутся переливчатыми, шелкопрядными.

Рты чуть раздвинуты братским ритмичным дыханьем, будто гребут на пару.

Вьетнамки, полуштаны, рубахи, завязанные узлом.

На плечах — по веслу, в руке — лисья низка, стебли шипастых хвостов волочатся по земле, как зубодерные буры.

к о н ь к и

Проходят лавку, среди прочего торгующую сувенирными морскими коньками.

Эти умбристые дракончики с близоруким взглядом передвигаются с помощью пика. Большую часть своей жизни, не пикающую, проводят в подвешенном состоянии.

Ноздри у них музыкально расширены, руки заведены за спину, очерк — английской S тридцатого кегля.

Похожи они на маленьких рубинштейнов, присевших к незримому роялю, откинув фалды.

Продавщица обычно спрашивает: «Вам мальчика или девочку?»

Сушеные мальчики на пару миллиметров крупнее и уходят по доллару, в переводе с гривен, что на двадцать центов дороже девочек.

Но ценен мальчик не габаритом, а семейным стапусом: он и мужик, и роженица, и мать. Оплодотворенная девочка возвращает ему его семя на сохранение, он вынашивает и разрешается.

Они лежат под стеклом виприны, как масонские ордена или маленькие полководцы с комплексом Наполеона.

г о р г о н а

Братья минуют почту, куда впекает бойкая речушка старушек и выпекает встречным потоком с длинными лентами шифровок в руках: одна рука поднята над головой, другая — разматывая ленту — тянется к подолу.

Так и движутся, расходясь по поселку, суча губами эту цифирь телефонных счетов за сезон.

На краю поселка над мусорным яром косо воткнул многоэтажный дом. Много — это пять. В отличие от архаичного счета: один, два, много.

Нахрененный порец высоты глядит в море, другой порец надменно вперен в небо поверх яра.

Там, на балконе верхнего этажа, стоит нечто бабообразное с поднятыми к небу веслами рук.

На ней распахнутый цветочный халат, под которым пучно-перловое тело со вспученной грудью.

Врытое в плечи бунгало головы, занесенное взвихренным пеплом волос.

Бунгало с выбилой дверью рта: она воет, то есть поет.

В небо поет. Речитативно стихая воркующим рыком, будто горло зубами полощет, и вновь набирая напужно басовую мощь. Ежедневно, как по часам, на рассвете, в обед и к закапу.

Что поет она, эта горгона балкона, Джульетта с того еще света, богиня — про гнев Ахиллеса?

Балкон ее развернут к яру и обращен к небу, так что мало кто слышит ее филиппики, а она и подавно, так как глуха от рожденья.

Трижды в день по часу она голосит, обрабатывая округу на манер химикапного обсыпа, видимо, довольно безобидного, судя по дали, небрежно отряхивающейся от него.

б а з а р ч и к

Братья подходят к базарчику, не к зеничному рынку, который ныне пустует внизу в парадонтозно колонном зале со снесенной крышей, а, как говорят местные, к банзайчику, этому репертуарно-пропуарному банзайчику у больнички.

Первыми снизу слева в зарослях сидят вспахтанные молочницы и молочники с козьими лицами. На перевернутых ящиках — баночная архитектура.

Чуть выше их — медоносы, сидящие в мареве ос. С вязким солнцем, помящимся под капроном, — от сопливо рассветного до гречишно закатного.

Выше — цветочницы, что несколько обескураживает в этой местности — как увидеть рыбный прилавок на дне морском.

Аспрально туманное облачко спущенной с неба старушки в обнимку с искрящей охапкою астр.

Гладиолусы, перемигивающиеся огнями вдоль безлунных заросших дорог.

Неопалимые полевые купины в ведерках.

Пучок васильков длинноногих, подрагивающих в земляном кулачке.

Выше — овощи-фрукты в ящиках на земле. Вперемежку со сношенной обувью, утварью, стройпричиндалами, холодильником «ЗИЛ», привалившимся к стволу акации, одеждой развешенной на ветвях.

А рядом — золотые горки луковых куполов. И знаменитый местный любимец — плоский бронзово-сизый, но о нем — ниже, то есть географически выше, на верхней дороге.

А вот полосатые горки пушечных ядер: для маленьких пушек — джанкойские, для большой Берты — херсонские.

Их прислоняют к уху и похлопывают, кренясь на одну ногу, как перед броском.

Поглядывая на громадные азиатские, лежащие, как зеленые дирижабли в мутных вихляющих строплах.

к а с а т к и

Из переулка выплывает стая дельфинов, скользящих на хвостах, приближаясь.

Не дельфины — касатки, судя по расступающимся перед ними гномам местных жителей с запрокинутыми головами.

Это женская сборная Украины по волейболу.

Каждый год в эту блаженно-пустынную пору их привозит сюда маленький облысевший тренер в детском костюме адидас. Он и сейчас впереди, как на воздушном гребне, гонимый упругой волной кучно скользящих за ним на хвостах касаток.

То и дело тренер кидает через голову мяч, и те ловят его грудью, попрыгивая плечами, радостно перецокиваясь на неземном языке.

Описав эту невнятную петлю по поселку, они возвращаются к тренировочной рыболовной сетке санатория Минобороны и бьются в нее, перелетая и зависая в густеющем небе, порой до утра.

Братья провожают их прищуренным взглядом. Последняя поворачивается на хвосте и, удаляясь спиной вперед, машет им вскинутой головой с приоткрытой щечоточкой рта.

Маленькое нечесанное облако ходит над поселком по кругу, как коза вокруг колышка. И — нет ее. Одинокое море, парусок блещет.

м ц ы р и , ж у ч о к , к н и г а

За черным столбом дыма над баней, утопающей в кустах лавра, слышны удары топора и звон бьющегося стекла. Братья поднимаются чуть выше и уже видят его — этого Мцыри, крушащего свой дом.

«Гиблая карма у этого места», — кивает один брат другому.

«Не то слово», — роняет бабка, громоздящаяся на детском стульчике. Меж ее раздвинутых коленей стоит мешок сладчайших в поселке семечек и стопка нарезанных четвертушек газетных страниц. К ночи карман ее опятелился фонариком-жучком, который нужно наяривать, как силомер, выжимая из него свет. А за спиной в зарослях возникнет подсобная фигура мужа с кошелкой вина и водки.

Поселок по ночам погружен во тьму, исчерканную карманными фонарями со вспыхивающими в лучах очами котов. Бессонники со всех сторон движутся «на жучок». Те, кто без света, а таковых большинство, прокладывают путь в обнимку деревьев, в облапку заборов и, чертыхаясь, друг друга.

До Мцыри дом, стоявший на этом месте, сгорел дотла вместе с хозяином. До этого в доме жил старик с острыми светлячно-болотистыми глазами и мясисто изрытым носом, похожим на взбудораженный термитник.

Из дому он почти не выходил, мало кто его видел вблизи, говорили разное. И что на крыше у него ведьмы, как аисты, свили гнездо, и что он молнии шаровые выгуливает в саду, и что в погребе у него дверца, за которой ход, ветвящийся подо всем поселком, и что он пишет снизу на исподах домов магическую книгу, и когда она будет завершена, поселок отпорется от земли и свернется в огненный свиток, восходящий в небо, постреливая раскаленным жаром тел, душ, букв, и это будет началом конца света.

А еще говорили, что он входил в сентябрьские тела одиноких женщин, стоявших вдоль парапета с нежно-кисельными лицами и чуть приоткрытым ртом в сторону столь же кисельно закатной глади. Прибывавших, как правило, 67-м поездом. Сентябрьских невозвращенков.

о б р а з ж и з н и

Поселок ведет образ жизни. Точка.

Образ, ведомый глазом.

А глаз (оба) ведом правым, не пронутым мыслью полушарием. Левое, вопоричное, лежит северней, воспаяясь по мере удаления от поселка. Который живет состояниями.

Состояние минерала, мерцающего в луче. Состояние поиска упрощенного сознания. Состояние отсутствующего состояния. То есть почти нирваны. Несколько рваной, судя по последним годам.

В вопросе веры поселок занимает довольно отвлеченную позицию. Не отрицая Его присутствия, он как бы не очень верит Ему. Или попросту не испытывает необходимости в более близких с Ним отношениях.

б а н з а й . п р о д о л ж е н и е

Братья берут по кружке кваса и, присев на бровку, цедают прищуренным над кружкой глазом этот роящийся таборный рай.

Местный мичурин раскладывает струйноцветный инжир пятиглавыми кучками — как купола Блаженного.

Тыквы его похожи на курпуазные вздутые штаны. Груши — белые, как девичьи грудки.

Он брызгает пальцами на схватку подростковых пупыршных огурцов, на иссиня-черные стеклодувные баклажаны, на молочно-красные салатные помидоры с нежно-зеленым растресканным пупом.

Пчмокивая заросшим ртом, он указывает, где помидор-женщина, где мужчина.

Борода его похожа на сходящую с гор лавину с нависшей над нею валкой глыбою головы.

На персики глядеть невыносимо. Взгляд мутится, горло сжимается в сладостном спазме; один глаз в раю еще, другой в изгнание.

Запах вяжет ноздри солнечной паутиной, нектарит вдохи золотой пылью.

От их надкуса река берет начало, расплетаясь на тигр и ефрат; от губ к груди текут и по ногам нисходят.

Старик с мешком орехов на спине спускается. Навстречу — этот же старик, но без мешка и в юбке, берет его за руку и ведет под дерево чудес.

Коты в его ветвях разгуливают меж свиперами местной вязки, поддергивая нити коготком. Под ними — пес ест дыню напощак, неторопливо, по Малахову.

Две девочки подлезли под косматый персик и сосут, как осы, подмахивая тельцем на весу.

А на другой стороне улице — опповики. Колеса грузовиков подперты каменюгами. Кузова картофеля разгребаются совковыми лопатами и спускаются за борт в ведрах, пересыпаемых в мешки и увозимых на тачках-тележках. Мешки с сахаром, переночевавшие у воды и прибавившие в весе, разьежжаются на тех же тачках следующей ходкой. Крупы, и в первую очередь гречка, идут под номером три.

д ж о н и к л а в а

Братья подходят к бочке, до краев наполненной жидким серебром.

Над нею стоит разбитная деваха, чуть под градусом: веселые ноги, косая хламидка, синяк под глазом. На ладонь надет полиэтиленовый кулек, которым и черпает пюльку, затем, выворачивая кулек и завязывая узлом, пропягивает покупателю.

Не молча, конечно. Уже держа кулек с обеих сторон на весу, они будут еще долго куролесить языками, передавая эстафету на полуфразе следующему.

Тюлька эта выловлена последним совхозным плавунцом и засолена часа полтора назад, еще в море по пути к берегу.

Муж этой Клавы — моряк-моторист, годы как вросший в берег.

Так как корабли и прочая плавпосуда проданы за море, все мужики спали вольноопущенниками и ржавые якоря их всё глубже уходят в землю, незаметно потравливаясь вниз на скрипучих провисших цепях их позвоночников.

Джон двухметрового роста, Клава нехотя уступает ему сантиметр.

Выходят они в обнимку каждый день до рассвета и исчезают в неведомом направлении лепучим жирафьим бегом. На промысел.

Добычей может быть, в зависимости от сезона, погоды и пр.: грибы, ягоды, травы, цветы, стеклотара, рапаны, рыба (озерная, сетью, или ночная морская острожная, с фонарем, или же бочковая, посредническая).

Куда бы Джон ни отправлялся с утра, к ночи тело его разбито в кровавый блин.

Такая карма. И бороться с ней — пустое дело. Хоть сиди в нирване на пустыре — к ночи кровавый блин. Потому он и не сидит. Двигается, преодолевая препятствия, и препятствия преодолевают его. Как органические, так и не.

Это может быть и кулак, двинутый из тумана в ухо. И камень на дне, вспоровший голову. И стекло, ковырнувшее пятку. Ожог в поллица, защемленье хребта, трещины, выбоины, переломы, на худой конец — кожа, очагами плещущая, как порф.

Речь идет о ладном умелом здоровенном человеке, похожем на корабль, который очередная волна, снимая с рифа, туп же сажает на следующий.

Корабль время от времени пропискивается в док больницы — той, что сейчас за спиной у Клавы, и выходит оттуда, отчасти починенный, отчасти разнесенный, без ряда деталей, с неполным набором опознавательных знаков.

Относясь ко всему этому с благодушным терпением, как природа к своим стихийным процессам, он отправляется на очередной промысел. На ночной виноградник, к примеру.

Возвращаются они с Клавой во тьме. Слышать их издали — по корабельному стону, Клавьему взрыду и общему мапу.

Она, жирафообразная, как кран на судоверфи, волочит его по чересполосному пакгаузу поселка. Замысловатый кровавый след восходит к дальним холмам.

Мужская корабельная кровь смешивается на подступах к дому с женской, когда рукопашно вздыбленный пьяный корабль пытается взять на бордаж волочащий его кран с маленькой, прижавшейся к рычагам крановщицей в стеклянной будочке неба.

Они заваливаются, скапываясь с зеленых пенистых гребней в овраги. Он хрипло трубит, приваливая собой ее несущие конструкции, проща ее вместе с зарослями. Она голосит, выпрастываясь, хохоча навзрыд, подпаскивая его к крыльцу.

Дом озаряется и, озаренный, идет ходуном, оглашаясь игриво взметаемым визгом, ритмично взрезаемым корабельным гудком. - И постепенно спихает, позвякивая винсовхозной склянью.

А склянью этой наполнены трюмы каждого третьего дома. Так как зарплаты здесь с тепер уже незапамятных времен выдаются не деньгами, которых давно уж нет, а бутылками, которые — не по слово — есть.

А чтоб не обременять человека в день получки, выдавая ему бутылку сто расхожего пойла, отвешивают ему дражайшего коллекционного «Красного Камня», к примеру, или того пягучего женогуба, в чьем имени чудится изысканный выблядок малоросски с брипанцем — Бастардо, — бутылку тридцать.

Ежемесячно. На нос. Плюс то, что сам нос прихватывает день за днем, вынося через другую дверь. В итоге — те же сто. А на двухносию семью — соответственно.

А потом воротят носы — кто ж ее, этой амброзии, больше спакана вдудлит? Видип око, да губы плющип.

И в предупренней дымке они вновь выплывают из дома лепучим жирафьим шагом навстречу задорно бескрайнему дню.

Братья подходят к бочке, за которой на корточках сидит метровая двухлетняя девочка — наследница Джона и Клавы. Одной рукой она держит за шиворот угольного копенка, другой запиხивает в его упрямящийся рот горсти пюльки. Они торчат у него изо рта пучком, как гнутые чайные ложки.

Один из братьев треплет девочку по взрослоющей голове, другой спорговывает одну из лисьих низок маме. И, прикупив бутылку водки, оба исчезают в прибольничных зарослях, выныривая по зигзажной щербатой лесенке за котельной к заглохшему миндальному саду на смотровой горке, по пути прихватив прилегшую в лопухи секцию бомжующего забора.

г о р к а , п л е м я н н и к

Конечно, могли б они и у себя во дворе расположиться. Но сегодня, да по такой погоде, попянуло их к костерку на природу, на ту же горку, что в детстве.

И вот огонь уже попрескивает у вершины, и племянник их, вскарабкавшись к ним по скале, мостип на нем грильную решетку.

Леп в нем с десяпок, и все они торчат во все спороны, как пружинки, на которых он скачет, отпалкиваясь от земли то ногами, то головой, то кособоком, и бубнит, и поет, и беседует с собой без умолку.

Сквозь ходунки его рук тьма мельпешащих предметов проходит в секунду, успевши сломаться, воскреснуть и стинуть.

Он гнется, кривясь головою, спиной и ногой, как жонглер; рот разинут ликуя, жизнь дышит в затылок, едва попевая за ним.

Вспорхнул на ветку, шивчик, впилс глазом в бинокль перевернутый, глядя вниз в слепящий осколок зеркала, под ним из земли торчащий.

Горка жара присыпана миндальной шелухой и фруктовыми ветками. Лисы очищены, уже помяты на грильной решетке. По первой уже пропущено. Один из братьев следип за жаром и рыбой, пытающейся привстать головой, кося перламутровым глазом на хвост. Брат грушевой веточкой опускает им головы, прыская на расшнурованный огоньками жар из пластмассовой бутылки с проколотой пробкой.

р а д и у с ы

Младший брат, топ, что с серьгой, отнимает у племянника бинокль и обводип округу скользящим радиусом. Отсюда весь космос края распахнут взгляду.

Южная даль — в лодочной сыпи.

Северная, отороченная горами, — в кострах шиповника и кизила. Он наводит на резкость бинокль: стоят в кострах, не сгорая, как библейские пророки, обрывая капельный жар в рукодельные торбы.

И сыпь, и жар — крайние по обе спороны от осеннего банзайчика, этого бабьелетнего сердца поселка.

Радиус, ополовиненный к югу, упрется в прибрежную полосу с мутным помелом прибоа, почти пустынной демонтированной набережной, спайкой вольноотпущенниц с детскими колясками, художником со вскинутым на прижмуренный глазок карандашом, хотя что там мерить в морской дали — морщины на лбу?

И чуть правей, на волноломе — предприимчивым бомжом в цветастых трусах и красной банданке, водящим по дну длинной палкой с прикрученным к ней магнитом, выуживая из постсезонного пространства то колечко, то цепочку, то бог знает что.

И топ же радиус, вскинутый к северу, мазнет по такому же, как и внизу, виноградно-морскому расчесу с будками спорожей на пригорках и овчарками в выцветших плащ-палатках.

Д о р о г а

А под виноградниками вьется верхняя дорога, вдоль которой стоят маленькие экраны из натянутых простыней. А на экранах — грузные лукоморные косы разного возраста и длины — до земли, до колена, до тупа. Стриженные хозяева сидят рядом на табуретах, вяжут новые косы или дремлют в тени под деревьями.

Или же без простынки — две штанги и подвешенные к перекладине бронзово-сизые позвоночники — доисторические, из раскопов. За шейный позвонок подвешенные и до нижнего у земли — видимо, на растяжку. Взрослый — два доллара, детский — полтора с досыпом пригорошни позвонков.

А меж лукоморщиками, тянущимися по всей дороге меж гор, сидят бензинщики с канистрами, молочники с банками, грибники с корзинами, инжирщики с фигами, фиглярщики с книгами, троллейбусы с женами, пучки небесные, голосуны запоздалые...

В о в ч и к

Младший передает бинокль старшему и отходит в кусты.

В кустах, положив камень под голову, лежат Вовчик, пятки его обдуваются над обрывом.

Топос его тела так же неизмерим, как и топос поселка. Если б не руки, он бы, пожалуй, вкладывался в него, как чуть меньшее в большее.

Руки же таковы, что он мог бы, стоя на набережной, притопить бакен, покачивающийся за молом.

Мог бы, если б такая изошренная мысль посетила его голову, похожую на внезапно вздувшуюся и постаревшую голову младенца.

Рост его можно измерить только курвиметром, выкапывая колесико по вершиям бездорожий, что твое чичиковское колесо.

Изумленное счастье не сводит глаз с его блаженно разъятого рта. Закапавшиеся глаза приоткрыты, как запоны в предупреденной дымке.

Что ж ему снится? Дюймовочки?

т р а н с п о р т е р ы

Старший цедит сквозь окуляр театр военных действий, охвативший поселок, наводя крестик на блуждающие по нему транспортеры.

Застрявшие в ветвях на крутых подъемах грузовики со сменными газовыми баллонами. Газуют, обсыпаясь канареечной марелькой.

Самосвалы с углем, черная тропка разматывается за ними, опутывая поселок.

Бортовухи с поленьями, капящими вниз — на вовремя отскочившую к забору, стреноженную котом спарушку.

Моторолеры со стройматериалами в кузовах, пешие с обозными тачками.

И бесменный шараповский автобус номер 2, обслуживающий поселок от Красного Камня до Локалита. Этот разболтанный носатый короб с давленным внутри виноградным народом все еще выписывает кренделя, прописываясь сквозь строй хлещущих по нему ветвей и пинающих его под ребра домов.

Плюс легковушки — инки и доморощенные.

Не разъехаться в переулках. Да они и не собираются. День Божий. Это Падший с «роллерсом», чтоб при памяти быть, а Тому зачем, да еще и сюда этим днем глядя?

ж а л о б а

Он скользит окуляром в сторону микрорайона и наводит резкость на клумбу перед дальним крыльцом хрущевки, где стоит маленькая, чуть выше длинноногих бархатных роз, горбунья и, запрокинув на горб голову, взмахивает куцыми крыльями рук, жалуясь в нежилые окна второго этажа.

Опять залили ее, и квартира ее бобыльная вся в тазиках и кастрюльках, куда капает день и ночь. И вот, в который раз, уж который год она жалуется в задранные окна квартиры над нею, и в окна квартиры над этой квартирой, где тоже, похоже, никто не живет, а выше она уже и не может поднять лицо.

Лицо мальчика тоненькой влажной кисти Тропинина. Или девушки. Или стареющей женщины, глядящей из лессировочной глубины пруда.

к о л я н и н и п а

Из кустов возвращается младший. Переложив решетку с рыбой на камень, они возводят высокое ровное пламя.

Доразливают водку. Говорят о племяннике, об этой пружинке из табакерки.

Сестра их родила его недоношенным едва ли не на полсрока. От одного из залетных робинзонов. А потом, года три спустя, от другого северянина родила девочку. Колян и Нипа.

Лет до пяти она полоскала их в ледяной воде, натирала снегом, кормила с земли и деревьев, опрашивала волю и навык свободы.

В шесть Колян закурил. Мать, увидев, заставила выкурить пачку — одну за одной, при ней, до рвоты.

Без объяснений.

Нипа в неполных шесть была отдана в школу, где на уроках молча передвигала взглядом предметы. Ручку, к примеру, вокруг ладони учителя.

На физкультуре она подотстала в километровом забеге. Ее одноклассники уносились вперед, мельтеша локтями над ее головой. Ныл рубец во всю спину с маленьким усеченным легким.

Физрук ткнул в нее пальцем перед строем и брезгливо спрусил его, как термометр.

На следующий день она вошла с шахматной доской в гомонящий спортзал и, молча расставив шахматы перед ним, не глядя на доску, а только ему в глаза, в напрягшейся тишине сгрудившихся вокруг них старшекласников поставила мат на девятом ходу.

Затем вынула дневник, раскрыла на вчерашнем размашистом коле по физкультуре и, выдрав страницу, вывела красным фломастером идеальный ноль и, всё так же молча наколов страницу на корону его короля, ушла из школы.

Колян, а точнее Гек — от Геккельбери, как его называли братья, и имя прижилось, — не то чтобы тоже ушел, он попросту не доходил до нее, всякий раз на два-три дня отклоняясь, а потом вроде как снова шел и опять отвлекался — на недельку-другую.

Под нажимом братьев оба они приходили в школу к концу учебного года — сдать экзамен. Не исключали их потому лишь, что мать в своей прошлой жизни сидела с директором в этой же школе за одной партой. Или не потому лишь.

м а т ь

Мать жила отдельно от братьев, внизу поселка, в его бойком прикупе.

В разгар сезона и до глубокой осени она уходила в горы, живя в пещерном городе, в одной из сопен каменных берложек, испещривших скальные обрывы этих мест силы.

Питаясь ягодой и родниковой водой, пока рука не слабела.

Сидя у лужицы жара в пещерном рукавчике. Очищаясь, фильтруясь и просветляясь.

Много их там сидит — погожих и разных. И зимами тоже, когда входы в пещерки похожи на утопленные в скалу горлышки бутылок из-под кефира.

Одна вот полгода там прожила с зародышем в животе и к весне родила. Вчера ее видели здесь с маленьким человеком, ведущим за руку маму.

И когда сестра, почти развоплощенная, очищенная от того связующего нас с жизнью, которое называют грязью, просветленно ослабевшими губами попросила одного из духовных трюглотипов, спускавшихся в долину, сообщить братьям, чтоб забрали ее отсюда, тот вспомнил об этом лишь месяц спустя и уже из Сибири позвонил братьям.

Те нашли ее в остывшей пещерке, сидящей на полу с закрытыми глазами, чипающей этот отполированный каменный пол медленными пальцами, как таблицу Брайля.

п е м в р е м е н е м

Тем временем все заботы на разгарно-сезонный период ложились на Гека и Нитку, остававшихся в поселке. Ни денег, ни запаса еды мать им не оставляла. Квартира также освобождалась — для отдыхающих, которых должен был ловить на пяточке Гек, а присмапривать за квартирой — Нитка. Белье стирали по очереди. Гек сваливал всё в корыто в саду, включал на полную мощность раздолбанную мыльницу магнитофона, похожего на раздавленное насекомое, волочащее за собой внутренности, и, воткнув в волосы чаичьи перья, впрыгивал в корыто и наяривал, меся вздутые облака простыней.

Жил он в гамаке под ореховым деревом, растущим над мусорной свалкой, зажатой между схватившимися за живот от смеха временемками, издали похожими на причудливые оретами. Как, впрочем, и весь поселок.

Вваливался он в гамак ранней ночью в обнимку с биноклем, леп с семи уже профессионально монтируя кадры горящих окон в порно и прочие комиксы.

Нитка жила на прожженном топчанчике, стоящем под козырьком без крыши. Как те пластиковые козырьки с дыркой для головы и застежкой на запялке. В запяжные дожди Гек переметывался под козырек к Нитке. А в краткие грозы раскачивался в гамаке, отбиваясь от молний, ликуя.

В свой карман с отдыхающих брали они десятину. Что хватало вполне на все радости жизни. Тем более, что еда росла на деревьях и в огородах.

К братьям хоть и заскакивали, но не за помощью, наоборот скорей, да и так — потусоваться в марафонном застолье с июля по конец сентября, когда гости из Москвы-Пипера — не гости давно уж, а из года в год настоянные друзья, и Гека с Ниткой знают с рождения — и приезжают, и уезжают, и возвращаются, сменяя друг друга, превращая двор в подвесной феерический сад.

Чаще Гек там вертелся, Нитка реже.

Учиться ей там было нечему, хотя люди вращались там редкого ограна. Но даже с этими говорить было незачем, уже незачем.

Потому что она шла как бы впереди опыта речи, всякий раз обходя ее на поворотах.

Там шла, где земля еще зыбка, как теплая пыль, где воздух свободен еще от дыханья, где всё еще только-только светает.

И это делить было не с кем, хоть и было с кем. То есть не было в той мере, в какой оно было уже упущено ими, знаньем упущено, потому что знать — это и значит ведь упускать.

о г н е в и ц а

А к какому же слою мать относилась? Верхнему? Нижнему? Промежуточному?

Ко всем трем, видимо, и ни к одному из них.

Вот и рвало ее в клочья — как птицу огня — меж тремя стихиями.

Да, огненную птицу, рвущуюся по линиям отрыва — от воды, от земли, от неба.

п а м

— А что, — говорит младший старшему, — верно ведь — не там родина, где родился, а там, где хорошо.

— А хорошо там, — продолжает старший, разливая остаток, — где нас нет, верно ведь?

— Да... — не торопится пить младший, задумавшись. — А есть ли такое место, где нас нет?

— Да... — говорит минут десять спустя старший. — Разве что *там*? — И кивает вверх.

И отпуда, сверху, выходит ангел. Метра полтора росту. И над головой его будто свечные язычки горят. И сам он будто в некоем каркасе ажурном, и будто этот каркас лозой виноградной оплетен в капельных огоньках. То же и крылья. А тело с руками будто бы в глубине парит.

И, приближаясь, он говорит голосом Гека, чуть измененным:

— Гоша, я три купил, как ты просил. Честно. Но две разбил по дороге. Виденье мне было. На радостях, — и, помахая проволочными крыльями, подходит к костру с ангельской неутолимой улыбкой, — жизни, Гоша.

б р а т

Да, собственно, и нет ведь никаких братьев голубоглазых с соломенными макитрами.

Один он сидит у костра и глядит на смеркающийся внизу поселок.

Был брат. И как-то зимой, во сне, он стучался в его дверь: «Пусти, пусти...»

Он проснулся, вскочил и чутьем, как пес, принявись против ветра, понесся на верхнюю дорогу, по ночной заснеженной — пуда, в сторону городка, где топ жил...

И, не добежав еще, услышал за поворотом вой сирены...

А Гека сестра отвезла еще прошлой осенью к «бапюшке» в среднюю полосу, на хуторок в четыре избы. Чудной бапюшка, гуру. Спит в палатке, стоящей на столе, посреди избы. И народ тянется к нему изо всех миров. А он веничком их похлестывает. А сестру так до полусмерти, а потом до утра смехом отшаживал. Полегчало ей, судя по блеску в глазах. Средней полосы блеску.

А Нитку в Тамань отправила — к бабке. Чьей бабке-то, по какой линии? Так и неясно.

А сама в Германию подалась. К почтенному ухажеру. Тому, что посылки слал с едой и бопинками. Герберт. Да не Уэлс.

Год, говорит она, между вдохом и выдохом. Так, говорит, *там* написано — для нас четверых. Ты, говорит, теперь здесь за главного, он же единственный, остаешься. Не худшее, согласишься.

Да, — говорит он, вставая, глядя вниз на поселок, — действительно, ордами, — и покачивает песочной своей улыбкой, уже незримой во тьме.

Н а х а

Средняя полоса, ржавый лесок, золотая излучина в папине, мост — такой длинноногий, что река — по щиколотку ему, а спина — в небе, рядом с маленьким солнцем висит.

К городку указатель на пустынной дороге: г. Т-ла, свернул в сторону леса. Конец сентября.

Она лежит на сосновом мыске, на зашприхованной колкой охрой земле, подстелив под себя мотыльковое полотенце. Лежит на спине, в узких купальных трусиках. Смотрит, шурясь, на далекий пенёчек солнца: двадцать одно курящееся кольцо.

Лучи сквозь подрагивающие ветви перебирают тонким боязливым циркулем ее наготу и, не находя несоответствий, скользят к ее опведенной ладони, совсем детской, с сосновыми шпильками в приоткрытой горсти и, дрожа над ней, будто бы пересчитывают их беззвучно: *нет-нет...*

Она выныривает от толчка поезда, огни за окном плывут. И меж ними лицо ее — собирается в фокус и расплывается. Возникает и исчезает...

Если б не губы, на которые глядя, у них срабатывает это звериное рефлекторное — прижать к забору, юбку задрать и долбить, долбить, как отбойными молотками, гребя лицо заскорузлыми пальцами, жирнеющими от оснований к ногтям, гребя по этим губам и плюща их, отпягивая одну от другой, вгрызаясь всей пятерней внутрь, волки!.. И что им в них? Как кровь, как печка.

Если б не губы, лицо ее можно было назвать по-детски милым. Красивым? Нет. Но в этом дружеском, чуть озорном подмиге меж девочкой в нем и женщиной, в этом скользковатом зазоре (и «скользковатость», видимо, шла от губ), в этом подмигивающем зазоре меж даже не девочкой, а лиловато-лняным, чуть перезрелым светом, с этой влекущей пыльцой, вяжущей взгляд — через губы с чуть смазанным подбородком, к которому рефлекторно тянулась рука — прижать, отводя от себя под собой вместе с губами, с их влажно холодной кривящейся полостью, с этим нежным картофельным носиком в разбегающихся от него веснушках, с этими чуткими васильковыми пропалинами глаз, прогреваемых мартовским солнцем, меж этой не-девочкой и не-женщиной, в этом зазоре с подмигом, положенном на сохраненье, было что-то сводящее с колеи, разводящее зренье, как ноги.

— А сокращенно: Наха, — отвечает она сидящей напротив нее паре — аспеничному парню с острым подвижным лицом и девушке — мягкой открытой большой, похожей на вертикально плывущее рассветное облако, — На-ха, с удареньем на первом, — говорит она, переводя улыбку вскользь от окна к ним.

— Ну тогда меня зовут А-н, а ее — О-на, с ударением на первом, — говорит парень, доставая из рюкзака бутылку водки и охотничий нож. — Я — из Мо-вы, она — из О-сы, на первом. А ты подседа на Т-ле. Из Т-лы?

— О-са... — Она отворачивается к окну, это там, у моря, как между оконных рам, летартичная, сухонькая, в полосатом трико и занозка в попе. — Мгм, — говорит, возвращаясь к ним взглядом, — из Т-лы.

Из Тлы она, из новостроечной ее окраины, и работает в котельной — через две мужицкие смены на третью, за те деньги, которых едва хватило на этот взбалмошный опчаянный билет в Крым в одну сторону.

На столе уже громоздятся огурцы-помидоры-яйца, льется водка. А может, и нет ничего на столе. Ничего нет. Ни души, ни Бога, ни связи между событиями. Лишь последовательность их возникновения и исчезновения. Дхармы, Михалыч ей объяснял. Михалыча смена, потом ее, потом Алика, такая последовательность. И никакой связи. Нет никого, потому что Никого нет. Михалыч говорит: *почти нет*.

Почти меня почти нет. Лежу на верхней полке, которой почти нет, во тьме, которой почти нет, я, черепашка под клетчатым одеялом, которого нет почти.

А внизу нож летает, охотничий. Стоит в воздухе, без руки, ни за кого не держась, поблескивая, приносиваясь. К ним, между ними, между Оной и Аном, запачиваясь о их шепот.

А черепашек ножом выковыривают и высасывают, как устриц. И лежат они голые на спине, с головою накрывшись окостеневшими одеяльцами.

Завтра море увижу, завтрашними глазами, а эти, сегодняшние, останутся здесь и будут ездить на поезде туда-сюда, пока не исчезнут.

И никакой связи. Предлагают мне с ними в Г-уф ехать. К человеку-окну. К небу и морю, распахнутому сквозь него. Г-на зовут его, и улыбка у него — песочная, пересыпается в незаметных губах незримо.

И правда: идет к калитке, лодочка песочная покачивается в губах — маленькая, пустынная под маленькими в небе норками глаз с карими лучистыми зверьками.

Но эти маленькие черты и голос к ним — тихий — не от ущербности его природы, а от ее деликатности что ли. Ведь не разить лицом же, не носить его наперевес.

А тело под ним — рослое ладное размашистое, с полотенцем, туго стянувшим бедра. Шаг, как моих три. И вольный простор льнет к нему, вьется в его движениях.

Сад за его спиной — инжир да орех, инжир да орех — зелень кипучая, генитальная. Мошонки тугие да звонкие ядра.

И в глубине — несерьез рукопашный дом — то ли отмахивающийся от скалы, то ли входящий в нее, по сторонам дубаясь.

И небо — небо за ним внизу — плавкое чешуйчатое божество — падшее.

И над ним — никого. Только складки чаек на разглаженной пустоте.

А нырнешь — и скользишь, скользишь, раздвигая рукой, лицом изумрудное тело ветра...

Еще четверо за столом на веранде. Один полуместный, полузаморский — С-ей, композитор. По сторонам от него — двое: А-ха с желтой сперней волос и в синем комбинезоне и В-ир с призывными выпуклыми глазами и непомерно большими ладонями.

Вир, — протягивает он их обе, перегибаясь к ней через стол в нелепом, но милом порыве — худющий, но жилистый и, почему-то мелькнуло, надежный, звенящий — как корабельные снасти под парус.

И девушка Г-ны — напросвет, как стрекозье крыло, стрижет воздух, обметывая двор в не поспевающих за нею лучах.

Все — к морю!

Вышли из него, века спустя, покачиваясь на хвостах, а берег — в чадре, и море — тьма с белою опорочкой.

Сидим на гальке, прижавшись друг к другу, дрожь переметная. И только Гна перекапывается в прибое, расслаблен, расплетен, как вода в воде, не подымая лица из пены, пяткой белеющей дышит, вскинутою ладонью.

Что это, как называется? Ан в своем городе поутру вышел за угол за молоком и вдруг, как легкое прикосновенье ладони к плечу. Сверху. И он уже на вокзале. А дома жена, ребенок — ждут его из молочной, поглядывают на часы. А он входит в вагон и видит там Ону, которая так же, как он, почувствовала это прикосновенье сверху. И в Тле они видят меня, входящую в их купе, и в это же время в другом городе садятся в вагон другого поезда двое, один из которых шел на работу, второй встретился на пути, стоял на перекрестке, почесывая плечо. А топ, Сей, композитор, в другой стране, вдруг встал посреди концерта и, пригибаясь, пробирался между рядами к выходу, к вылету, к выходу из самолета.

И все они в один час сошлись у калипки на краю земли у моря, у человека-окна, которого знали лишь двое из них — Ан и Сей, но и они не о нем думали, да и думали ли? А вот сходясь, видят друг друга и — снова эта ладонь, но не сверху, а снизу уже, просунутая под пятки — у всех — и приподнимает над, и сводит, как сводят ладони, сплетая пальцы у губ, а лицо — незримо.

Что это? Чье лицо? Как называется?

Ночь. Вдали от моря. Вершина горы, изгвазданная пещерами докалендарных времен. Каменные мешочки зхс с развязанной горловиной над пропастью. Сколько их — двести? триста? — этих гулких глазниц, опоясавших продувную вершину.

Мы стоим на горе, во тьме, розвальни жара постреливают в стороне, догорая.

Гна говорит: если выбрать звезду и какое-то время лишь на нее смотреть, и не просто зреньем, а сознанием его, она начинает подрагивать, раскачиваться, выпрастываясь из паза и выписывая иероглифы — плавно размашистые, отдаваясь от зажмуренной лунки на — кому как повезет, и танцует, и чертит, и пишет...

А я лежу на спине, пытаюсь прочесть, шевеля губами: *м, о, с* оборотная...

Сыро, нельзя, вставай, застудишь, а потом рожать — как? Почти сына, почти дочку. А без этого кто ты? Без тех, кто тебя в песок зарыл лунный, а потом к воде греб лапами?

Без той, кто лежит в Тле, на спине, без движенья, отвернувшись к стене, к коврику, на котором шишкины на бревне; упрю, длаящееся уж который год. Без той почти и почти без тех, кто будут.

Встань, не лежи. Ладонь протянута, и за ней — лицо склоненное, Вир.

Вир, дно баркаса на рыбацкой стоянке, два заржавленных рельса под днищем, бронзовые провололочные кусты, сцепившиеся над баркасом, звезды сквозь них.

Море, сонно лакающее лагуну, смочущее мерцающие сосочки в расщелинах скал, облизывающее с исподу вымостку со спящим на ней рыбаком.

Вир, ладони его, покрывающие меня всю, целиком и повсюду. Ладони, и за ними — повсюду — глаза его, наплывающие удивленно. - С этой — кажется, чудом — нерасплеканной нежностью. В этом цепном сухопутном баркасе, чуть кренящемся набок, с якорем, впившимся в днище у нас в головах.

Плывем, и внутри меня будто рыбы снуют по дну — тяжелые длинные гладкие красные, и одна из них — там, у входа стоип, и вибрирует, долго, как угорь, плывая, собой заполняя и распирая, и тычется в топкое дно, подымая горячую дрожную муть, и, кривясь, замирает и, вдруг оппранув ко входу, врывается, лезет на стены, крича, содрогаясь, ища куда деть себя, будто за ним — кто?

И ладони его держат голову мою на весу, и ресницы (искрицы) сцепились с его слюдяными, и губы друг в друге запнулись, спянулись, не выплесть.

И он все зашептывает меня, как та звезда, танцующая теперь во рту, во мне, на кончике языка его, зашептывает, задувает — всю, целиком, повсюду: руки, перебирающие его влажное горькое тело как свое, зашептывает; ноги, текущие под его ногами, как дно под рекой, задувает...

Он стоип во тьме у лебедки, невидим почти, поправлявая трос, и баркас, поскрипывая, покачиваясь со мною внутри и вздыхая, ложится на воду. Он впрыгивает, и мы опплываем, мы — муж и жена, говорит он, вздергивая веслами нипочное спутанное серебро лунной дорожки.

Дом Гны. Ласточкино гнездо веранды. Накрытый свадебный стол, на столе два стула. На них — Вир и Наха, оба обнажены по пояс и увиты виноградной лозой с гроздьями, а на головах венки из карликовых огородных помидоров.

Бутыль муската. Все за столом, стоя, разногосаят тягучую терпкую мантру, пьют, обрывая виноградины с их одежда.

Море дышит пропаянным накапом внизу. Ходит желтыми ребрами и сметает с них пыль и стеклянную крошку. Вертит небо по кругу с линиям прятком облаков над пустынным просторным коплом в гленивельх разводах с пригоревшим на донце поселком.

Этот гулкий котел, висающий на радуге, чуть покачивается, кренясь к морю, где дужка ее выскальзывает из заушины.

Горько, — кричат, — горь-ка!

И они встают со стульев, вжимаясь друг в друга грудью, давя виноград, стекающий по ногам белыми мутными красными струйками, и он держит ее на весу, обхватив своими бескрайними руками, ее — вместе с хвойным мятущимся морем, ее — вместе с гнущимся зеркалом неба, ее — вместе с радужным веретеном, их обоих свивающим в призрачный кокон.

Поселок пустел на глазах. И, как глаз, обливался холодной прозрачною далью, моргал, промываясь. Моргал и косился на море, рыжая.

Они уходили в горы — все семеро — и днями спустя возвращались к ждавшей их у калитки тихой песочной улыбке Гны. И опять уходили.

Леса мерцали багряным жаром, прошнурованным фиолетом, легкие занавески дымки висели между стволами, не касаясь ни их, ни земли, уже подмерзающей слюдяной поволокой к утру.

Она порывалась уехать. С ним, с Виром. Но как? Как выбраться из этого подвешенного, светящегося изнутри шара, вращающегося на нити, к которой не дотянуться?

И как выпростать, выплести себя из семерых, ставших одним — одним горлом, одним глазом, одной жизнью, хранимой в незримых прозрачных ладонях?

Да, потому что иначе как объяснить эти танцующие прогулки по отвесным скалам в ночном тумане над пропастями, не держась ни за что, без рук? Или этот синюшный — за обе щеки — супец из ядовитых грибов, и — ни с кем ничего. Да, но не в этих ведь междометиях дело, не в этих охранных грамотках на букву *ы*. А в том перехватившем горло чувстве родства, чуда его, охватившего нас с первого мига и не отпускающего вот уже — сколько? И в долготе этой нечеловеческой — невыносимого. Восемь выдохов жизни, вдруг озарившихся в этот единый на всех нескончаемый вдох...

Лха пытался. Отъехал на полрасстоянья и, как на резинке, со свистом вернулся, вопкнувшись в калитку лицом. Ан пытался и Она за ним. Ан вернулся к утру, Она — к ночи.

Гна безмолвно покачивал лодочкой. Листья с деревьев мело. Наступали дожди. На заборах коты, как горшки расписные, сидели.

Деньги кончились, время шло стороной, как туман, оседая в ущелье, жизнь, прежняя, та, догорала, тянуло дымком. Ан еще раз пытался. - И не вернулся.

Туман засочился с гряды и пошел вдруг сплошной стеной, ниагарой, слизнул виноградник на склоне и заволок дом за домом поселок.

Мы с Виром в тот день и не думали уезжать, мы просто отстали от них и потеряли в тумане. А потом — как-то так получилось. Он сказал, я сказала, машина, вдруг вынырнув, пкнулась к ногам.

До вокзала? — спросило лицо из окошка. Кивнули. И по дороге решили, что едем вначале к нему, в его город, там в ЗАГС, чтобы — как у людей, и поедем ко мне.

С проводницей договорились, он вышел за минералкой, я у окна, поезд пронулся, я всё ждала, заскользили столбы, вдруг стемнело.

Они забирали всё круче в горы, оставляя на развилках стрелки из веток. И наутро, когда туман рассеялся, чувство было такое, что Вир с Нахой где-то поблизости, ищут их.

Вернулись через две ночи, подходят к калитке: Гна в глубине сада сидит за столом, а напротив него — Вир.

Говорит, поезд пронулся, он бежал за ним, потом на такси пытался перехватить, но тот не остановился на полустанке, и он шел всю ночь по шоссе, возвращаясь, и под утро зарылся в стог сена перекемарить...

Гна щурится на него, покачивая зыбкой улыбкой, и не поймешь, кто в ней плывет, да и есть ли кто?

Сей берет трубку, звонит.

— Справочное вокзала? Барышня, милая, у меня к Вам... — отходит в глубину сада. Обрывки фраз доносятся: — ...в жизни однажды... из космоса... нет, не уволят... люблю... да, я люблю тебя, Наха... нет, первая — эн... Да, и Вас тоже... Как? Настя? По четным? ...любви.

Подпись: Вир. — Возвращается.

Вир всплывает глазами.

— Что?

Гна прикуривает лодочку в темноте.

— Последний, — говорит Сей, подымая голову в сторону гор, и склоняется над рюкзаком.

Гна провожает их до калитки.

Демерджи, ночь под вершиной, льдом подернутое озерцо в отблесках от гудящих башен огня, валкие крохкие этажи жара.

В стороне — задубелый брезент палатки. В ней Она и Вир, ему нездоровится.

У костра — Сей и Лха — с плавкими лицами и ледяными спинами.

Там, в палатке, ворочается пишина со щекочущим шепотком и щепотками смеха. Замирая, когда у костра эти двое смолкают.

Жар обваливается, обливаясь, чешуйчатый лепестковый. Ему вторит во тьме под брезентом, как отблеск, кривая возня, как чешуйчатый лед лепестковый. И бугрится палатка во тьме, и беззвучно бегут, рот зажав, эти трещинки смеха. Немеет, светает.

Год проходит. Звонок среди ночи, я открываю, глазам не верю, висну на них, а они передают меня один другому на весу, обцеловывая, смеясь, как шальная, висну на них и щекою трусь.

И потом так тепло, так весело, в баре, и пьем, и едим, и танцуем, и говорим, говорим без умолку, а Сей уж куняет, видно, расслабился там, в машине, но смеется еще, вскидывая голову и губы кругля, как факиры, когда огонь выдувают.

И Ан наворачивает, на него глядя. Сквозь стеклышко. Сквозь меня. Как сквозь стеклышко, сквозь меня с обеих сторон глядя.

Сей — в щелочки смотрит подрагивающие, слипающиеся, и держит меня за руку. Левую. А Ан — справа, за правую. Так и лежим на моей раскладной кровати в гостиной. Я — на спине, в середине, они по краям, голые, лицом ко мне, спят.

И мама не спит, лежит в спальне лицом к коврику и водит рукой по нему, поспанывая.

Ан просил разбудить их в семь. Полчаса еще. Пополок надо бы побелить, затек. Вот уедут, и побели. Или Михалыча попросить?

И никакой связи, как он говорит, между верхом и низом, левым и правым, духом и телом, морем и морем...

Господи, переверни черепашку, Господи, если это твоих рук тело, переверни черепашку, рабу Твою, на живот, или жизнь переверни, чтобы по небу лапами не сучить, не сучиться, Господи, если есть у Тебя рука... На-

Она высвобождает руки и, зажмурясь, протягивает их вверх над собой: На-ха.

И беззвучно смеется ужаленным маленьким ртом.

часть вторая

ЛИМБ

с к р я б и н

Дождь со стесанным косо лицом. Мутно белый, седой.

Гребень моря вдали — с колпунами меж зубьев. И склизкий поселок, узловато сползающий к морю.

Окно, в нем мужчина, закутанный в одеяло, прижимает к груди младенца. Тихий сверток со сморщенным светом в лице.

И тень женщины за его спиной, как лоскут прогоревшего пламени.

И за ней — не стена, а бельмо. Три опечных бельма и окно в близоруко двоящийся двор.

Во дворе — парафиновый сад, оплывающий.

Кот, стоящий в саду с поднятой лапой, будто собравшись ее отряхнуть... Неп, перебирает струны дождя, голову отведя, на слух.

Струйноцветный, как из радуги вырванный клоч, Скрябин.

Скрябин, — шепчет он в бороду, прихватывая тихими черепками зубов топкую прокуренную губу.

Дождь плывет по водянке стекла — от двора через море до неба, — как дорога размытая ввысь, со следами ступней и колес, как дорога припухшая, длинногорлая, с комьями имени, вымени, времени, этим зудом и сыпью его — от двора и до неба, этим горлом, которое ввысь разнесло, развезло.

Мышь у плинтуса, подбоченась, на незримых костыликах, дует на руки.

Скрябин, — шепчет мужчина, чуть раскачиваясь под одеялом и покачивая непробудный сверток с жалобной изморосью лица, глядя поверх него вдаль — на вскипающий, как молоко, горизонт моря.

Что? — отзывается она волглым голосом из сумрачной глубины за его спиной.

Отблеск ее расслаивается на смутные очертания — рук, сведенных накрест, влекущихся вверх вместе со свитером, оголяя белое узенькое льняное, текущее с переката плеч, висящее на них во тьме на двух тонких бретельках.

Она садится на высокую грузную кровать с допотопными никелированными поручнями, расшнуровывает ботинки с чуть приоткрытыми ртами, залепленными подсохшей глиной.

Он слышит, как падает со стуком один, а за ним — мягко — другой, видимо, вверх головой, привалившись к первому.

Он слышит бегущую трещинку ее взгляда, скользящего по стене.

Он слышит ее вздох — несуществующий.

Слышит ее зрачки, суженные до лодочек, отнесенных вдаль от берега.

Слышит неслышимый плеск под ними, глядящими в белый плетворный покачивающийся потолок, в этот голый лишайный свет.

Слышит пуховый щекощущий край одеяла, подтянутый до подбородка, и кулачки со щепотками этого края по споронам от лица.

Слышит дрожь ее губ с этим богом незримым в горькой складочке в левом углу.

Слышит дождь за окном и бродящий по дому, слышит струйное голое тело его в рваном нощном разбрызге.

Слышит тело его как ее.

Скрябин поднимает лицо к дождю, жмуря свои влажные малахитовые, как студенистые камешки, обкатанные прибоем. Мокрая голова с прижатými к ней ушами — венозными перламутровыми ракушками. Зажмуренное, чуть ослабившееся лицо тапарина.

Он подрагивает заплывшей радужной головой, смахивая эпоксидный бисер с обмелевшего лба, с псориазной буквицы носа, с оплавленной лески уса, и опускает голову, и скользит, припадая к осколочной темно-зеленой траве, как клочок догорающей осени к приоткрытой калитке.

Спускается по коленчатой улочке вымершего поселка, жмясь к забору от мутно-желтого выщегося потока.

За поворотом — мусорный бак, пес на кромке его с головою, воткнутой внутрь. Лишь дрожащие задние ноги, и меж ними зажапа метелка хвоста.

Он впрыгивает на бак с противоположной его спороны. Пес высовывает голову из скомканной газеты, смотрит.

Скрябин открывает рот с беззвучным выдохом глухоты. Мир для него неслышим. Плывущие цветоформы, фосфоресцирующие, как вода, и оплавленный левосторонний сипечный запах.

Спрыгивает с рыбной хребтовой веткой во рпу. Сидит, глядя на нее, и медленно отводит голову. Море вдали — всё в этих ветках. - И скользят вниз дома — на корточках, прикрываясь ржавыми мятыми крышами.

И из-под крыш выплывают маленькие старухи и у каждой в руке бидон, а другой рукой прижимают к груди коша и плывут по извилистым улочкам вниз к морю. И сплываются к необъятной лохани, покачивающейся на огне под дождем на пустынном берегу у косо метущего пену прибоя. И окружают лохань, пропискиваясь к ней и сливая в нее молоко из бидонов. И вбрасывают в наполненную лохань копов и берутся за руки вокруг огня и плывут семенящим шагом, поклевывая головами, и молоко восходит, вскипая с лепестковыми разинутыми ртами — беззвучно — к небу...

Он опускает голову, горбясь, отжимаясь лапами от земли.

Их двое лежало — она и он — вниз лицом, на полу.

И он — топ, кто смотрел на них.

И из этих троих было ясно — кто есть она. И невнятно — кто он: топ ли, который лежит вниз лицом, будто глиняная заготовка, как нарочно без черт, чтобы не опознать, или это он сам — топ, кто смотрит.

И оба лежат по углам — с этой рваною болью разрыва.

Но с кем? С тем, кто лежит? Или с ним?

Кто лежит?

Нет, не разрыв, она не уходит, она остается с ним, вот что. А он — топ, кто смотрит, он третий, разрез между ними, а там — на полу — зарастающий шов.

Ошибка. Шов перешивается. Он — на полу, а топ на них смотрит.

Топ смотрит, к кому и она в этой ломке развернута в пол глядящим лицом.

Топ, без семени Бога, бесполой, оплывший, бесследный — потому и уходит к нему, как скользящая гирька весов — в немолу, барабанящую по стеклу.

Он потряхивает головой, огибая текучую муть, жмясь к забору.

Видит сквозь щель в нем — сына, спящего на груди бипого кирпича лбом ко лбу с белым, выгнутым так, что бедра его прижаты к голове с беззвучно ползущей трещиной рта и стекленеющими глазами.

Он просовывает в щель лапу и на миг замирает. И оттягивает ее, скребя по прогнившей земле.

Смерклось. Передние лапы идут чуть левее его головы, будто играет, чуть левее себя, прислушиваясь, не слыша — ни их, ни дождя, ни дороги.

К морю выходит, глядит во тьму. Переминается, огненный язычок плет в паху, подрагивая, погас.

Волны накапывают, тряся гривами, плющась, пеной захлебываясь и откатываясь с растресканными глазами.

Уходит, оставив взгляд еще длиться в эту горбатую бегущую тьму.

Поднимается по туго заплетенной улочке, возвращаясь.

Дом догорал, обваливаясь красно-синим випражным огнем, обсыпаясь чешуйчатым жаром. И кривилось окно изнутри набухающим отраженьем. И вдруг лопнуло, вскрикнув беззвучно. Крыша села на землю, прижав его и на нем чуть покачиваясь.

Обернулся: ни дождя, ни души. Поднял голову к небу: оно подсыхало, дымясь зеленкой сквозь прожженные точки, и все отдаваясь, вращаясь и отдаваясь.

б л и ж н я я д а л ь н я я

Она ищет ее в моих снах.

Вот уже которую ночь она входит в них и ищет ее, молча, не обращая внимания ни на меня, ни на происходящее.

Как сомнамбула, ходит и ищет ее, приподнимая край моря, разгребая ногою снег, скользя в оставленную открытой дверь моего жилья.

Ищет, не прикасаясь к вещам, вода по сторонам своими тихими осенними глазами с этим предупреденным дымчатым светом и едва уловимым листовяно-грибным запахом.

Губы помнят его, этот запах и свет, сквозь ее мотыльково подрагивавшее под ними веко.

Ищет ее, а я стою в тени сна, вижу ее, ту, которая ищет, и не понимаю, не спросишь, не докричишься, хоть вот она, рядом, коснулась рукой, не заметив, прошла, как сквозь воздух.

И что их роднит? Имена? Да, одинаковы, с тальым свеченьем в ночи. Ближним светом и дальним.

Ближний — которая ищет. Дальний — которую. Двадцать лет между ними.

Дальняя — семнадцатилетнее длинноногое солнце, то, что с разбега прыгнуло в волны и все спруится — так, что лоджки еще не коснулись воды, а запястья уж на другом берегу выныривают, и между ними — как перехваченное дыханье — всё море. И она смеется — во мне — в огне — в окне — единственном, что остается.

То есть та, дальняя, — ближняя, первая. А эта, ближняя, луннотелая, — дальняя, которая здесь, рядом, с влажным запахом глаз, не глядящих в меня, ее ищет; входит в сон ночь за ночью и ищет.

И как ей найти? Они же не знают друг друга, не видели никогда.

И потом, я подумал, и она в этот миг вдруг из угла оглянулась, вглядываясь в меня, стоящего у окна, против света, нет, глядя сквозь, не видя, я подумал, что та, семнадцатилетняя, теперь, через двадцать лет, ей едва ль не ровесница, и — кого ж она ищет?

Ту — со смехом сольным голубоглазым, или эту — с лицом остывающим вязким, как солнечная смола?

Приближается, нет, не видит меня, открывает окно и выходит; за ней ни меня, ни окна, из которого смотрят.

Кто смотрит? Лишь местность, припихнув, считает шаги. И сколько нас — четверо? Трое? Одна? Скользят по тропе пустые ладошки листовы. Косо скользят, за нею.

Не там она ищет, не там. В Чистеньком надо искать. В Чистеньком, где теперь живет. А росла на высокой скале у моря.

И что за судьба у них, эпих понурых жилых пабунков, не дошедших до моря; стоят, пригнув головы к желобам дорог, помахая безупешными именами: Счастлирое, Радостное, Лучистое...

В Чистеньком, во дворе, подоткнув шерстяную землистую юбку, нагнувшись так, что тусклое золото льется, скрывая лицо, над корытом с распушим недетским уже бельем в ледяной, опжимая его тонкокожими жгучими варежками ладоней.

И груди ее, шепчу, глядя на эту, скользкую по листве, лунную, по багряной, вниз, к морю, груди ее, те, вокруг которых слепящие пчелы солнца вились, едва удерживаясь на весу, теперь покачиваются под свитером, грубым мужским, на голое, покачиваются, как два бедуина, плывущих сквозь годы вниз головой.

Вниз головой, шепчу, покачиваясь, спускаясь к морю, вослед этой, написанной мелом на черном, пока еще мокрым, пока еще сером, полупрозрачном, с багряным шуриющим подолом, шепчу и спускаюсь за нею, скользкой к обрыву над морем, к сидящей вдали на кренящемся камне фигурке, обнявшей колени. Чем ближе подходит, тем дальше она от нее.

А если б дошла, то — к кому? Кто на камне сидит? Длинноногая жизнь с бирюзовым сияньем в глазах или стынущий свет, обхвативший колени, тягучий, с запеченным солнцем лица?

Чем ближе, тем дальше. И что между ними? Лишь я.

Так что ж, сквозь меня она движется, ищет ее? Но зачем?

Она оглянулась и смотрит в меня своей карей дымчатой осенью глаз.

«Ну что ты? Зачем...» — шевелю я губами, она покачивает головой.

Ветер набрасывает на лицо ее волосы, и они застыт его, вверх подергиваясь, как крыло надломленное. Так и стоит, не отводя рукой.

И мне их рукою не отвести.

Заштрихованное лицо, серебристый пропавленный полог, за которым лицо, за которым должно быть лицо, луннотканное, с тонкой отбеленной болью, ее, но неведомо, что с ним творится.

И бессмысленно ждать, когда переменится ветер и откроет лицо.

Не откроет, не переменится. Он идет от меня. Сквозь меня, этот ветер.

И я вижу ее, то есть то, что *не можно* видеть, — ее как тайну, которую не приоткрыть, за которой, кроме которой и нет ничего.

Не покров, — лунатичный отщеп, существующий сам по себе, как пробел в том, что мы принимали за жизнь.

Как пробел? Нет, скорей, как защемленный палец, отбеленный болью до света, до светокруженья.

И не только, не только там, на луне, где перелистывались наши ночи и тело ее парило в невесомости над моими руками, как вспаханная пустопа, но и здесь, на земле, где теплились дни, помнишь, как белизна ее всё уворачивалась от света, да, рыжего, солнечного, который проникал, казалось, повсюду с красновато-хмельными прищуренными глазами и мутящимся на губах воздухом.

Ходила ль она с зонпиком? Нет, но каким-то образом выбывала из светового пространства между деревьями. И всякий раз я договаривал фразу в тени следующего, где она вдруг поднимала ко мне лицо, будто ждала там.

И возникала она в моей жизни всегда в тот момент, когда та запинаясь пробелом.

Или наоборот?

И всегда исчезала, когда свет начинал колоситься. Как меж деревьями. А теперь? Будто нет меня. Что ж его движет?

Он поворачивается спиной к морю, к его стеклодувной близи и ртутью залитой дали, и речь его, подрагивая, отступает, как та плавкая пена, еще дрящаяся во взгляде, кружево разуплощенное. Здесь.

А там — жметя дворянским облезлым боком к скальному мысу, дышит мокрым своим колопьем.

Каша, говорит он, псина, стекло, ртуть, кружево... Горы ползут, как каша. Море псиной разит. Перловой ползут, предзимней.

Вот и она, дальняя, то есть ближняя, лунносветная, бредет во сне, как конец сезона.

Когда воздух стоит огромен и тих, и глядит сквозь пустой глаз.

Когда крыши деревьев, ржавея, сыпятся внутрь. Когда пьянет грибным дымком. Когда время с пространством проходят друг друга сквозь, не узнавая.

Когда свет на хвосте скользит, удаляясь спиной вперед, и улыбкой двоясь дельфиньей.

а н н а *

Пусть они все отойдут. Один за другим, не насытив ни глаз, ни ухо.

Рассказа не будет. Ни действия, ни сюжета.

Немного осталось их, сомкни губы, я помогу тебе провести черту твоих тонких, не обращенных к ним губ, и поджать ее в уголках. Речи не будет — ни косвенной, ни прямой.

А кто ты без речи, без твоей — до лунапичности нипочной, точной? Нет. Осторожной? Нет. Идущей по проволоке, но без проволоки, без свидетелей — речи? Никто.

Даже я без нее едва не переяю тебя из виду. Без нее и без прощыв твоих умолчаний.

Опять же — не прощыв, не между, а в стороне. И так, что не скажешь в какой. Потому что повсюду она. И откуда доносится голос. Из той дали (той выси? той низи?), где, кажется, нечем и некому жить. Из тех далей доносятся — как брызги с несуществующих гребней — эти шепотки речи.

И эти, с внимательным ртом, пусть отойдут, не будет.

Помнишь, две черные тени, лепящие по волнам со скоростью света, а птицы в небе, но видишь не птиц, а их отраженья, их панец беззвучный, на скорости света, схлестывания на разрыв.

Не внизу отражение — вверх.

И не вверх. Веретено створон.

Но и тишь такая, что слышно каждый волос воды.

И речь не то чтобы совпадает с миром, временем ли, пространством меж нами, но как-то схватывается на скорости, входя в эту мнимую неподвижность, когда, сама себя удерживая на весу, не просыпается, то есть не сыпется на дорогу, не настаивает на своем имени, не застит свет, потому что сама становится светом, возвращая себе свою волновую природу, и уже не касается губ, развоплощая их с тем безумием чуткости, которое нас уводило всё дальше от того, что они называют общением, нет, не то чтобы выше — в разреженные слои, — а с каким-то коленчатым сдвигом вниманья — так, что всякий раз ты пробрасываешь себя дугой, как ладончатый камешек по кривой воде, прежде чем, в рот набрав этих прытких проблесков-вдохов, косо скользнуть во тьму.

Так, как могли бы общаться люди.

Могли бы, если б не кол внутри, вокруг которого наматываются круги, если б не эта веревка речи.

Да и общего — что? Даже не меж двумя. Общего что с собой?

Пусть и эти уйдут, последние, тонкачи, ювелиры клева, на зрачок ловцы.

Помолчи, отвернись, пусть попопчутся и — уйдут. Чтоб остались вдвоем. Со стеклом между нами. Воздушным, пугим, эпим. И на нем — отражения наши: мое — без меня, и пвое — по спорону, но прорступая по эту.

Он стоипт у окна; ни моря, ни гор — всё заволочено вылинявшей пеленой. Дождь моросипт — подслеповатый, беленький, керосиновый. И ни души за окном.

Даже пса, который стоял претпьего дня под рябиной, дымясь как обугленная скамья, неп. Догорел.

Неделя уже. Неделя, как она здесь.

Он позвал ее, как всегда неожиданно, сняв прубку и чуть разомкнув губы, почти без слов, поверх их позвал ее.

И она, выходя из ванной, с полотенцем на голове, прижимая прубку к уху, другой рукой уже складывала вещи в маленький рюкзачок. И он, прикрывая глаза, видел по ту спорону земли, как она это делала. Как никто, как почти никто.

С той световой скоростью, когда кажется, что мир замер, что движения в нем не существуют. И больше того: с опереженьем времени, будто оно течет вспять.

Так легки ее жесты, так кратки, точны. И — без мышцы рассудка, как в полусне.

И, вглядываясь сквозь прикрытые веки в эпот зыбкий реликт, он подумал о времени, о том, что, похоже, оно возникает от пренья, от шарканья, мусора нерадивых движений, от сора в зазорах, от нечистот.

А она движется на той частоте — звуковой, световой, — чистоте, где мир, припадая к себе, вслушиваясь в себя, почти совпадает с собой. То есть дышит.

О чем идет речь? О перегаре объятий — лобых, о высвобожденьи, о тектонике чувств, об их такте тактильном, о сенсорной акустике, о даре вниманья к перемещеньям незримого, о прозрачности, гибкости очертаний — начиная с себя?

Не настаивать на своей жизни, не греметь кастрюлей ее поперек земли.

А еще? Об ангелах-навигаторах? О сколько ж их у нее — повсюду! В подушечках пальцев плывущей, как утренний воздух, ладони. Ладони — не легче его, но и не тяжелей.

В лямку продела, набросила рюкзачок и наутро была уже здесь.

Была. В дверь позвонила. И — как? — когда тоньше, чем тонко. Не рвется, а — что? Не дается? Как волос, сечется? Вздохнула, взглянула, еще у окна попопчались и разошлись.

Кажется, будто лишь двое нас в этом поселке тумана, рукопашно сползающем к морю.

Я — у окна, и она — между мною и морем, в доме, вмятом по подбородок в туманом изъеденный сад.

В доме, где неп ни тепла, ни воды, ни души.

Сидип в темноте со свечой, догорающей на полу. Одна, в пишине, в темно-синем пальпишке с надвинутым на глаза капюшоном, и искоса глядя на тень своего в капюшоне лица на стене.

Лица ни мужчины, ни женщины. Моцарта, пережившего смерть.

Бродя в первые дни у моря в тумане, я еще надеялся встретипть ее. Или к ней зайти? Душа мудрила. Испытывала на тонкость. Подсасывала, прижав лапой, сладковатую кость обиды, невысасываемую.

А потом, я думал, она уехала. Не сидип же в доме, одна, вмертвую, в самом деле. Или у моря погоды.

Знаешь, — говорит, глядя ему в глаза, но при этом голова ее опведена чуть в сторону от него, в сторону мокрых красок, лепящих в окне у него за спиной, — знаешь... — и замолкает.

Но он слышит ее, потом, в другом окне, другим днем.

Сон, — говорит, — такой. — Не говорит, стоит за его спиной, и он видит сквозь ладони ее на его глазах, сквозь щели меж пальцами: горы в тумане, дорога, виноградники в голубоватой плывущей паутине дымки, лай сторожевой собаки — там, оттуда, где он рвет для них грозди, а она ждет его на дороге, ввысь глядя, на незримую перед нею в тумане опвесную громаду горы с рыжим рваным подолом.

Пенье, какое-то посвистывающее пенье оттуда доносится и стихает, воркуя, и снова — теперь уже гул горловой, набухающий в белом клубящемся зобе, мокротный. И тишь.

И вдруг — будто ппичами брызнуло из пелены — раздуваясь и близясь летят ей в лицо валуны.

Она слышит, как он кричит без голоса, машет оттуда, из виноградника, рукой, а другой прижимает к груди грозди, давит их, черно-красные: «Беги, беги!» — кричит ей, и они текут по его животу, ноге.

Слышит, но не может к нему повернуть голову, потому что тогда эти камни лепящие ее убьют.

А если не повернет — его потеряет.

И вот она смотрит в упор, встречая лицом их, лепящих в лицо, и они — в последний момент — отклоняются, обдавая лицо ее хлесткой воздушной волной.

Она хочет к нему повернуться лицом, к нему, а не к ним, и не может, и думает: вот, между этим и тем, вот сейчас, я успею вернуться и встретить их взглядом...

И вдруг она замечает, что эти ппичкамни за миг до того, как влететь ей в лицо, как бы когтям, в воздухе зависая, хитят ее черты, то есть лицо ее в них просупает и, отшатнувшись, уносится за спину.

Значит, не сон, — она думает, — потому что во сне лица своего ты не видишь. Значит, не сон, значит могу повернуть к нему голову, да, такая вот странная связь... — и молчит, глядя в слепое окно, заметаемое листвой.

И что ж, говорю, повернула?

Что? — вздрагивает, издали оборачиваясь ко мне.

Лицо. Оно не одно у нее в одном. И то, очевидное, обращенное к карандашу, твердому, остро започенному, казалось, скорее отпалкивало, чем привлекало.

Тонкие бесцветные губы, маленькие серо-голубые глаза, высокий объемный лоб, светло-землистые волосы — жиденских безотрадных земель, до плеча. Жиденских, безотрадных, под северным небом.

Крупная нежная голова. Болезненно крупная, с глубокой акуспикой.

Краснодеревщики, почему-то казалось, маленькие сосредоточенные краснодеревщики с карандашом за ухом поднимаются там по бесконечным лестницам на высокие леса, так казалось.

И еще — светлый сумрак, струющийся сверху, и сладковатый дурманящий запах реликтовых пород простора и чистоты.

Хрупкий горчащий свет. И эта тихая несуетная голова чуть опущена, прикрывая неприметную шею, будто ее и нет.

А ниже — что? Тело? Видимо, тело. Видимость, без примет. Легкие плавнички ладоней. И ступней.

То есть в образе ее было всё, или почти всё, чтоб, вздохнув, обойти ее стороной.

Неп, не в образе, в том-то и дело, а в чертах, в очевидных ее, карандашных чертах.

А образ был — даже не сквозь них, и не поверх, а вне этих черт.

И даже не образ, а — как бы песнящее ее на обочину, не принимающее в расчет ее силы или желанья, — ее самоё, какое-то трудное преломление ее существа.

Свечение. Болезненно трудное, скрытое и неприкрытое одновременно.

Свечение раны.

И будто она — эта рана, но одновременно и та, которая терпит ее.

И этот тяжелый, как камень пекучий, и скреп, и разъем между ними.

И еще: демон — лицо ее на простыне во тьме.

Демон, в котором беззвучно дребезжит эта вольфрамовая нить, вот-вот оборвется, смеркнет.

И еще — с этой капюшонной пенью на стене: сторбленная кармелитка в келии, покачивающейся меж двух миров: там-здесь, там-здесь.

Маятник тени. Останавливается на стене. А самой ее неп в комнате.

Два сквозняка, зарастая, тянутся опустевшими рукавами к двум мирам.

А что она (или он) из себя представляет? Расхожий такой вопрос. Без мысли о разнице меж тем, кто он/она есть, кем являются и что представляют.

И ведь именно так: даже не какое *вызывают* представление, а что *представляют*.

И это особенно остро в ее случае ощутимо. Ее, этой офельной обочинки жизни, готовой отойти и еще дальше, только б не обременить собой. Уже отошедшую.

И всякий раз с побуждением, опережающим обстоятельства.

И в то же время, льнущую к этому *иномиру* беззащитным лицом и легким своим, осторожным плавничком ладони, мол, я такая же, как и он, как они, я *хочу чувствовать, что это так, что я там, с ними, что я могу — могла бы — быть, жить...*

Я помню, как здесь же, в этом поселке, мы были в гостях у местного калиостро, стол ломился, уточка-мама в кухне чистила корзины грибов, накошенных нами на перевале, и вносила сковороду за сковородой, под водочку, под тысячу и одну уже наступившую ночь, хопя, когда я шел к себе, покачиваясь в узких, вывернутых из суставов переулках, еще не смерклось, еще слезился мутноватый воздух, покачиваясь над скользкими, как у маслят, пленочками прорастающих крыш с налипшей на них ветшью.

И мне казалось, что мы идем вдвоем, и я держу ее за руку, и мы продолжаем с ней говорить, и когда мы вошли в дом, продолжаем, и когда, покачнувшись, выпянувшись на кровати, лицом в потолок, продолжаем, и только за миг до того как забылся, вдруг понял, что неп ее рядом.

И очнулся (когда? среди ночи? или тут же, еще не уснув?), и во тьме сел в изножье кровати и звонил в ту грибную избу, пытаюсь выяснить, где она, куда, когда. И долго так говорил, путаясь, голова клонила, и постепенно до меня начало доходить, что я уже давно гляжу на маленькие белеющие из-под одеяла пятки, прижавшиеся к моей ноге.

И всё еще продолжая разговор, осторожно скользил взглядом пуда, в верховье, где в лунном свете сквозь щель незадернутой занавески лежало ее лицо, лицо старухи, той, во хлеву, из Вия, и одновременно — панночки.

Пол-лица — на свету — панночки, а другая — в тени — яги. И зыбкая склейка по приоткрытым, как бы надорванным в улылке губам.

Счастье мое, — говорит она, — как горошина в трехлитровой банке перекапывается.

Кому говорит? Куда? И печенце выживает из хрустящей пачки и, надкусывая, замирает, глядя в окно, поверх меня, и такая обида горячая, безопытная в ее лице, такая опчаянная неприкрытость — всего и во все края, всего, с чем ей не сладить, и не отнять, не унять, не утешить, и ест со слезами, не замечая их, и проглотить не может.

Слишком долго ее несло от берега. А ей всё кажется — вот он, ведь доносятся ж голоса. Слишком долго, как и его, с детства. Только разница в том, что его несло по волнам, искрящимся солнцем, а ее — по безлунным рвам.

И этот ребенок в ней, брошенный, пишет ему на клочке оберточном: «Я хочу быть твоей женой я хочу быть твоей женой хочу быть твоей я хочу быть быть», вприпрыжку к краю, и больше нет на этом бумажном обрывке места.

И самой ее нет, только эта записка с распахнутыми глазами букв елозится по столу от сквозняка — туда, сюда, и скользит к краю, и ночь уже, а ее всё нет, и бог весть когда вернется, в какой жизни.

К тому времени, когда мы встретились, ей было 25, она заканчивала Художественный институт и уже двенадцатый год посещала школу йоги. В школе было три уровня, она составляла четвертый, в единственном числе. Учитель проводил зимы в Индии, ведя там параллельную школу и сам приращиваясь. Ей он давно уже сказал, что ему учить ее нечему, у нее бы учиться — да некому.

Она занималась в дальнем углу зала, одна, у маленького полуокна. Там одна, и за маленьким полуокном — тоже.

Приходила она после занятий вся в стекле, возвращаясь в себя лишь на следующий день, после ночи. Души не было. То есть была, но сжавшаяся до узенького зрачка, до точки, стоявшей далеко-высоко за нею, в другом небе.

И когда я обнимал это плавное плавающее по воздуху стекло и вглядывался поверх плеча ее в ту точку за нею, приближая, втягивая ее взглядом, она, эта точка, расширялась до черной проруби с крохким контуром, и — не ближе.

Ночь стояла в проеме меж ними, и я в ней — меж ними двумя, будто разрубленными и сраставшимися по-живому.

Вдруг подумал, что жизнь, как плющ душила ее; плющ выющийся нежно, цветущий, всё туже, всё глубже въедавшийся в тело.

А она — что? — как вериги его носила? Мысленно пальцем вела по его арабеске? Чипала спиной — как приговор?

Анна — в пору бы ей это имя. Анна-малия.

Несравненной была она красоты. Несравненной, если слову вернуть его смысл, — то есть вне сравнений. Но тогда уж и красотой это не назовешь.

Так откуда же чувство чуда? Чуда незримого и вместе с тем явленного с такой очевидностью, что та, внешняя, карандашная, веревочная очевидность, дрогнув, спадает к ногам, обмякая. И она вышагивает из нее, голая, та, кто есть, та, которую вижу.

Туман зализывает стекло. Он приоткрывает окно, топ просовывает свою зыбкую белесую голову, озираясь вслепую, и осторожно втягивает ее обратно.

Телефон на полу, в углу. И у нее — в углу, в полутьме, белый.

У Шекспира, если прикрыть рукой следующую реплику, гадая, всегда ошибаешься, выныривая лицом в песок. А с ней когда говоришь, то это и разговором не назовешь, а как долгий перелет за море, а слова — это то, где на воду садишься, но не телом, а тенью его, продолжая лететь.

Нет, не то.

Но всякий раз она пропускает такой многослойный ветвистый период — в речи, в жизни, оказываясь уже там, через тьму поворотов, развилок, окликая тебя — чем? — полусловом, едва ль не своим отсутствием, и ты, пройдя, прожив, проговорив за себя, за нее, весь этот путь, непредсказуемый, непроглядный, казалось, вдругходишь в ту местность, откуда она ответила, чувствуешь ее присутствие, уже незримое, видишь еще подрагивающую ветку.

И отвечаешь, и она слышит тебя — там, оттуда, за тридевять чутких земель.

Вот что в ней меня восхищало: дух был восхищен — не восхищён, а восхищен.

Рядом с ней мир людского пошиба коробил. Коробил серийностью. Жестов, взглядов, кумиров, красавиц. Коробил словесной возней, спадным смыслом, борьбой за свое выживание, за выживание из жизни *не своего*. Слава богу, что только *доступного* не своего.

Нет, не ангелом была она. Далеко не ангелом. Такое в ней колотье было между верхом и низом, между верхней глазницей ее и нижней, не приведи боже.

Как рвалась она по всем швам ветра, как чувства рвали ее, как волки, во все стороны разнося, как хрустели в их пасти, визжа, эти мокрые комья огня.

Рвали ее, до хребта выгрызая, а она шла в тишине, поверх себя и ничего не могла в этой жизни, и йога ее ничего не могла, но и они ничего не могли, там, внизу, запрокинувши головы, воя запекшейся пастью, дрожа, поддувая в кривой уголек, округленный губами.

А сейчас что она делает? Сидит в сумрачном склепе остывшего дома, на руки дышит? Нет, не дышит она на руки и в окно не глядит. Как в могиле. Я — чуть дальше от моря, стоя, она — сидя, чуть ближе. И туман меж могилами, как белье висит.

Всё как-то легче прежде, нога кочевней, а потом втягиваешься — в людей, в огни, в землю.

И куда от костра отходить — зябко, да и что там, во тьме? И так всё оседлей, всё оседаешь, пока не оседешь совсем, с вязкой глиной во рту.

И, наверно, уже никуда к тому часу и не захочется переходить. Оттуда.

Так, наверно, и с миром — с возрастом оседает. В этом куцем привычном зазоре: день-ночь, желтый-зеленый, тепло-горячо-холодно.

Он спускается к морю, проходит мимо ее дома, обглоданного туманом, лежащего на боку с припавшими к земле окнами. Мокрые голые деревья в саду опутаны белыми нитями, как на пальцах передавая их друг другу.

Ему кажется, он видит ее — вдали, на пустынной набережной; туман то открывает ее, отползая от моря, то вновь заволакивает. Ни берега нет, ни поселка, ни гор, всё в тумане. Есть только море и чистое ярко-синее мокрое небо над ним. И этот бензиновый радужный дождь семенил по скользкой вишневатой кромке меж тем, что есть, и тем, чего нет.

Он уже там, где — ему показалось — она стояла. Нет, показалось. Чайки кружат над головой, а одна спойл, нагнув голову, и перед нею что-то потрескивает, скрипит, как электрический провод, выпростанный из земли.

Он подходит поближе, чайка сидит разинутым клювом, но не ему, а этому проводку в скомканном пергаменте крыльев, искрящемуся синим дребезжащим светом.

Летучая мышь, ребенок, пыльный клочок с запрокинутой головой и искрящим разинутым ртом.

Вот так и она, он подумал, глядя на чайку, плюкающую эпок клочок и отводящую голову вбок с приоткрытым клювом и холодным глазом, вот так и она, ребенок, сорвавшийся с неба вниз головой.

Он садится на гальку, обняв колени, глядя на пустынное серебристо-чешуйчатое море, мысленно ведя по нему дорожку вон к тем скалам — мертворожденным правнучкам Сциллы с Харибдой, куда они плыли на лодке в мае какого-то года, и берег был таким же безжизненным, как и теперь, и море таким же пустынным.

Разве что правнучки в море тогда шевелились, почнее, лепестково бумажные сарафаны на них из гнездящихся чаек.

Мы вошли уже в сумрачный створ между ними, голыми, споящими со вздернутыми над головой сарафанами. И я вдруг увидел на маслянистой воде пленца, гребущего к расщелине в скале, и низко кружащую над ним — мать, почему-то решил я, а может отец, или любая из них, но тогда почему именно эта срывалась с круга и с налета долбила, выдалбливала его изнутри, как челнок, рвала с мясом?

И снова взлетала, кружа, а над нею кружил весь этот птичий амфитеатр с опущенными головами, глядя, а по споронам спояли голые, ослепленные солнцем скалы со взметенными над головой белыми сарафанами, препешущими на ветру во взвинченной высь синеве.

И она вновь срывалась с круга и уже с головою вонзаясь в этот уже чехольчик, еще гребущий с протянутой по воде головой, расшнуровывала его живот, грудь, поропливо сглапывая выныривающим из него клювом, и снова взлетала.

И возвращалась, а он, выскобленный изнутри до перьев, бескровный, чистый, всё еще греб, перебирая лапами в метре от камня и все никак не приближаясь к нему.

Мы, всё никак не приближаясь к нему, гребли. Сердцем, припавшим к глазам, гребли, не сходя с места.

Потому что — кто мы ему, этому миру, с нашим уставом? Кто мы ему, спорорящемуся нас отведенной головой с этим холодным чаечным глазом?

И я отвел взгляд вслед за твоим, скользящим к берегу, туда, где на скальном мысе, замыкавшем бухту, ютился отбеленный домик с одиноко парящей над ним чайкой. Домик Чехова.

Он подтянул к берегу эту мысленную дорожку в море к давно опустевшим скалам, и она, перекрученная, легла в воду у измочаленной кромки.

Возвращаясь вдоль моря, он еще постоял, дивясь, у лунатично зацветшей яблони. Вдруг зацветшей на пороге зимы посреди давно уже облетевших деревьев.

Не такой уж и куцый зазор, улыбнулся он, глядя ее невестящуюся ветку в бусинах влаги. Не такой уж и взрослый, шепчет он, этот мир, не такой уж оседлый, если с ним происходят еще эти оплочки ума, эти райские самоволочки. Самурайские. Как та вон березка в прозрачной сорочке, едва не вбежавшая в море, дрожит, прикрывая руками лицо... Откуда? Из-под какого венца?

Или это лишь здесь — там, где время стоит во хмелю, как он однажды сказал ей, и она повторяла безмолвно губами через пламя свечи, догоравшей меж ними, повторяла за ним, хотя он молчал, — здесь, в кривоногом поселке о трех головах, — и, казалось, свеча кивала каждой из них — обольщению, вине и забвению.

И вдруг погасла. И свет зажегся в поселке, на левой его стороне, и отключился тут же. И вспыхнул на правой, там, где и их дом стоял. Зимний режим экономии. Левая сторона лица, потом правая. С интервалом в час. Потом обе во тьме.

А дом, где она сейчас, где-то посередине, в межбровье, как третий глаз, и что ему свет, вроде как и не надо, в себя смотрит.

Смаргивает ее — там, в углу, у погасшей свечи, и сморгнуть не может.

Разнузданность — вот ее слово, которое она говорила ему, хопя и с улыбкой, но с ножевой.

Обида стояла за эгим и ревность. Ревность к тому, что ему так легко давалась эта безоглядная вовлеченность в мир, эта рукопашная радость движенья вперед, это облапывание с порога всего, перед чем он прижмуривал глаз: *хочу*.

И это *хочу*; вколачиваемое им в жизнь с тем же прищуром: *могу*, значит.

Не так. Конечно, не так. Если бы так было — ревности б не было, встречи бы не было, не было б и обиды.

Она ведь тоже под ноги себе не глядит, но не здесь ведь, а там, у себя, выше. А здесь — каждый шаг ей с таким трудом, с такой болью дается, как по иглам идет, по длинным иглам, прокалывающим ее насквозь.

Оттого и идет она так, как никто не ходит. Женщины, из тех, в ком еще не вымерло это хребтовое в *иденье*, замирали, вглядываясь в то, как она движется, в этот почти неподвижный панец, почти незримый, но впягивающий в себя, как — что? — как свет, струющийся вспять? — как звездное небо над покачивающимся кораблем? — как огни на дне пропасти, если спатъ на край?

Воплощенье ее прошибало, как пот.

Даже не шаг к воплощенью, а только лишь мысль о нем. И попробуй пойми, в чем тут дело, где ключ.

Целомудрие. Да, но не то, о котором мы говорим: *целомудрие*. Потому что иначе как быть с нею — той, нижней, или как ее ни назови, — той, которую она размазывала по безлунным улицам, той, которую под мужчин швыряла, как под колеса, той, которая потом выкапывала себя по ледящим пустырям молчанья, как снежный ком?

То, что *там* — целомудрие, то *здесь* — ком. Кома.

И эти приступы ее неуверенности в себе. В себе — которой?

Той — здесь, там — здешней.

Она ведь до встречи со мной и «привет» не могла выговорить, входя. В любой из домов входя. Почему? Что ж здесь трудного? В голове не укладывалось.

А ведь сказать — это значит войти. В дом, в жизнь, то есть ее, жизни, руку пожать.

И видя как, с какой легкостью снуют эти руки, мои в том числе, она обмирала.

Или когда я протягивал ей в руке деньги — вот, возьми, не мои это деньги, наши... Пятилась, и я чувствовал, как обмирала внутри.

Гордость, думал, оставлял на столе, не брала. Недоверие? Стыд? А когда я едва ли не вталкивал ее в магазин — может то, или это? Что хочешь, скажи. Ну хоть пкинь хоть во что-нибудь пальцем! Что, печенце? Недели шли, месяцы. Дикость какая.

Для Боженьки я чищу зубы, для Боженьки, — говорит.

А потом, под одеялом, уткнувшись мне в шею, прошепчет: «Ты дал мне жизнь, ты... припускал меня в нее... нет, не с головой я там, все еще около, тебя около... есть в этом какое-то поскливое безумие... будто ты жил, жил, по-разному внимательно, и вдруг умер... ты ведь и говоришь так, как я живу, — всё вместе и всё разное, и это *всё* — как чувство непрерывного оргазма, ниспадающего к любви, к ее умирающей плоти, к тоске после, к одуряющему небытию, из которого вновь начинается это *всё*..»

И еще, — она шепчет уже куда-то между мной и собой, — спасибо тебе за это счастье с листьями, летящими за твоим окном, за твою искренность, разнузданную, которой меня ограничивал... и, тем самым, за это чувство... — и совсем еле слышно, в подушку: — «...любви».

Кожа у нее — девственная, без единого пятнышка, ни шрамов, ни родинок, ни следа человеческой жизни. Будто необитаема. Смугловатая. Лекально тягучая. Грудь — приподнята, с сочными, как бы распаренными вершинами. Круглые бедра плавно стекают к маленьким легким ступням. Движенья бесшумны.

Эрос ее обладал каким-то странным свойством, окрашивая ее, как погода окрашивает местность, саму по себе нейтральную.

Могла быть серой, невзрачной, сновидческой, слюдяной, зимнесолнечной, не отбрасывающей тени, или не быть совсем.

Но уж если она входила в ту погоду, которая разворачивала ее животом к миру...

Нет, ее прямопа, как слепящий свет в лицо, была не грубостью, не неуменьем соблюдать приличия, не нетерпением, не отчаянием, не бунтом против женщины в себе, не — чем там еще? Не сокращением дистанции со всей ее драматургической бижутерией, а полным ее игнорированием, взглядом поверх нее: вот — небо, земля, хлеб, плоть, уд твой в моей ладони.

Это обескураживало наотмашь, жгло, отбрасывало от, но и с такой же силой влекло. Вот так, с места, прыжок в космос, всего лишь — вот что тебе предложено.

А ей и прыжок не нужен, она уже там. Легким, как бы небрежным движеньем переместилась и ждет.

Всё перевернуто с ног на голову. И идет по небу.

Там идет, где начало. С существительных начиная и первых глаголов, как и было вначале. А все эти пищичьи топтанья и горловые ругады — потом, если будет нужда в примечаньях.

И все это — вдруг, с разворота, под дых.

Что остается мужчине — почти ничего из того, что, казалось ему, отличает его как мужчину. И больше, тем самым, чем всё.

Это было в одну из первых наших встреч, мы забрели в разговоре куда-то очень далеко от нас, так далеко, что, вдруг оглянувшись, увидели себя едва различимых там, внизу, на заснеженной остановке, у подъехавшего автобуса. Она взошла на подножку, дверь закрылась, я уже поднял руку помахать ей вслед, она прильнула лицом к щели и тихо сказала: «Трахнул бы ты меня, может и легче стало б. Обоим». Автобус тронулся, я так и остался с поднятой рукой под раскачивающимся фонарем.

Близость с ней была невозможна. То есть дольше секунд невозможна. Содрогаясь, он изливался прежде еще, чем войти.

Войти, вспять распушим, обмякшим, пустым, тычась в ее плечо разоренным горлом.

И помнишь, сколько их, этих ночей, дней, кроватей, ковров, трав, крыш, вод, где мы отпоевывали по крохам — себя друг в друге.

И что мой опыт, что йога твоя — они стояли, глядя на нас из углов, не понимая, не веря этому одному, мокрому, как узлу, который не развязать зубами, сроемся с собой, сиаемскому, одному, стареющему на полу — духу, вздрагивающему подвернутыми руками.

Это не близость, нет. А что? Лента Мебиуса, где одна сторона — я, а она — другая, то есть та же, вывернутая, то есть я?

Не помню. Я не помню лица ее, я не мог его видеть, на мое оно было надето.

Рук не помню, она вдела свои в мои.

Чей был голос меж нами? Кто дул этот пепельный голос меж нами без губ?

Как назвать это — ритм? — то, чему следовал за тобой? Ритм? — топ, который ни головой не высчитывать, ни животом, ни сердцем.

Ритм пляшущих языков пламени, и я следовал за тобой, ритм речных перекапов, я следовал, ритм растущего дерева, следовал, а потом уже и не скажешь, что *за тобой* или *я*, потому что уже не было ни меня, ни тебя, ни ритма, ни времени. И вот там-то, оплуда и начиналось всё, то *всё*, о котором ты, уже на другом берегу, мне шептала в шею.

Ритм снегом покрытой земли, ритм восходящего света, ритм смерти цветка, этот внутренний, неочевидный, тобой оставляемый след.

На чем же это держалось всё? На ходунке слепом, схваченном дрожной нежью — там, во чреве твоём, в жиденьком инфракрасном свете?

Так огонь добывали, да? — пока воды росли, становясь небом.

Одно не держится, не на чем одному держаться.

Мы ведь с тобой — одно, и ходунки о дно в слепоте головой бился.

Туман полз в окно, заволакивая его, стоящего с телефонной трубкой. Шли гудки. Журавлиные. Не подходила.

Он видел ее — там, неподвижно сидящую посреди пустой комнаты, и на стене раскачивалась ее тень с надвинутым на глаза капюшоном.

Он подходил к двери, прислушивается. Тишь. Открывает. Она стоит на пороге, рюкзачок на плече. Поднимает лицо к нему, смотрит, молча.

Ладонь — чуть в стороне от нее, на весу — расплетается пальцами и сжимается, расплетается и сжимается, и губы. Беззвучно.

И снова ладонь — с указательным вниз, поклевывая. Будто хочет сказать. *Здесь. И уже не может.*

Здесь, рядом. И не скажет уже.

Здесь. На спине. Посреди дороги. С теплой еще в тумане пикающей головой.

*

1

Левый глаз у него постился, правый в недоуменьи
косил на левый.

Расстоянье между ее коленями

было — как меж звездой и хлевом.

Она обипала ни под, ни над, ни вполуха

к тому, что между.

Он — пояс верности на тиране.

Она ресницами шевелила во сне, как муха

лапы передние потирает.

Он — в глаза никогда, как глухонемой — в губы.

Она — чуть в сторону от него, с поправкой
на ветер как бы.
Сукуб с сукубом,
жизнь покуривала их как травку.
Они читали
(она, пробежав страницу
взглядом по вертикали — смычком по струнам,
щурила близоруко улыбку свою — к костру и
обратно)
о местном чуде в три лошадиных птицы.
Он — по губам и ниже, к ее плавням
(как сквозь крыло спрекозье
долго смотреть на пламя,
из лета в осень
переходящее)...

Память, дитя-анатом,
зеркальце запуманивало:
она там —
на спине, подогнув ноги и ртом алая,
снизу вверх на нем стоящая на коленях.

2

Если б не шла она, как лунатик, по краю себя, по краю...

И потом — эта ее чистоплотность во всём, начиная с речи:
будто кошка лапой задевши лужу, прислушивается замирая
вполоборота и, передергивая предплечье,
лапы отряхивает попеременно;
так и она — к слову.
«Для Боженьки чистить зубь», — зеркалу говорит.
Куда же,
думает он, ей падать? В небе ль стелить солому?
В сердце ли?
«Мягко стелешь, — она усмехается, — дух овражий».
Взгляд его, расплетаясь, ищет ее.
Не пахнет
свет от нее идущий — лунный?
Как масло пахтай
льнущую пустопу.
Или почесывай за ушами
осень воспоминаний.

С ним она? Да, пожалуй.

Но — как пора, не ближе.

Но и не дальше, — нижеп блуждающая игла

шаткое равновесье жизнь ее затаившей

фразы:

была бы я счастлива, если б могла.

3

Так и жила. Мебели скрип, занавеска, тихих зеркал семья,

сон ее обступившая, где она распускала себя как пряжу —

девочка с тикающей головой,

но у претршей, последней стражи

вскрикивала, сворачиваясь клубком, как змея

в обороне.

Будпо вязкая грязь меж подметкой и каблуком —

обшаркиваешь ее, да не туп-то было, —

нервничала одна,

другая — с кругов распила

неба древесного слизывала протступавшее молоко.

И пока она слизывала, претрша кровью сплевывала на живца

прижды —

сына ль? Духа?

И бог весть кого удила,

не пробуждаясь уже.

И в разводах ила

из воды поднималась кукла с чертами ее лица.

Кто я ему?

И так всякий раз повторялось, когда

он между ними растластывал слепо котписпую диву:

девочка с банпом, сидящая у изголовья, не отводила

взгляда от смерти, и ни одна семерых не ждала.

Кто я ему? — не сестра и не дочь, не жена

вчуже, не мать.

Девочка зеркальцем жадно слепила

диве в глаза

и, старухой прижавшись к окну,

с того света ловила

отблески этого —

зеркальцем девичьим.

Так и жила.

4

Речь его...

Но еще раз о ней: как мерцающий голоцен
с простоволосым солнцем в тающей глыбе льда.

А д их встречи справа налево первой прочла она.

Он — как глаза встречаются разные на одном лице:
топь янтарная у него, у нее — как морозный ясный день.

Речь его чуть поддразнивала отношенье
крена яхты к направленью ее движенья,
и она отвечала ему волнообразно,
перебрасывая с волны на волну.

Кровь меж духом и телом, демон.

Шесть ошибок в слове «любовь» он делал.

И она, исправляя, еще одну.

Мир сжимался на южный манер сапожка,
но ему еще мнился пятачке спотворной долиной
между молью молитвы и шерстяным цепелином;
ей — кошачьим пробелом в когтистых кавычках прыжка.

Отче, — шепчет она, как в волшебную дудочку.

Отчим наш, — повторяет он, глядя, как девочка за окном
от зари и до темени снежный ком
перекапывает.

Как яйцо от порчи.

5

Потому что она не казалась: она была.

Потому что черты лица — вопрос гравитации
между частным и общим.

Отчего бы ее сестра
между жизнью и смертью венки заплетала, Горацио?

Тьмы их — с лица необщим (это, скорей, о нем),
жрущих воздух в борьбе со своей тенью.

А ее дыханье было сродни растенью,
передвигающемуся меж сущих, как морской конек
под водой.

Потому ее так огрело его животным
хохотом у витрины с чудным уродцем —

бородапо-субтильным яйцом болотным,
сопней игл утыканным. «Рыба-солнце» —
ярльчок во рту чуть поблескивал.

Наводя

на предмет резкость, мы теряем его из виду, —
думал он, возвращаясь в ее обиду —
к той подушечке на иголках для шитья-бытья.

Так и жить бы им порознь. Разве что их роднило
то, что обоим в лица, как в выбитое окно,
с воем мело.

Стало быть, судорогой свело

Божьей.

Иначе б не отпустило.

6

Легче представить себе существа, живущие по субботам,
невдалеке от тех, кто живет по вторникам, за горами
времени.

Или представить себе так называемых нас с вами.

И даже тех, кто дышит одновременно во всех временах года.

Все, что угодно, или почти все можно представить.

Но не ее.

И не в границах воображения дело. Скорей, в языке
ей сопричастном, от здешнего опличающемся, как копые,
исчезающее из виду, от сквозняка в разжимающемся кулаке.

Скажем: *она не от мира сего*, или что-нибудь в этом роде,
в духе народной мудрости или пошлости — что одно и то ж.

Более внятные отношенья меж дядькой и ягодой в огороде,

чем между нею и жизнью ее;

ни спиной в нее не войдешь,

ни с богом.

Легче сказать, она *вне себя* в буквальном

смысле живет —

как душа.

Легче.

Когда бы не этот камень

речи на языке.

В ближнем она — как даль, а включая дальний:

вся — словно смерть во сне — здесь.

И сон ее полигамен.

7

Думать о ней, словно пальцем водить по радужной оболочке.
 «Знаешь, — ему говорит, оседлавши себя на скале, —
 ты, как Иосиф, во мне непорочную деву с колен
 поднимаешь. — И, расплетаясь: — В тамбуре электрички».

Думать о ней, словно воздух сучить меж рукопашным шивой
 птицы незримой и пенью ее, вьющейся по воде.
 Как называется то, что в своем проявлении не фальшиво?
 То есть мысль о ней пробирается мимо людей,
 холку пригнув, принохиваясь и озираясь на них.
 «Хотя
 что, — спрашивает, — в своем проявлении лишено изнанки?»
 Счастье ее — как горошина в пятилипровой банке
 перекапывается. Как ангелом брошенное дитя.

8

...сувенирная травма рая.
 Семь дней отмерь —
 и отрежешь ушами зайца.
 Лабиринт, утопленный в воске, укладывается в конверт,
 и круги по воде расходятся отпечатком пальца.
 Не прощай. Адресат *мы*,
 говорят, выбыл из настоящего.
 Ой ли.
 Он ли угол кроил у той вдовы,
 между прошлым и будущим голосащей?
 Жаброю немоты, вьюшкою от ладошки —
 там ли жизнь твоя, любушка на горошине
 дня?
 Ты ведь:
 то, что вверху — время, внизу — пространство.
 Собственно, ничего не случилось — *там*.
 Здравствуй.
 Можем махнуть, не глядя, наши с тобой *люблю* —
 будь они счастливы, их личины!
 Адресат не имеет ни следствия, ни причины;
 складываются величины, равные не нулю.
 Здравствуй, моя ни-сложить-ни-вычесть,
 не развязать губами ночь твою на плече

здешности.

Две и более душ составляют нечисть.

Плод отплого и райский, что его почтит червь.

9

...его голос в нигде оседая, как пыль.

И, как пыль, слепота под ладонью тепла.

Пыл

не закусывая. Как бы закусывая удила.

Или скрипку удерживая на весу

подбородком.

Так год за годом —

как лиса, хребет выгибая, уходит в воду

с головой, чтобы нечисть, вскипающая на носу,

отплыла нефтяным пятном со шнурком с исподу.

...или скрипку удерживая.

Ю — сосущая из сердец

лбовь, распущую лбом ко лбу.

Так за кругом круг думал он: гребу

в два весла, только греб одним.

Как пьета, накреня борт, отражаясь там

нефтяной воронкой в расплет тропы.

...или память, прядущая по пятам

за самой собой — как за ветром пыль.

ф и г у р ы п у м а н а

Он говорит: ...или как лесковые мочалочки в люльках меж волнами, зануренные вниз головой. Или висят на отвесах скал, на нипочных пальцах.

Кто говорит? Кому? Не видно его в тумане.

Думает, он еще по поселку идет, вдоль моря. По поселку, будто съехавшему с горы из незримого кузова. Так что у моря дворы и деревья образуют забор, громоздясь друг на друга, пропалкиваясь в первый ряд, чтобы видеть то, что сейчас заволочено вместе с ними, с горами и маленьким кузовом, свернуто, стянуто, как узел белья, покачивающийся за спиной на палке.

Он идет внутри узелка, покачиваясь, не замечая, что давно миновал поселок, говоря: они спят, они спят там, в горах, в мокрых шубах оврагов. А над ними плато с его гаснущим нипочным пульсом и неожиданным всплеском, кромсающим небо над прижавшимся к морю поселком.

Она идет вслед за ним. Не только она. Они все идут, вся его жизнь. Как во сне. Будто он выводит ее из поселка.

Как Крысолов. Дудочки не хватало еще, говорит, приставляя к носу растопыренные пальцы, опускает руки.

Оглянуться? Кто теперь впереди? Не она. Она никогда впереди не станет. В стороне.

Они замирают, когда он останавливается. Многие видят друг друга впервые, но как-то сжились, держатся вместе.

Впрочем, не все. Она. И она не одна. А сколько их, то есть ее? Все его встречи с нею — за четырнадцать лет их совместной? Совместной и не назовешь. Не все, иначе одной ее было бы здесь от моря до горных вершин. Ну уж до горных вершин. Хотя, что ты видишь — туман. Только тех, кто идет впереди. А она в стороне. Та — в стороне, первой встречи.

Это потом только он стал различать: худенькая, размашисто легкие ноги, танцующий ветерок меж ними, родное, с упренным щебетом и волновым восходящим светом тело ее, и лицо — весеннее, к небу поднятное, и веселые волосы чуть набекрень, из-под челки — две голубые тайны, одна распахнута, другая подрагивает, блажит в прищуре.

Это потом — голос грудной, губы с чуть приподнятыми уголками детства, теплые нежные, почти как воздух, когда его осторожно берешь губами, приехала из глубинки навеспить подругу...

Это потом только: будто луна и солнце на быстрых спицах вяжут друг друга наперегонки, и кажется, что луна снизу, а солнце сверху, встречаясь, промахиваясь, распускаясь там, где-то под левой грудью.

Хотя может всё и не так, особенно, когда она засыпает, уткнувшись носом в его плечо и зябкой ладонью поживаясь в пустоте за спиной.

Две замедленных, перевитых — ярко-желтая с белой... Это только потом.

Не сразу они приходят.

И те, горные, покачиваясь на стеблях своих пуповин, пятками ощупывая деревья, клубятся пустыми глазницами, глядяваясь меж стволлов в даль, в зыбкую кромку берега.

И те, меж волнами, луни ниточные, приподнимаются над водой, глядяваясь, и вновь ложатся, зануривая лицо.

Нет, еще не пора. Не к концу сентября, когда местность, как после соипья лежит разметавшись во все края и всё в ней чуть под углом друг к другу — море к берегу, небо к поселку, горы к горам, чуть отвернувшись, с тем же чутким зазором вины и родства.

С тем же взглядом, косящим чуть в сторону, — как по холодному полу идешь босиком, поджимая пальцы, чуть в сторону, как после близости.

И повсюду этот стыдливый зазор с пустотой неумелой — меж землею и небом, дорогой и домом, водой и губами.

Это пята родства и обратная пята — к его отпорженью.

Только спайки пьоски с этой ноющей сладковатой виной.

Кто говорит? Лишь уголек сигареты плывет в тумане, погас.

В тумане, который сглапывает его слова, по-птичьи выклеывая их изо рта, обхватив его голову влажными мутно-белыми крыльями.

Это только потом, когда он увидел ее, будто две незримых руки: одна — ледяная — ткнулась в живот, вросла в него, добела раскаленная, щемя и дробя колкий жар, осыпавшийся в низ живота, обжигающий ноги до пят, а другая, как солнце, далекое солнце, легла на лицо.

И он покачнулся, и обе руки его подхватили, подбросили вверх, и, вихляя, земля покапталась под ним.

Он не помнит, как они вдруг оказались в комнате, черный проем окна, она — уже в шелковой белой сорочке, медленно льющейся вниз, обнажая ее от плеч до груди, до... Будто рой облепил его дрожи, как тысячи пчел впились в сердце, в затылок, в глаза. Он почувствовал вдруг, что теряет сознание. И качнулся вперед, чтобы прежде, чем потерять, хоть коснуться ее.

Хоть коснуться — она расплеталась, она расступалась, как море, под ним — хоть коснуться — со дна заплетала его, как бесплотное белое пламя — коснуться, проснуться, поверить, вдохнуть — она на ковре, на спине, он над нею, на ней, они движутся от угла до угла, запрокинув лицо и друг в друге попясь и выпрастываясь полчками, прихвативши губами губу друг у друга, кривясь головами, ногами скользя по коври, от сены до сены, пока голова ее не начинает затылком постукивать о цветочную рябь полустертых обоев, и, просунув ладонь меж стеной и затылком ее, развернувшись, обратно — к той, дальней стене и обратно. Всю ночь.

И к рассвету он видит себя на коленях стоящим на маленькой кухне, под умывальником, у мусорного ведра, и она на коленях, почнее, на трех, спиной к нему, правой рукой, соскальзывающей со сены, пытаясь — что? — встать? Нет, ни он, ни она уже встать не могут, ног нет, рук нет, даже кожи нет у нее на спине — лепестковая, до кости, только дрожь одна и осталась, и она, эта дрожь, еще продолжает накапывать и отступать, накапывать и отступать — за бесчувствие, за забытье, и всё ниже кренясь на игольчатых сбитых коленях.

Не сразу, он говорит, не сразу. И даже не в оклябре, когда, подрастая, взрослая, они оповсюду ниточно тянутся вниз, сплываясь и расплетаясь.

И те, горные, над собой зависая, сплываясь под один капюшон, встают над лесом и стоят, оглаживая его рукавами, всё выжидая.

И те, плывущие по волнам, всклокоченные парички, приподнимаются, озираясь медузными лицами, подтягиваясь друг к другу, срастаясь в одно, клубящееся над водой, как вдоль кривых зеркал проплывающее лицо, всё вглядываясь в береговую линию, всё еще выжидая.

Пока заживают зазоры, оставляя млеющие рубцы — повсюду: в воздухе между деревьями, между людьми, меж словами.

Пока догорает вина, помнящая о родстве, пока остывает кожа этой здешности, этой близости, уже протравленная к утру проступившим инеем.

Не сразу, но к ноябрю.

Это только потом, наутро, когда он поднялся по лесам на купол и лег на нем на спину, всё еще продолжая вздрагивать в ритм тем толчкам, шевеля запекшимися губами под припекающим майским, висящим прямо над его, как казалось ему, не его лицом, с которым произошло что-то чудовищное, что не должно окликаль людей.

Он лежал в центре города, на спине, на куполе оперного театра, в котором работал сторожем, устроившись из праздного интереса на несколько месяцев, пока театр был закрыт на ремонт.

Он лежал на куполе, и под его спиной зияло сумрачное чрево Театра с призрачными голосами, перепутанными, висящими в курящейся пыли обломками декораций, солнечным лучом, воткнутым в узенькое окно под куполом и увязшим где-то на полпути своей упругой клубящейся диагонали.

Он помнил исход крыс, они шли в первые дни в семь слоев, друг на друге, день и ночь, непрерывно, будто асфальт всковырнувшийся полз во все стороны из-под театра, стружаясь в трюмы соседних домов.

А потом вдруг всё стихло. И дома, накренившись фасадами к площади, чуть осели, затеплив огни.

И она лежала на животе, на верхней полке, подрагивая в такт увозящему ее поезду.

Он останавливается, не оборачиваясь, чувствуя ее спиной, ее, стоящую в стороне, всё равно ведь ее не увидишь. Еще не пора. А потом уже поздно и всё как в тумане.

Так приходил их час, и они начинают движение — оповсюду, он говорит, ведя рукою перед собой, не видя своей ладони, оповсюду — раздуваясь и выворачиваясь вперед, клубятся вниз, проворачиваясь в себе и из себя выворачиваясь вперед, ползут, подминая, намазывая на себя правую, деревья, дома, дороги, охватывая губами, обсасывая, обглядывая, обдувая горы, берег, море, намазывая на себя, утапливая в себе.

Оставляя прожилки, как в мраморе, там, где еще не остыли зазоры. Те, с пустотой ножевой, неумелой.

И люди в тумане стоят, как барельефы. Как увязшие в камне. Недовысеченные, недovyшедшие из него. Микельанжеловские фигуры сна. Так и движутся вместе с камнем, как туманы в тумане.

А потом он садится в поезд, и еще в один, и еще. Маленький, свернувшийся калачиком, заснеженный городок. Он подходит к ее окну, видит ее, подняв голову, как сквозь паутину, сквозь морозный узор стекла, она смотрит ему в лицо и не видит — во тьму со света, и в лице ее тихое грустное счастье поет без голоса.

И он входит, берет ее на руки, вглядывается в окно: улица вся черная, безжизненная, только одна вывеска догорает, заматаемая снегом: З...ГС.

И он опустил ее на землю лишь когда они вышли из этого ЗГС, и она все никак не могла собрать расплывшиеся губы в это щекотное слово: *жена, жжжена*, а он, будто дул на ее ладони: *муж, мужжж...*

Где он стоит — на земле ли?

Смолкает, подходит на ощупь к обочине, слышит струю, направленную рукой: трава, камень, обрыв, нет звука.

Идет, ни света, ни звука.

Хорошо, что ни света, ни звука, что этот здешний, с детства родной, не перебит за руку, не шепчет на ухо наперебой свои имена, не изводит глаз.

И ведь всё равно все они здесь, плывут в тумане, чуть выше, чуть ниже, люди, дома, камни, женщины, сам он, ребенок, и те, кем он спал, и те, кем не спал, и те, кто их пережили, если бы время было линейным, а не — каким?

Он закрывает глаза, продолжая идти. Ему видится кровь, траектория крови: сердце, вены, артерии.

Вот, он приоткрывает глаза, по тому же принципу и время течет, такое чувство.

А потом тормознули автобус, пустой, и кружили на нем по городу, танцуя, топчась в этом узеньком зябком проходе под хрипящее радио до утра.

Это только потом, в другом городе, в полнее, она вдруг прижмется к нему и, на вдохе, будто это последний и в нем — весь воздух жизни, выдохнет: *я люблю тебя, я тебя так...* И ее от него будто стеснет толпой, он увидит лишь руку ее над плывущими головами, отдаляющуюся.

Значит, все они здесь, всё, что было с ним, здесь, не в прошлом. Как кровь. Через сердце. Возвращаясь в Него, обновляясь и оставаясь все тем же. Как кровь. Артериальное и венозное время. Это надо додумать.

Это надо оставить, как дверь, приоткрытым. Все двери. Пусть дышат. Не оканчивай фраз.

Час заката. Свет стыдливый расплылся в тумане. Будто кровь, приливающая к лицу.

Говори: *что вверху облака, то внизу...* Он покачивает головой, он разводит огонь, выгребая на ощупь труху из-под пней, опускаясь на корточки, шурясь от дыма. *Туман, договаривает.*

А потом только клочья тумана, как птицы, клюющие пададь. Потом только клейстер ползущей земли с потускневшей правую во рту.

И эта ладонь ее всё еще там, над головами, машет ему, ему ли?

Не Елена, другая. И все корабли — от начала времен и до скончания дней — разворачиваются и плывут на ее затуманенный свет над волнами.

Все журавли, весь корабельный их список выворачивает в небе свой угол и лепит вспять на это пятпипало распресканное зеркальце — туда, где восходит солнце.

И он чувствует, как слабеют его очертанья, и не только его, но и всего вокруг, как оплывают границы, черты, как всё сплывается в шар восходящий, в котором нет ничего, кроме этого выдоха света. Свет, оплывший как шар с перекушенной нитью.

Он слышит гудки машин. Он видит блуждающий в тумане свет фар. Он входит в город. Он чувствует под ногой легкий наклон земли, значит, движется к морю. Оно уже здесь, рядом, еле слышимый плеск за балюстрадой, он кладет на нее ладонь.

За спиной его урчит маленький стеклянный дом на колесах, в нем горит свет. Он пуст. Он сделан так, чтоб в нем ехать стоя. Как стеклянная ступа с высоким рулем, за которым стоит негнущаяся, будто схваченная гипсом фигура. Крупная белесая голова в черных очках, черный костюм, грузные громоздкие ботинки.

Каждый день в это же время он въезжает на эту набережную, к этому месту у балюстрады.

Спина его движется так медленно, как только может различать зрение. Руки его — неподвижные — выпянуты вперед, на уровне плеч, упираясь в руль. Неподвижная голова глядит в одну точку — за горизонт. Безучастное тело, негнущееся в коленях, воткнуто в пол. Весь он, как в глицерине, в этом матовом свете за стеклами.

Каждый день, в это же время. Выходит, покачиваясь, как гипсовая фигура, кладет на балюстраду ладонь в кожаной черной перчатке, и она елозит по шершавому мелу впереди него на длинной палке руки, как миноискапель.

А он стоит, шевеля губами в одну неподвижную точку — за горизонт, туда — за море голов. *Или как эти мочалочки*, шепчет без голоса, *в люльках меж волнами. Или как те, на ниточных пальцах висящие над обрывом...*

Кто говорит? Кому?

Она стоит за его спиной, чуть в стороне, в тумане.

С П И Н А

На земле, в полосе света, падающего от окна, за которым слышен спук печатной машинки с этими вот словами, а теперь стих, и человек подошел к распахнутому окну и смотрит со второго этажа на полосу света, в которой стоит кот, — стоит кот.

Кот этот до падения Империи был королем этого края. А теперь — Лир в бурю. Без Глостера обочь и Корделии в перспективе. Годы, как он оглох.

Дважды годы, как длится для него эта буря. Для него, потому как, например, сейчас в округе безветрие, лишь цикады в тиши. А он стоит, вскинув передние лапы над землей, будто буря метет в лицо, приподнимая или, как взнузданная лошадь, заваливаясь со свечи.

Шкура на нем — белая в облезлых подпалинах — как мантия, косо сползла с загривка, под ней — голые ребра, свирисящие ветром. Талый крохкий лед головы, две оплывших промоины глаз.

Он говорит, он идет против ветра, укрываясь от него руками, топчась на месте, и говорит. Годы беззвучно шипят ртом — седым, беззубым, залепленным ветром.

Пол-округи — дети его и дети его детей, и так до моря. Один из них сидит перед ним на бровке, выбеленной профаном, сидит, как микельанджеловский мальчик, вытаскивающий занозу. А топт стоит перед ним и шипит, не падая, будто ветром подхваченный под микитки.

Человек, глядящий из окна, держит в руке открытку, написанную крупными валкими буквами на ломаном русском. А внизу приписка: *как там карол Лир? Посидим у мора, поговорим вдаль... Целую. Сильвия Кармен.*

Он дважды перечитал, получив ее утром, прежде чем вспомнил. Эта песнь песней в черном ливне волос и с просвечивающим сквозь него ярким влекущим, горделиво выгнутым ртом, приехала в северную столицу из Марбурга изучать русский, остановившись в коммуналке у его друзей, где он и познакомился с ней, за двумя чашками чая успев рассказать и о море, и, как видно, о Лире, о лироморе, и пригласить погостить.

Рот ее танцевал, отдаваясь: алый сквозь ливневый черный.

А жена человека жила в соседнем городке, чуть покрупней, поосаниспей здешнего. В маленьком, увязшем в земле доме, в конюшенном двореке рядом с Царским дворцом, куда они переехали, точнее, бежали этой зимой, бросив жилье, как идущий ко дну корабль.

Вначале ветром, неделю с воем расшатывавшим ущелье, высадило окно, и вмиг комнату запорошило снегом — с ними, лежащими на топчане, щекой к щеке уткнувшимися в книгу, с ребенком, спящим на утлом матрасе на полу. Они пытались заколотить одеялом этот звериный проем, но ветер отбрасывал их вместе с парусом от окна. Дом приплясывал и гудел во все трубы и щели навзрыд. Это было только начало. Они подхватили ребенка, и налетке, пригибаясь, добрались до конюшенного двора за мысом, и окопались там на зиму, задраив и без того крохотные окна, казалось, вросшие в землю.

А теперь весна, и они жили на два дома: она с сыном — там, а он — здесь, с голым окном в ее сторону и печатной машинкой на простуженной палубе. А в другом окне — кот стоит в полосе света.

А у еще одного окна — круглого, в небе — Сильвия, она же Кармен, — смотрит вниз на пролетающую местность с нарастающим морем вдали. С морем, которое как глаза ее — черные, которые самые синие в мире.

И вот сидят они на пустынном берегу, одни, без луны, без солнца, спиной к суше, лицом к морю без линии горизонта, слившемуся с таким же прозрачно-серым небом. Он сидит, обхватив колени, положив на них подбородок, ее лицо чуть выглядывает в профиль из черной волнистой хижны льющихся на гальку волос.

Она читает «Фауста» наизусть — всего — на немецком, вопреки на русском. Море лежит у ног, как вспотевшее зеркало. Чайка парит над ним и, падая, об него разбивается и, взлетая, вновь срывается в чайку.

В ту же самую или другую?

Тонкокожий старческий свет над водой, чуть дрожащий, слезящийся, бледно-табачный.

Они приезжают в конюшенный дворик, они бродят по парку в тумане вдвоем, они возвращаются в дом. По углам две кровати с пружинными сетками, стол между ними, отблеск свечи в бокалах вина. Красного. Плавают. Ребенок спит за стеной.

«Роднуля», — он говорит ей глазами, той, с которой живет, кажется, с дней сотворения мира, кажется, дней не идущих на убыль. Или кругами ходящих? Но, кажется, с богом в душе, и одним на двоих, а значит...

«Да», — кивнула ему, дрогнув губами, и ей улыбнулась. И задули свечу. И в босой темноте разошлись по углам.

И он вошел на коленях под черный полог ее волос, и она обернулась к нему через плечо, стоя, как и он, на коленях, и приблизила к нему лицо с приоткрытыми вяжущими губами.

И он зачерпнул ладонью это лицо, как кривую глубинную воду, и поднес к губам, дуя в нее, ухватывая глотками.

И пружинную сетку под ними накапывало на берег, и с надорванным чаичным вскриком отбрасывало назад и в сторону, волоча по камням, и накапывало, накрывая их с головой.

И вдруг тихо так стало, по спине прошел холод и тишь, он спиной вдруг увидел ее — там, в белеющем дальнем углу, на кровати, лежащую на животе, к ним лицом.

Он почувствовал голой спиной, как она приподнялась, спустила на пол и бесшумно к ним движется, на ходу через голову освобождаясь от липкой сорочки.

Он отклонился в тот самый момент, когда... или это она, опустившись на корточки перед кроватью, отклонила ее от него, пригибая к себе, как тяжелую черную ветку во тьме, и они закачались, сплетаясь навстречу, наощупь, на шепот губами.

Он, пригнувшись, пытался войти между ними, но там, в темноте, уже не было этого *между*. Была только спина — круговую — ее и ее, как одна, под разметанным ливнем волос.

Светало, он сидел на холодном полу у кровати, подняв голову вверх, чуть подавшись вперед, как топ коп против ветра, и смотрел, как они расплетались — еще на коленях, обнявшись в луче, отдаваясь и снова сближаясь — еще приоткрытыми, неплотно сжатыми ртами.

часть третья

лестница

Д и п я

ф р а г м е н т ы м е с т н о с т и р а з н ы х д н е й

Г у р з у ф , 1 2 м а р т а 2 0 0 0

<...>

И вводит куколку-Фауста в сияющий небесный круг детоубийцы Гретхен.

Пойду-ка к морю спущусь. Зябко в доме, ни газа, ни отопления, ни воды в кране, а по ночам и свет моргает, со свечой сажу, оплывает парафиновый Крым, дымок изо рта.

Знаешь, кто такая Форкиада? Это старуха втроем, имеющая на троих один зуб и один глаз, которые и одалжива(ет)ют другу другу по мере необходимости.

Пойду туда, где обрывается Россия, а теперь уже и неизвестно что.

«Мальчик прыгает, как мячик, кверху на утес с утеса. И внезапно исчезает за обрывом крутизны, так что кажется погибшим». Это из монолога Форкиады в «Фаусте».

Этот мальчик — плод Фауста с Еленой, а зовут его Эвфорион, а если напрямик — то Байрон.

Эвфорион: «Хочу подпрыгнуть, чтоб ненароком небес достигнуть одним наскоком!»

Фауст: «Тише, Леночка, не плачь, не утонет в речке мяч».

Елена: «А если утонет, значит незаконнорожденный».

Сходил. Море — позднее, запанное, у зеркала брееется. А горы — женщины, сидят в отдалении, как пиццы в ретулах.

На артековском пляже вывеска: «Пляж детский. Взрослым вход воспрещен. Спасение на воде им не гарантируется». Приедешь, свожу.

Хорошо бы приехал. Персик цветет, сонечко сяд, пионеров в пруду разводят.

Думаю, если б ты приехал через недели две-три, нам бы уже было что сложить — твое, мое, обойти вокруг, отсечь лишнее. Или так — дымок воскурить на скале под звездами, наживить голос, тропку...

Звезды пишутся здесь справа налево, если спать лицом к северу, их идиш. Приезжай, изумрудный Зогар примем, буквы.

Сажу, в окно гляжу: туман ползет вниз по склонам, сволочь, наволочь, падающие облака.

т з - е , у т р о

Выпряхнул прошлогодних ос со дна плафона. Круглобедрые, на спине лежат, лапками подтянув незримую простынку до груди, женщины!

А одна, у цоколя, на локотке приподнята — Даная!

Еще ночнушка — клипорок крылатый, пара вонючек панцирных — гусары!

Да мухи — ничком, на коленях, с заломленными за спиной руками.

Теперь бы с него фуфаячку пыли снять, с плафона-то, Николай Васильевич.

Голого в ледяное корыто сажали с пьявками на носу. Врачевали на дорожку. Нос русской литературы.

Сонечка ос. Осиная ностальгия. Сосуших ось.

Светлей, значительно светлее. И печальней.

д е н ь

Облако мутное на мягких лапах спелется по склону, прижав уши, сосет травку, губит-голубит.

В поезде Москва—Симферополь ночью меж двумя таможнями забылся кратко с книжкой на животе «Время. Квант. Хаос», строчка искала куда прилечь — «скорость вращения электрона в атоме углерода составляет десять тысяч миллиардов оборотов в секунду».

Куда ж ей такой прилечь? Таких и не отпевают.

Потрогал слюну во рту: точно, десять тысяч.

А Земля тащится вокруг Солнца, как поезд Москва—Симферополь, 24 ч., с каждым столбом обнюхиваясь.

Если Солнце — Бог, как он живет при такой температуре? Чтоб чаду его светило, чтоб мы с тобой в письма играли и права росла, на ветру моргая...

м а р т е щ е , н о л и к и , п у з ь р и з е м л и

Сидят они — Розанов, Каптерев и Флоренский, пьют чай.

Розанов спрашивает: господа, вот есть гусеница-куколка-бабочка, в которой же из них заключено «я»? Ведь не может же быть, что у них одно «я» на троих.

Флоренский задумался и сказал: конечно, бабочка есть энтелехия гусеницы и куколки.

Восхищенный этим ответом Розанов сучит из него целый космос, говоря: мы, можно сказать, втроем открыли душу насекомых раньше, чем открыли и доказали ее у человека.

И давай расплетать, рассмапривать. «Собирают нектар», «копаются в цветах», но — нет рта, нет кишечника, нет желудка, нет ничего для питья, для еды, что ж они делают? Нектарятся и совокупаются, вот оно!

Тогда понятна «застенчивость половых органов»: входим через это в «загробную жизнь», в «жизнь будущего века».

Почему величина цветов именно такова, чтобы насекомое вошло в них всё, целиком? И чем они являются для насекомых — вот бы что надо понять, распаляется Розанов, и что понять ноуменально необходимо.

Все истоки религий — оргии древности — то же «копанье» в пахучем цветке, когдаходишь в него целиком, не для питья и еды, а соитие с будущим, брачный танец «касаний мирам иным».

Каптерев задумался и сказал: открыто наблюдениями, что в гусенице, обвившейся коконом, и которая кажется умершею, начинается после этого действительно перестраивание тканей тела. Так что она не мнимо умирает... Только на месте умершей гусеницы начинает становиться что-то другое; но именно этой определенной гусеницы, как бы гусеницы-лица, как бы с фамилией и именем, ибо из всякой гусеницы, сюда положенной, и выйдет вон та бабочка. А если вы гусеницу эту пропкнете, например, булавкою, тогда и бабочки из нее не выйдет, ничего не выйдет, и гроб останется гробом, а тело не воскреснет.

И Розанов, размахивая этой вестью, идет в Египет — к мумиям-куколкам, к «насекомой» его религии. Идет в «венчике из роз» и жужжит под нос: один Христос беспятнист, а наше солнышко с «грешком» — горит и греет, цветет и пахнет...

Эти «Предсмертные мысли» написаны в год революции, когда Россия, как он заметил, в три дня слиняла.

Лао Цзы казалось... Бабочке казалось... Казалось Набокову — вот уж кому — с обеих сторон Земли, до последнего дня он ловил свою бабочку-детство...

Пыльца. Как ты приблизишься, чем?

Чем роза приблизилась к маленькому насекомому принцу? Даром благоуханья, отвагой пыльцы. «И заметьте, сказала она ему, я родилась вместе с солнцем».

Бабочка, присевшая на страницу Мейстера Экхарта, где «Бог смотрит на тебя тем же глазом, что и ты на Него», бабочка с глазами на крыльях, распахивающая их и смежающая — глаз к глазу.

«Будьте как дети» — как хлопок одной ладони.

Почему дети крылаты, во сне летают? Почему мы — чем дальше в жизнь, тем короче крылья? Почему мы растем сверху вниз — от небес до могилы? Почему говорят: под звездою родился? Там — рождение, здесь — см. библиографию.

Божия коровка, улети на небо — там твои детки кушают конфетки.

Как это любят дети, подняв к небу палец, эти маленькие пантократоры, самозабвенно глядя на ползущую по пальцу с неба свалившуюся оранжево-красчатую мамку Божию. В ожиданьи, как чуда, ее полета — куда? В небо, на родину. К кому? К деткам. Которые где? В раю.

Вернись, мамка, лети в Там от Здесь. А она все медлит: вниз-вверх, на розовом ноготке разведет крылья, дрожит вся, и снова вниз.

И почему «коровка», к тому ж «божья»? Чья ты, слезка красная, насекомая? С неба падает, вверх летит.

н о ч ь

Полнолуние сегодня. Псы беленеют, задрал люк. Тьму пью, турок.

День был — как пень, фантомен. С высолом пота — там, по срезу, по сорока одному кольцу.

Шел к морю, камень брал взглядом и возвращал. Нет, уже не махнуться с ним — поздно, куколка, поздно. Нефть на губах, топь тела, темь.

Без Него, без земля, без страна, без очаг, без нея, без дитя.

К морю шел, как слезящийся почерк, пошатываясь, обпирая деревья, бубня: «Болят душа, болят душа... И что делать с этой болью — я не знаю».

И его же, впорым голосом, но заглушаемым первым: «Ах, люди: пользуйтесь каждым-то вечерком, который выйдет ясным. Только не пишите ничего, не «спарайтесь»: жизнь упустите, а написанное окажется «глупость» или «не нужно»».

Божия коровка, улети на небо, божия коровка...

Старушка стоит на пути, с ладошкой впереди себя: «Сыночек, дай на полбулочки хлеба».

Обернулся: вослед спину крестит, а за спиной море, а за ним берег турецкий, а за ним океан Индийский, а за ним пингвин на льдинке покачивается, как метроном.

Моль ест Крым, чевенгур, Дыр був щир на прищур.

Тут зарплату дают в единицах ч/л — целолитрах, портвейном.

Население «М» все сваялось, как шерсть. И лежит у аптеки в рассветном похмелье среди склянок боярышника на спирту, эпих йодовосизых инжирных мензурок — будто смоконницу тучную кто обтрусил и унес.

«Ж» — на холмах в огородах — в позах «пловчихи перед прыжком». Или круче — с запылком меж ног.

«Б» — еще не сезон.

«Д» — не обильны, две-три, со шпартгалками ног из-под фиговых юбочек, из-под трусиков-промокашек.

т а м а р т а

Ошибка. Там, на вывеске, — взрослым спасение не «гарантируется», а «не обеспечивается». Во какой шпиль!

Море как море — мара. Лежал, в небо глядел. Вдруг тихо так сам себе на ухо спел:

«Дывлюсь я на нэбо та й думку гадаю: чому я не сокил, чому нэ липаю?» Мантра така украинська, хреспоматыйна.

Дивный язык. Уста его еще там, в мифе, и очи живут без очков, до идиотичности дивный. Хотя бы вот это: й думку гадаю. У него еще нет ни слова, ни понятия «думать». Он гадает, загадывает, выгадывает, угадывает, ворожит мыслью.

Даже не мыслью — и этого нет — при ворожбе-по! Думкою ворожит. Дымком в голове ворошит, как на углях гадает, слегка поддувает, дымок отгоняет. Здесь, на теплой земле, на своей.

А на чем он гадает? На небе. Похоже, высоком, пустынном. О чем? Почему он не сокол, не самолет. Изрядный вопрос, равносильный — «а почему луна?» Действительно, могло б и не быть. Вопрос младшего бога — лет пяти-шести. В четыре такие вопросы не задают — еще. В семь — уже.

Мандра (странствие) мифа. Мантра-мандры.

в е ч е р

И не скажешь, что это случается, как ожог,
но и не кажется, что это пьянется исподволь.

Лодочка-домовинка,

отчалинка от берегов:

раз — весла пернапы, голова к коленям;

два — небо шатнется, разматывая зрачок.

И так день за днем: лицом — к безголосо кивающему,

птающему вдали;

спиной — куда незнамо,

лишь белые воротнички,

шипя, пенясь перекисью,

плывут, безголовы, по сторонам тебя.

И вот,
не то чтобы вдруг... но прежде,
будто чьи-то ладони легли на глаза: «угадай — кто?»
Нет никого, обернись:
пишь да гладь, млеющая непроглядь,
облапывает днище, покачивает окопчик.
Нет уже ни ладоней, ни весел, ни пуповинной дорожки за.
Только зыбкое зарево, бусинки света — там,
видимо, там, откуда ты-вы-был,
там, куда еще вы-да-был,
перебирая нечеткие четки волн,
нечет тычет в тебя, мыча,
жизнь-одноножка,
оботришь о свои морсящие дважды два —
все равно один.
И не там, откуда,
но и здесь ты — ни сном ни духом.
Память, золушка времени,
не примерить тебе эту лодочку-пуфельку!
Море бугрится крысиными спинами —
тьмы их,
скалясь вполборота, визжа переползают ее.
Полосни по ним светом —
там ты —
как по глазам стеклорезом —
там и опшуда;
выйди,
выпростай взгляд:
даль изгладана до белизны.

Шел с моря, купил минеральной. «Целюща».

Забавно. Целебная, исцеляющая вода в русском фольклоре — вода «мертвая». А «живая» вода — воскрешающая. Эта двуглавая мифологема произрастает лишь у славян.

В общем, заправился «мертвой», части трупа срослись и рубцы залянулись.

Кстапи, нектар и амброзия соответствуют нашей «двуглавой». Нектар (этимология корня — «мертвый») исцеляет, регенерирует ткань. Об амброзии почти ничего не известно. Этимология отсылает к «не-смерти», «сукровице», «соку жизни», из раны текущему.

Насекомые кровососы Олимпа. Кровь и цветы!

Ни души в доме твоём, звонишь-звонишь в дверь, стучишь — авось, откроет. Кто? Некому. Да и ключ у тебя в кармане.

Темень. Эмбрион-улитка.

Пяточка ахиллесова, спеленатая в скорлупу.
Тише тихого, дальше дальнего.
Пуповина меж миром и домом, не перевязанная.
«Будущее, как рожки улиток, стоип им коснуться чего-то твердого», Эпиктет.
Так бы сердце могло ползти после смерти.
Голая куколка, сома-сомнамбула — с выходом лишь по сию сторону, без воскресения.
Жизнь первородная, клейкая, склизкая, чуть не стыдливая, дольняя, генипальная.
Что им здесь, что их сыплет сюда?
Вот их не было, дождь — и тьмы их, крещенцев, моллюсков купельных, лилейных сморчков, пилигримов.
Как новорожденный, на животе, и голову не держит, нет лица, лишь анпенки ручонок. Подсушило — и нет их, куда?
Вот кто «божьи коровки»!
Жили б в море, в семье... Хтоники, кто они?
Где их «небко» — там, под землей?
Вверх, под землю уходят, а рождаются вниз головой, в пустоту. Рожки клейкие, совокупленные.

Путь дрожит, как язык змеи.
Как раздвоенный фитилек, а змея за кадром.
Ни зренья, ни слуха, ни обонянья, вся — термотактильность, вся — жгут церебральный, тепло и тактильность, улыбка, дитя.
Змеи жалят потерянный рай — нашу взрослость.
Лопман где-то писал, что с точки зренья природы, мы — существа вне закона, непредсказуемы, то есть безумны; она и смотрит на нас, как на сумасшедших, обходя по возможности стороной.

7 а п р е л я

Звонил тебе. Мать сказала, что отъехал в Москву, безадресно.
С кем поведешься... — говорит голова хвосту.
Спало быть, если ты оттуда направишься в Крым, то мне — по правилу уробороса — выходит смещаться к Киеву.
А может, и к лучшему, что пишу пока безответно...
Возил вчера голову в Симферополь — на прямой эфир, во косую воду.
А что значил поэт в нынешнем мире, — все выспрашивал у меня вождь эфирный.
Возвращался в троллейбусе с Андерсеном, «Дюймовочку» перечитывал, спускались по серпантину, как с ветки лист, кружась, море всверкивало внизу, слезило.
Эта малютка родилась от поцелуя (да и рост ее — губы, сложенные для этой цели), родилась от цветка, целуемого человеком.
Цветка не раскрытого, тьмущего, бутонного, мапочного.
А потом плавала на лодочке-лепестке в озерной тарелке, на края которой были положены цветы так, что стебли их купались в воде, и вместо весел у нее было два белых конских волоса, а тарелка стояла на простом деревенском столе, на краю поселка, у дороги в райцентр.

А что ела-пила Дюймовочка? Нектар, не амброзию.

А потом пришла жаба-жизнь со своим сыном на выданье.

И ласточка, «подружка Анпигона», возвращается из «слепого чертога теней» через поцелуй Дюймовочки.

И потом, когда «слепая ласточка бросается к ногам с стигийской нежностью и веткою зеленой», Дюймовочка кутается в ласточку и лепит в край нектара и эльфов — там обретая и крылья? и «выпуклую радость узнавания».

После Андерсена от народного «гороха» преданий пучит.

После — даже Алиса за амальгамой — потерянный рай, кембридж педофилии.

А Русалочка дала отрезать себе язык, лишилась речи-голоса, бога слова, чтобы войти в мир людей.

Слово — в обмен на что? На любовь.

Или — или, баш на баш.

— Недешево я беру, в самый раз, — сказала кикимора, обтирая копел со снадобьем связкой живых ужей и, вздохнув, добавила: —

Чистота — лучшая красота!

Поцелуем же возвращает Русалочка принца к жизни, и поцелуем — уже с того света — благословляет спящую в объятьях принца его жену, незримо коснувшись ее лба губами.

Слово, принесшее себя в жертву немотствующей любви, возрождается в любви, приносящей себя в жертву слову.

Дверь сегодня меняли весь день — два кришнаита, о хари-хари, всё норовили «в диалог вступить» в перерывах между грызеною сверла и зубила. Или так — просветленно стоять за спиной и читать, что пишу. Еще завтра придут, не прислониться к косяку дверному, брешь зияет, перегороденная.

Знаешь, Варел, что особенно ранил глаз? Ворона над морем и на снегу окуроч.

Года три тому, здесь, в начале мая, в санатории Минобороны, над цветущей клумбой, вспоротой спройно взметенным кипарисом, этим угрюмым вечнозеленым фаллосом, я наблюдал среди бело-блаженного дня, как летали по кругу, перевиваясь друг с другом, махровейший махаон и летучая мышь — часами, вокруг кипариса, по часовой.

Я лежал на скамейке в пустынном саду под прозрачайшим небом, смотрел: вот апокалипсис!

А вглядывался ли ты в лицо летучей мыши?

Был у меня этот опыт. В ту пору я работал в крещальне Софии Киевской, реставрировал фреску с обмелевшими сорока севастиийскими мучениками. Для укрепления кладки нужно было вгонять в стену ветеринарными шприцами сотни литров дихлорэтана. Поначалу я то и дело выбегал в покачивающийся церковный сквер — блевануть под дерево.

Выкуренный парами маленький непотырь выполз из паза меж плинфами, волоча за собой пыльный пиджачок крыльев, и замер, пикая головой в сантиметрах от моего лица, разинув рот и дыша на меня, как собака.

Я принес это чадо домой и повесил на занавеску над своєю кроватью. Висел, как младенец в утробе, — вниз головой. Да и крылья, как у младенца.

Третий час ночи, птицы поют за окном, распахнутым. Весна, ласточка, весна, девочка, вона как от земли персефонит!

А китайцам ласточка кто? Первобог у них был — Ди-цзюнь — с головою ласточки и хромоног.

Потому, выдашь, что ему, как и ей, не с ноги от земли взлетать.

Слепая ласточка. Чертог теней. Платонова пещера.

Еще неизвестно, кто из нас перевернут — мышь или мы.

1 0 а п р е л я

Лежал до утра с открытыми, не спалось, скипал мысли по стенам. Вдруг вспомнилось забавное: где-то в семидесятых, в одной из деревушек восточного Крыма, на базарной площади стояли два Ильича; один взрослый (с рукой), другой маленький (с книжкой под мышкой).

Эти потемные «вовочки» были рассыпаны по всей стране — гипсовые, гранитные, мраморные, масляные хрипосики. Этот же фенотип был на значке октябренька: золотой очерк лица, вписанный в белый круг мандалы, от которой расходятся пять кровавых конусовидных лучей — «у-цзин», как ты говоришь, звезда пятиконечная, но — со вживленным солнышком.

Не припомнишь ли, в каком возрасте ребенки проходили поголовную инициацию в октябреньки — лет в шесть-семь? То есть сразу после фаллической фазы и на весь (учитывая последующий прием в пионеры) латентный период, когда либидо как бы меняет ногу и зависает — вплоть до пубертатного возраста, то есть приема в комсомол.

Помнишь ли ты эту великую мантру, которую декламировали хором детеныши 1/6 Поднебесной?

«Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной». И припев: «Камень на камень, кирпич на кирпич: умер наш Ленин Владимир Ильич».

То есть Дед умер! Такого мощного рецидива мифологического мышления, пожалуй, не возникало со времен Р.Х.

И в продолжение мифа: Иосиф с девочкой на коленях. Выворотка Мадонны с младенцем.

Всё, засыпаю. Завтра — о культе Мадонны. То есть сегодня уже. (Переставь ударенье, чипается «культя», что не вовсе бессмысленно, говоря о «фантомном младенце».)

А кто кого держит на руках? Похоже, он ее.

Светаёт, соловей прочищает горло. Под лягушачий полковой оркестр. Серенько за окном. Зажмурено, как пупок.

1 1 а п р е л я

Сжечь, сжечь. Белым-бело чпоб было младочадам...

Жиденькие, а по желобкам стекут и густеют в руках — алебастровые.

Отсечь лихо?

Или водить его, пупсика, как на веревочке? Дуть в нее: инструмент!

К столу, к столу! — в фольге-матери: о лирика!

И не дочесть романа — красного.

И не допить фужер, как страус льющийся в песок.

Пустыня, няня. А за ней — пустыня.

И лес за нею лыс. Поджечь —

воротничком из лис!
В раю залечь, в четыре ряда, поп-корн во рту, глазеть в экран.
На елке метери-природы детки, как лампочки, перегорают.
Искрип икра — в пумане. Паюс
одинокий. Метать мятеж.
Лазурь, огни пучины, мерцание медуз —
балетных пачек незримых балерин —
плывут, колеблемы... Куда ж им плыть?
В надир луна, кулисы моря с серебристой щелью.
О Богомоль! Что снится моли? Узор? А розу —
в зеркало вонзить, узором.
Ночь с плеч, пусть капится — к сосцам курящимся. Не млеко —
кровь пролипа, ее лекало.
Акулы в правах —
стоят на плавниках, не телятся: где юг, где клевер?
Бог Тщеп — Верховный Бог. Акул Купала. Раму
мыла. Расслабься, детка, здесь живут:
живьем. Здесь море
с зеркальцем и шпилькою во рту —
светает, чуть дыша, взрослея.
Вот берег, вот песок, вот замки из песка, головку держишь?
Ом Ваги Шори Мум, Сережа. Мол, закрывай ворота,
Матка-Суббота! Сжечь, сжечь, и паклею запкнуть.
Дымок над кровом...

Что это меня всё заносит — то здесь, то там.

И что вообще происходит с речью, говоряще-утаивающей то, что.

А кто в перемочке живет? А ты кто?

Вот и Руднев спрашивает: «Отличается ли поток ассоциаций невротика (то есть среднего городского жителя XX века) от потока разрушенных ассоциаций шизофреника? Ведь если исходить из того, что язык это цепочка ассоциаций, то самый нормальный язык это как раз язык шизофреника. (...) Вероятно, не будет бессмысленным сказать, что именно при шизофрении в сознании человека открываются такие истины, которые нормальному человеку открыть «мешает» язык, именно для того мешает, чтобы человек не сошел с ума».

Ну да, ну да, уж лучше посох...

К морю сходил. На вокзал похоже. И ножи глотает. Как память.

Хорошо бы лодочку запустить — серебряную, со смехом.

Плавала бы она по морю и смеялась на все голоса, день и ночь кружась по воде, танцуя.

А кто в люльке серебряной? Тайна.

Или храм-улыбку построить. Часовеньку-ходунок. Смехом расписанную, его историей.

И чтоб служба веселая, хор смеяльный, воскуренье Улыбки. Храм и часовенька в виде буквы Ю, кривозеркальные.

В Юрзуфе живу я, на улице 60-летия Пуруши СССР.

В тихой гоморре, горы и море.

Ежедневно ложиться перясть сознание, чтобы наутро вставать, приходя в себя.

Годы антропоморфея, антропоморфия.

Троица-жизнь, два к одному.

Безбожно, бесчеловечно жить после тридцати, грех и срам.

Дерево растил, а посадить забыл.

Вырос, а позабыть забыл, сохнет.

Не выкарабкайся отсюда. Как муха на липучке. Сколько ни дергайся, жужжа, — вязнешь.

Есть такие мушки в Крыму — едва с горшка, слепые еще, а уже человеконенавистницы. Весь дом липучками обвесил, вьются вокруг, хохочут, югенд-парантинки, мухобойка — лапта им, забава, лишь воздух сек.

А как допечешь — замрет в воздухе, прицелится и срывается с места, вонзаясь в глаз.

Всей своей жизнью в зрачок бьет, камикадзе, ударом с ног валит.

А потом выбирается, как из горящего самолета, и в слезе по щеке течет окровавленная.

Ветерок набежал, задернул море, как жалюзи. Кто там — вдали, снизу — раздвинул щель, прильнул глазом, смотрит?

2 7 а п р е л я

Здравствуй, Варел, ты все молчишь, *ки*, за щекой *тая*, мудрец-леденец.

Годы скользят — плавуницы-водомеры. Ни облачка в небе, девичье, пупок с колечком — сверкунцом золотым.

Пишешь ли ты? Ты хотел так писать, чтоб тебя искали — в селах, силах, взвесах — не находя.

Смей — дух изгнанья. А Бог — несмеян. Ы.

Удил сегодня — женщино! Вышло на сушу, дуру, вымерло.

Нет Ж. Жесть, ожесточенщина.

Ласки маленькие, куньи, длиной от 11 до 28 см, распространение повсеместное. Говеем.

Помнишь, у попа была собака? Разговелась, скотоложница.

Ж. нет, лю нет, мя нет. Что, б., есть?

Мокрицы, колченоженьки, семейство семенящих, о щемь!

О пост *indefinite* женьшеньщин!

День в ночь постприжен.

Вода — как дрожь в колене.

Наживлен ты, но жив ли?

Кутру опустит, сперпится, не слобится.

Печаль в начале, густоброва.

Пойду пройдуся.

У моря был, видел его: лежит. Привыкло.

На обратном пути — мелом на ржавой стене гаража, почерк неровный, размашистый, раннелатентного возраста, без препинаний:
«Знаешь чем я лучше тебя? Тем что я не закиваюсь на пустяках. Хотя бы этим мир я все же лучше тебя».

Представь себе пустынный поселок, море вдали — такое же пустынное, и эти аршинные валкие буквы на мятом железе гаражной стены над оврагом.

Был бы фотоаппарат, прислал бы тебе граффиточку этого ревнивого пришельца, ей бо.

Вчера, у моря, ребенок (соседский) подполз и уставился на меня. Сидим с ним на гальке у воды, он меня за нос держит, воркующий улыбалец, затаенный-трехлетка, Давид.

Я попрепливаю словами воздух — в никуда, никому, наугад. В том числе, почему-то: «Маша, пихо!»

Он вдруг выхватывает именно это и, переставив местами, отчепливо, очень по-взрослому произносит: «Тихо, Маша». И, задумчиво помолчав, добавляет: «Папа — дырка».

Это первые в его жизни слова.

Море с лодочкой-заколкой, вынь ее — и рассыплется вся копна. Пойду прилягу.

В ч е р а

Событийно-восьмиконечное онаон приподнялось на выплетенном из пульсирующего узора женственном локотке, глядя: молнии шли гуськом, приседаю, по кругу, центром которого было «езде» локотка и, особенно там, на вершине утеса, над морем.

Вспышка: пароксизмальный, жаром запекшийся, меркнувший шов; море вздувалось водянойкой под ним, стекленя.

И (парафиновый оплывающий локоток поворачивался на оси) вздыбленной шерстью искрились бегущие холки холмов.

Задняя перебежка.

Как в отблесках красного выуживаемый пинцетом из ванночки и удерживаемый на весу за уголок нежный глянец с проявляющимся изображением, так? — осьминожное чувство, переползающее себя, опираясь на подрагивающий локоток, этот люфт меж двумя, тахикардия разрядов.

Антропопунктура пространства.

Этот растровый путь от себя — неделимую дробью подобий.

Где ты, тень?

Здесь я, оборотень.

Выразимся яснее. Молнии образовали пляшущий замкнутый круг диаметром около 15 км. Центр круга — озаряемый отблесками полуразжатый кулак скалы над морем.

Молнии — каждая — как огненный баобаб — от звезды до земли.

Они шли по кругу, трощась, оседаю, искрясь.

От 10 до 40 видимых стволлов одновременно. Со средней частотой — 5 разрядов в секунду.

300 в час. 1150 за три с половиной часа.

В абсолютной тиши, без грома, без единой капли дождя. Над безлюдным ночным поселком.

«Локоток» принадлежал женщине, с которой я выбежал из трепетавшего в световых пароксизмах дома. На локотке над обрывом лежали две головы — ее и моя.

Утро. Ходил к кошемиру: лежит, мурлыка, млеет, коготочки о гальку почип. А над ним солнышко — египтенок, дитя.

Было это в Киеве, шел я по влажной весенней улице и вдруг ощутил в своей руке маленькую горячую ладонь.

И хотя мы так ни разу и не взглянули друг на друга, я знал, что он в тех же зеленых сандалиях, коричневых шортах и байковой разноцветной рубашке в запястьях, идет, глядя под ноги, крепко держа меня за руку: я, пятилетний.

И нет ничего в этом мире, что было бы ближе, роднее друг другу.

И нет большей пропасти, чем между мною и ним.

И сердце — одно на двоих — как понущий ночью, зовущий на помощь глухонемой.

Так длилось и длилось. Я дрогнул, рука опустела, я вышел на берег, один.

1 . 5 . 0

Привет. Души, как говорит Плотин, похожи на амфибий; то живут по сю сторону, то в попустороннем мире — смотря по обстоятельствам.

Моя душа пишет тебе по обстоятельствам поезда, который уже второй день стоит, подпрыгивая на месте, а деревья вдоль него бегут в Крым из Р. Мапушки.

Летите, ле-ди.

Как там моя березонька в Гурзуфе, чуть не в море вбежавшая, дрожит, легконогая, белым-бела, кто? — медсестричка меж двух огней рукопашных.

И пуземочка пальма льнет к бедру ее головой, а та ее то приобнимет, то отпустит. О лесбии лона, вавилоня древесного, сна развесного, весна, пишу.

Отпойти в тамбурок, переглотнуть сентиментальное, сжать руку в кулак — ту, что вдруг опустела.

Так с кулаком и живем, а что в нем? — дунь...

2 . 5 . 0

Бог мера ма. Мериу ее живота.

Гора Ра. Арарат воп-вод.

Иван-да-Марья, двуглавое.

Орел да решка, орешком.

А ты из ребра, Мария, двустворчатая.

Матка-йога-Босха. Маг-долина.

Ман-долина. Чувшь, как она кружит в чреве твоём,
во влажных его потьмах:
яйцо на ладони ея — как свечи пламя.
...мовочка, да не наша, Маша.
Чей отблеск в зрачке отверстый?
Танатоходец, рассвета ждешь?
Жги бель.
Голова в смирительной рубахе скрученных на запылке влас,
Савл. И глаз испод.
Как он сказал? — пожать руку воздуха напоследок?
Чем — ресницами?
И не выпустить из рук-ниц-лес.
Детская болезнь *жизнь*.
Как он сказал? — нянька спала укладывать отца спать, превратившегося в детскую косточку?
Веришь ли ты в то, что говоришь, пишешь, веришь?
Как по карнизу идти лицом к стене, скользя грудью, без рук.
Лицом к себе: ни стены, а в руках пальцы.
От человека павшего круги расходятся в небе.
А от ставшего на ноги — по земле? А крылья?
В спину вросшие, как ногти в гроб. А крылья?
В ножнах. Как он сказал? —
но сабля войны остаток моя единственная плоть сабля мера моя вера.
Зеркало обоюдное. Ножницы-стригунок.
Саблей станцуй с осой, гений талии.
Крым на карте земли — генипален.
Жить и вдаль глядеть.
Грек, похоже, жил полулежа.
И так далее. Далее:
рыба здесь на голый крюк прет;
тянешь из бездны мрудной, лодку крена, блестящие гилянды.
А наживишь червь или иное:
споят под водой у крюков, глядя,
плавники, как педали, крупят — туда-сюда,
да цепи нет.
Сабли нет. Крови нет. Нет клева.
Господи, помилуй, Господи, не помнящий родства...

3 . 5 . 0

Сидел Бог у дороги. Мимо шел человек.

— Возьми меня, — сказал Бог.

— А что ты можешь?

— Всё.
— И что ты хочешь взамен?
— Ничего.
— Ничего? — задумался человек, и сказал: — Нет.

Гессе в «Волшебном детстве» пишет о крохотном «человечке» с сомкнутым ртом, который являлся ему в минуты сомнений, указывая путь, и вдруг навсегда исчез. Этот мальчик-регулятор, этот пляшущий камелек путеводный, был для ребенка больше, чем Бог, и ближе, чем мать.

Эти признания пишет уже старик-уроборос, посасывающий хвостик своего хвоста.

Но не удержаться за хвост ящерицу, настоящерицу, эвридику.

А змеи из кожи вон лезут, сипя пастью, в небо кругля губы, в очках солнцезащитных.

А потом на пнях и сучьях — капроновые чулки их, черновики в стрелках, нрзб., ушли ножки, спекли голые, как ручки.

И ангелы голыми каплями падают с неба, как пластмасса горящая.

И дети встречным потоком восходят: то — как мешочки с теплой золой, то — напросвет, все в водяных знаках.

Что вверху облака, то внизу обувь, — сказал один.

Жизнь — как обрыв киноленты, лишь трепет экрана, — сказал другой.

Третий сказал: — Близнецы-ножницы.

А *морюла* — семь первых дней жизни зародыша — переводится как *туповая ягода*, шелковичный плод.

Стоит шелковица, Туп мира, с пупками розовыми, зреющими, и на листьях ее шелкопряды семят на месте, окукливаясь, и дети на ветвях сидят с черной записью на губах.

з о м а я

Это как глухонемое прощанье сквозь пыльное окно вагона с твоим отвесным лбом, друже, прижатом к стеклу, со взглядом украдкой на перронные часы с дрогнувшей стрелкой, с безотчетной ощущью карманной мелочи, с брэнчаньем назойливых пустяков, что еще недо..?
Небо?

Что вверху Троица, то внизу Трезубец. Что вверху М, то внизу W.

Знаешь, какой символ Матери у египтян? Спервятник.

Спервятником же и мировая душа — Хаммамип — разрывает себя на части, на частные души: твою, мою...

Г у р з у ф , м ы с А ю Д а г а , т 8 и ю н я

Здравствуй, Варел.

Время это дитя, сказал Гераклит. Оставим дитя, высвободим ладонь, отойдем на шаг.

Твой адресат снова в Гурзуфе, он — как ты заметил — на мысу Аюдага, в дикой скалистой бухте, голый, сидящий на валуне с подзорной трубой среди бакланов, дельфинов и чаек. Куда ни глянь — день седьмой, раю-дажный.

Оставим дитя, подойдем поближе, спанем на траверзе бухты, понаблюдаем его, прильнем глазом к той же трубе, что он держит, но с другой стороны.

Кто он нам — персонаж? Кто ты, Варел, себе? Это мое Яго. Да и телом мавр. Зайди, Варел, со спины, взгляни через его плечо — что он читает?

«Если только подумать, то придешь к заключению, что все, что погибает, собственно, никогда взаправду и не было», Шопенгауэр.

Вот и ты, Варел, говоришь: человек человеку — призрак. Призрак невозвратимых дней. Как природа — при родах. Повипуха, то есть. - А кто ж роженица? Именно. Дай ему карандаш, пусть отчеркнет волнистой.

Он слепо озирается по сторонам себя. Кто мы ему? — его присутствие.

Девять умбристых амфор снялись с мшистого валуна, лепяп, выгнув шеи, хлеща по воде крылами, пригнись. А он говорит: баклажки, крылатые моресоски.

Опложил книгу, надевает штаны, кроссовки, майку с надписью на ангельском языке: *зеленые помидоры в той харчевне, где не свистят.*

Карабкается вверх по сыпучему желобу, выбираясь из каменного мешка со спящей прорехой моря — вверх, к сидящему на корточках подлеску, вцепившемуся узловатыми пальцами в пепельно-бурый склон. Оглядывается через плечо: чайки парят под ним.

Подплывем ближе. Книга перелистывается на ветру, полог палатки, ютящейся в глубине бухты, откидывается: девочка, сидя в проеме, спросонок глядит на восходящее солнце. Губы ее приоткрыты, голова чуть покачивается, как бы убаюкивая себя-его.

Беатриче. Идет по камешкам к морю, держась за луч, балансируя меж землею и небом, вся — проводок оголенный, тринадцать с половиной вольт, с искоркою сережки, сверк золотом — обернулась на близящийся топоток пятиногий каплящихся по желобу камней.

Запрокидывает голову, видит его сквозь чаечный росчерк, съезжающего по осыпи в клубах пыли, с корявым бревном в обхват.

Она машет ему рукой, он ей кричит и машет бревном: в нишу, в нишу прячься!

Камни уже бегут по пляжу, рыщут, стуча зубами.

В трухе бревна, под корой, туча кипящая муравьев: рыжие, все в шлемах с поднятыми забралами, легионеры, рать за ратью вышагивают из бревна,

о Рим, труха империи, разгул упадка!

Где египтяне, чернь где, пирамиды?

Бревно, цилиндр, свиток. Лапунь латыни.

Рим рыжих.

Он дует в уголь — тигль; тигр

ворочается в теплом пепле,

лизнул лицо, дымком расплелся,

запих, прижавши уши — взвился.

Она стоит на валуне у моря
с зеркальцем
и чешет лохмы охры.
На шаре девочка в зернистой дрожи зноя.
Земля кренился,
и девочка, как мед прозрачный майский
течет, перетекая в зыбку моря,
плывет, и дно под ней — разломленные сливы...
А он все крошил свиток муравьиный
и передает огню, в дыму танцуя,
поет и трет глаза, и дует
в горящий город,
Нерон, Иродиада, суп вскипает.
Два голых тела, блаженные, сидят, едят. Дельфины
пасутся, щиплют море,
пыхтят сквозь третей глаз.

Он снова с книгой. Отчеркивает: «Что такое для человека его Исаак, это каждый решает сам для себя», Кьеркегор.

Пойди спроси, Варел, не дочь ли она ему? О барашки морские, правоверные... До инцеста всем далеко!

Вчера было полнолуние, они сидели у самой воды, глядя на нее, восходящую по ту сторону моря, где-то над Синопом. Слева мигали зарницы, справа, вдали, зеленый огонек корабля, переходящий над ним в звездное крошево.

Они выбирают звезду — одну на двоих, нижнюю угловую в дабл ю Кассиопеи. Пьют мускат, ливадийский, выдержанный, из горлышка.

Он рассказывает ей о Трое, Елене, Авлиде и Ифигении. Говорит: быть может, в эту самую бухту, где они сидят сейчас, высадился Орест, приплывший за сестрой своей, Ифигенией, вынужтой богами из жертвенного костра в Авлиде и перенесенной сюда, в Тавриду, на Бараний лоб, то есть Аюдаг, где она воздвигла в честь спасшей ее богини храм Девы.

Останки этого храма, говорит он, глядя ее голову, лежащую у него на коленях, за нашей спиной, на западном склоне горы.

И теперь, после супа, упирая рот тылом ладони, она возвращается к этой истории:

— ...ты говорил, что они, уступая варварам-чужеземцам, насыщали их вином и любовью, а на рассвете, когда догорали факелы в храме, они отрубали им, грузным и непробудным, хмельные головы и, ухватив их за волосы, швыряли с размаху в море, и головы капилась по осыпи, подпрыгивая на уступах, застревая в кустарниках, глядя вверх или вдаль на изредка проплывающие корабли...

Она говорит не так. Она говорит, как проталкиваются сквозь толпу. Ее речь в расшнурованных туфлях. Главное, он ее видит — губы ее и припанцовывающую ладонь, и тогда понимает.

Они поднимаются по осыпи, направляясь на западный склон, к останкам храма. У вершины, взбираясь на отвесную скалу, он подсаживает ее снизу, в сторону солнца, легшего подбородком на верхний камень. На ней белая шелковая майка и джинсовые шорты, наполовину прикрытые его ладонью. Прижимаясь к скале, она говорит, что любит его и очень ему благодарна.

Всю ночь они, лежа как две эмбриональные буквы S, синхронно переворачиваются с боку на бок. Наутро он отчеркивает: «Грех есть обморок свободы».

И ниже, там же: «Девяти месяцев, проведенных в утробе матери, было достаточно, чтобы сделать из меня старика».

Расстилает на берегу полиэтиленовый мешок два на полтора метра, она вползает в него, расправляя по углам, он кропит мешок морской водой, она зябко передергивает плечами, то ли морщится, то ли смеется, поджимает к животу колени, он грозит ей пальцем, возвращает в прежнее положение, она, дразня его, барахтается в мешке, он снова откладывает фотоаппарат.

Они стоят на валуне, торчащем из моря. Она — в трепещущем на ветру мешке, узорчатом, капельно-пенном. Он фотографирует ее с нижнего уступа, напросвет, контражуром, так, что голова ее заплываает солнцем, горящее как нимб в ночи меж ее раскинутыми руками.

Сегодня ее «муравьиный» черед. Она у костра, на корточках, поддувает. Он открывает книгу.

«В моем (вечном) рождении рождены были все вещи, я был первопричиной самого себя и всех вещей; и если бы я захотел, то не было бы ни меня, ни всех вещей; но если бы не было меня, то не было бы и «Бога»; я первопричина того, что Бог есть «Бог». Нет необходимости знать это», Мейспер Экхарт.

Прикуривает, пищет: сюда же — Анаксимандр, ножницы. Листает, нашел.

«Откуда пришло к отдельным существам их рождение, оттуда, по необходимости, приходит к ним и гибель».

По необходимости, повторяет он, глядя на выползшую из-под камня к его ногам сколопендру.

Эта ворсистая скрученная пакля толщиной в палец и длиной в человеческое лицо замерла у его ноги, поблескивая на солнце мутно-желтой панцирной чешуей.

Сколько же их у тебя, шепчет он, осторожно поджимая свою левую. Сорок две, если не сбился? Говорят, ты ядовита лишь в мае, но кто знает, когда у тебя твой май.

Девочка зовет его из дымовой завесы, подражая его низкому бархатону.

Перед тем как закрыть книгу, он отчеркивает волнистой: «Как ребенок прячется от матери за кресло для забавы, так Бог играет в расставание с Богом путем творенья. Мы есть эта Божья шутка», Симона Вейль.

Поштармливает. Небо, бычьась, роет море, рвет пену, прет пыль брызг. И, вдруг обмякнув, отходит, помахивая хвостом.

Они сидят на гальке в свитерах, лицом друг к другу, с развевающимися волосами, широко разведя колени, придерживая свободной рукой стоящий меж ними котелок.

Голая женщина, думает он, глядя на нее, — как глаз без век.

Она протягивает к нему ладонь, он кладет в нее чесночную дольку.

Адам согрешил с Евой после того, как она оперилась.

Как ты думаешь, спрашивает он ее...

Но она уже у воды, не слышит, танцует, пытаясь подступить к морю, зачерпнуть его котелком.

Волны уж с нее ростом, пубертатные, да распут быстрее, наливаясь, валясь в пену.

На камне, метрах в пятнадцати от него — пара чаек: гнуты на ветру, вскрикивая.

Он прислушивается, примериваясь к их голосу.

Кошачий с собачьим?

Пробует звук. Еще. Так проходит около часа. Они приглядываются к нему. Он продолжает.

Одна из чаек, опустив голову и выпянув шею, клопочет ему в лицо. Он отвечает ей тем же, затем на другой манер — аритмичными всплесками.

Она срывается с камня и, приземлившись у его ног, встает ему.

Он встает, уходит.

Девочка смотрит на него, как вдаль, чуть наклонив голову.

Он обнимает ее, прижимая к груди.

Они приваливают грузными валунами рвущиеся из рук края палатки, укрепляют веревки, вползают внутрь, задраивают полог, затепливают лучину в консервной банке.

Волны, врываясь в бухту и громоздясь друг на друга, валятся, как бурелом, откатываясь и подступая все ближе.

Б а х ч и с а р а й , т и ю л я

Переведем трубу на северо-запад: вон он сидит на вишневом дереве; шорты, майка «зеленые помидоры», вишню ошципывает в кулек.

Теней театр. Ташист-трехперстник. Крестит плетущие угольки.

А на что вишня? Знать, на вареники: яйцо в муку — кизил-кум-королю.

Сахара, Цукраина!

По три сидят, вишенки, лицом в колени, шелковые, без косточки, на мучном коврик.

И булавка лежит в стороне, истекая, сладострастница.

Уточним контекст, наведем на резкость.

Он на дереве, за ним, в глубине сада — топчан, на топчане она, нога туго перебинтована у щиколотки, в руке книга: «Тайны горного Крыма».

Автор книги — пучная дама, москвичка-крымоход, сидит в доме, поглядывая на вишневое дерево, пишет.

Дом «волошинский», музей Нагаевской и Ромма (брата режиссера), хозяйка-наследница — Майя, сухопарая жрица возраста ветра, к полудню — солнца в дождь. В доме — картины, иго утвари, письма Шагала, скрипучая рукопись лестницы.

«Если хочешь, чтобы Бог услышал тебя, отойди дальше», — шепчет он, спускаясь с дерева, подходя к топчану. Она перелистывает страницу.

«Кирилл по пути из Хазарии останавливается в городе Фуллы».

Где это, — спрашивает.

Чуфут-кале, — отвечает он, указывая на дальний холм к юго-востоку от дома.

«Проповедует христианство язычникам, валит священный дуб, которому они поклонялись».

Где, — спрашивает она.

Он приносит носок с раскаленным песком внутри, чуть остужает, раскачивая, прикладывает к ее щиколотке.

Хорошо бы не трещина, думает, ласточка Большого каньона, не взлететь с осыпи, тайнопись йодовой сеточки, боди-арт, демочка.

А где брат твой, Кирилл, шепчет он, отходя. Кровь мифодится. Азбука насекомых. Кома полдня. Безлюдь. Сарай-бахчи.

Капится сливка, падалица, от дома вниз по тропе, огибая Ханский дворец, к Чурук-су, речке-вонючке, г-Нилю.

Дух Гирея из тьмы гробницы следит за нею: плывет сливка по Александрийскому меридиану, по Днепронилю, по сукровице КыРыМы.

Что там ищет Кирилл в Херсонесе-Херсоне-Корсуни?

Мощи св. Климента, ученика ап. Петра.

Какого такого мента Климента ридный Федир? Читай.

«Климент был сослан в 1 веке в Инкерман и за успешную проповедь христианства по повелению императора Траяна был утоплен с якорем на шее. Обретение мощей произошло 30 января 861 года».

Снялись с якоря, то есть.

Воп и мы на якоре, — говорит он, разбинповывая ее ногу. — Видашь, за успешную проповедь. — Соединив лодыжки, сверяет, осматривая гипотому потама. — Читай.

«Часть мощей Кирилл увез с собой и подарил их папе римскому в обмен на разрешение продолжить богослужение на славянском языке. Мощи были помещены в церкви св. Климента в Риме, где позднее был похоронен и сам Кирилл».

Часть, — спрашивает она, обхватывая его выпянутыми ногами, — а где ж другая?

«Другая была увезена в Киев князем Владимиром. Так мощи одного из первых христианских святых были разделены между Востоком и Западом».

Редкий случай деления человека тупым предметом на две половины, вспоминает он заголовок одной из занятных статей в сборнике судебно-медицинской экспертизы.

Как же звали этих белохалатников с засученными рукавами и серьгой в ухе? Солохин?

Что, — переспрашивает она.

Солохин, — роняет он, уходя, — док. мед. наук Солохин и... И Тарловский. Лупа, метр, циркуль, один пишет, другой диктует, снуя меж разорванными частями тела: от нижней к верхней, через дорогу. Как нитка, штопая этот зазор...

Что? — оборачивается.

Кто такой Пурушу? — спрашивает она поверх книги. — Климент?

Да, — он смеется, — а праторговец органами — азбучный Некрофил.

Ласточки вьются над домом, стрел татарва, наконечники блещут, кованые, в косом луче.

Раздвинем округу.

Ниже, глядя от дома, Ханский дворец. Фонпан слез в девять мраморных пригоршней. Терзаемый лихорадкой, некрасивый двадцатидвухлетний Пушкин, смуглым и цепким взглядом следящий за ржавой каплей, стекающей из фонпана.

Аборигены с гардеробным камуфляжем, разваленным на скамьях в дворцовом дворике, 7 гривен за фото, купюр от татар.

Сады роз. Заросший блиндаж-мавзолей Диляры-Марии-Потоцкой-Бикеч-Гиреево-Пушкиной.

Игрушечные мечети. Взаправдашние чебуреки с псиной и пр.

К востоку: Кырк-ор, то есть Чуфуп, кале караимов — около часа ходьбы по ущелью.

Грады пещерные в сумчатых исполинских обрывах, вспоротых бивнями.

Улицы врезаны в лобную кость запрокинутых к небу голов этих круч, этих сфинксов, меняющих прижды на день очертания, веру, язык и состав своей крови.

Здесь сошлись и сплелись под звездою Тавриды крест, полумесяц и магиндовид.

Нет караимов, уперты с лица.

Нет хазар, неразумен словарь.

Скифов нет, кобылица. Тавров нет. Нет масонов Эллады.

Хан удавлен. Спи, Родос. Баю-бай, Мипридап.

Нет грюс-готов. Нет асов.

Там — Порта. Там — Смирна.

Здесь — вольно, здесь — разойдись.

Тропа Трапезунда.

Как гуца кофейная — понп.

К югу — княжество Феодоро, Мангуп — Отец, хазарская маңдорла.

И далее, у юбки моря: Дори, страна берегов отчизны дальней... — для греков.

На север — Ор, на запад — Каламита. В зенипе — тьма, в надире — дева.

Если хочешь, бормочет он, отойди дальше. Куда? Озирается.

Сарай, бльскавки, дабл над головой, в саду сидит, опишем живность.

Пес, породу которого не вспомнить, похоже на «розенкрейцер». Черный. Лежит, как приступенный парус, у ног.

Встал — бурелом долговязый — лег, обхватил кочергами рук, жестом «о господи» облипый мазутом кирпич головы, стекающий на траву.

Днями шатаясь пришел кровавый, чуть не зарезали на чебурек.

Лег, выпянув руки к рассвету.

Тавр, если б не звали — Жак.

Еще коты. Двое их, лежат, лесбияны: один Эрос, другой Танатос.

Друг на друге лежат — то свастикой, то орлом двуглавым.

Один черный — голова да хвост, а боками ржав с опливом. Другой умбрист, болотисто расчесан, ушки — юрты во тьме, теплятся, а глаза — Египет!

Спят.

Черный начинает и проигрывает.

Он сверху, сон его чуток, как лик на воде.

Проснувшись, глядит египтянину в очи, сощуренные во сне.

Весь в дрожи порыва — прильнуть... и, боязнию объятый его распревожить, близится, вьется за вдохом его и, целомудренно голову отводя, пьет его выдох.

Дант, восходя по лучу, не глядел так на Беаприче!

Изнемогая нектаром зажмуренных глаз, как черный пягучий цветок, он клонится к чуть приоткрытым в высокомерном ослабе деснам александрийца.

Юрты ложатся подрагивая, как задуваемые ветерком, на запрокинутой голове.

Он обнимает его за шею, левой поддерживая за бедро, но — не касаясь!

Из-под крыльца в выцветшем маскировочном комбинезоне выползает жаба. За ней вторая. 22.30. Час охоты. Инсекты поданы к лампе над дверью и на полете к залитому светом крыльцу.

Прыжок, остановка — будто глохнет мотор.

И вдруг переходят на рукопашный шаг с приподнятым тазом на полусогнутых ногах — технички-уборщицы!

Подошла к стене, замерла. Прыжок — головой об стену, отскок.

Сидит, отдуваясь, пучась.

Прыжок — как вареным яйцом об стену; оглоушенная, пережевывает, смаргивая.

Вторая, как танк, разворачивается и, глуша двигатель, палит языком, плюет из ствола по «фоккерам».

Кот, приподняв голову, глядит на нее из-под руки, как вдаль глядят.

Если Ирод вырезал всех младенцев мужского пола, то у Христа не было сверстников, так ведь?

Жизнь Христа — смерть детей.

Будьте как дети!

Спас на крови, нет ему современника, разве что женщины...

Вот плоть и кровь моя — фантомная — зарезанные младенцы. Вот крест.

Пес подходит к нему, кладет голову на колени, поскрипывает, как ночная мебель.

Вчера, возвращаясь с рынка на маршрутном такси, он увидел сквозь мутное стекло машины большой типографский плакат на облущенной стене поселкового дома быта: «Купим волосы у населения». И ниже, помельче: «до 35 см — натуральные, от 42 см — седые и крашенные».

Вышел у Ханского. Татарин у входа в дворец выгружал на лоток хрустящие водоросли пахлавь; подпавшая и обмякая на солнце, они казались еще живыми.

Муэдзин запел; губные и носовые, передне- и заднебные фонетические пчелы, сочась из мечети, вязко роились виширь, обволакивая ущелье. Турецкая фонограмма, фанера сур.

Что он поет, спросил он тапарины. Оказалось, что слов эпических молитв они не понимают.

Идет по улице Р. Люксембург к тому месту, где был найден двухлетний мальчик, общий возраст которого 50 000 лет.

В небо глядит: облака плывут, бельевые.

Люди, шепчет, делятся на лунапиков и подсолнухов.

Опусти трубу, Варел, возьми его за руку, мы зашли достаточно далеко.

Т е п е - к е р м е н , 9 и ю л я 2 0 0 0

Здравствуй, Варел.

Пишу тебе при лучине и головке ящерицы, замершей у руки в зыбкой полоске света, а тело ее, как и мое, во тьме.

Письмо это, вероятно, отправлено уже не будет — не с кем.

Пещерка, в которую я вселился, взойдя на гору, — одна из сотен здесь черных дыр, будто от вложенных в темя горы перстнов незримых.

Меж собой эти крипти, вырубленные в скале, — как сны забытого имя свое человека.

Кромлех, менгир, дольмен. Гора в долине: лучи, скрещенные на ее срезанной небом вершине. Горящий жертвенник. Плывущий в облаках реликт.

Гомер селил здесь листригонов, Страбон и Плиний — троглодитов, мы — тавров. Вся эта пыль словес ложится у подножия Горы, как пес, и голову кладет на лапы перед Духом, который здесь есть всё, кроме времени и воды.

Вчера был день, Варел, без тени. Стоял меж сломленных колонн у жертвенника в храме, за спиной — погребальные желобы-оптоманки, на коленах стоял перед крестом из двух перевязанных вервием бревен.

Пощади, говорил, мать. Дай ей горсточку жизни из ладони Твоей еще. Опустив голову говорил, закрыв глаза. Не себе молю, и не Тебе молюсь.

А кому?

Ветер дул в пролом за крестом, как в горло пустой бутылки.

Ты иди, Варел, спиной вперед иди, спиной и ладонью — от Чуфута через сумрачно-мшистое караимское кладбище вниз в балку и вверх к небу Девы, к кермен кыз, висясь, как плещ над пропастью, дрожа в расщелине, как топ кадык орла, косящего с уступа мутным глазом — в тебя.

Ну что, на пальцах кинем — кому лепетать? Ты — два, он — восемь на обеих, взмыл.

А ты — губами выживая путь — куда? Гора твоя, Мандорла, за спиной. К ней нет прямых дорог, вот и водит тебя, по споронам кидает, на ребро кладет.

Святилище? Кладбище-нараяма? Заведенная за спину рука второго Рима? Что в ней — яйцо, пещерка староверов-беглецов поры Юстиниана?

Яйцо с проломленным над пропастью окном.

Окно, в нем звезды — вровень взгляду на животе лежащего, задувшего лучину человека.

Я , О Н , П О П

я

1

У него черты моего лица, и я ем его рукой, к этому надо еще привыкнуть. Место, где мы находимся, хотя — как сказать. Лучше не говори, говорит он, собирая каплящиеся по склону камни птиц, разводя костер, перьевой, нечетное, не взойдет, вид на море зашторен, береговая щель белеет, как кость, скоро придет почтальон.

Третий из нас (мы говорим — *тот*) живет у нас за спиной, на вершине Тепе-кермен, в яйцеобразной пещере с проломленным в небо окном. Три дня пути до него по горной тропе на север от моря, в глубь полуострова, но не время еще и не полвремени меж ладоней, извлеки его пренем так, как предки твои извлекали огонь.

Стало быть я, он и топ, и один из нас женщина. Кпо? — это еще предстоит.

Дикий пляж, ни души. Почтальон, приближаясь, раскладывает на камнях книги — то скрываясь за валунами, то возникая — сколько ж их у него?

Мы следим из укрытия можжевеловых лап над обрывом, он проходит под нами и исчезает за мысом. По всему побережью, от мыса до мыса лежат, перелистываясь на ветру. Скоро вернется и соберет, завтра явится снова.

Как глухонемой по вагонам, он говорит.

Может, в этом раскладе — самом по себе — есть некий смысл, говорю. Может быть, это символы речи, и пытаюсь прочесть их узор.

Ты вчера, говорит, вышел ему навстречу, и что? Шел весь день до заката, но расстояние меж вами не сокращалось.

Вон он идет, уже собирая, переведи часы, говорю, значит, ровно два.

Два — это то, что мы, то, что между одним и тремя: человек, два, диалогос. Меж чем и чем? Меж единицей и тройкой, меж единством и множеством, динамическое равновесие меж сердцем и пылающими вдаль копытами.

По обе спороны, говоришь? Не думаю. Мы-человек, говорю, куколка. Еще не бабочка, уже не гусеница. А где же «я» этой проицы, спрашивал один, где ее сущность, душа, энтелехия? В бабочке, ответил ему другой. Льстивая мысль. Я бы сказал: двоица ее сущность, меж единицей и тройкой, едва касаясь этих «миров иных».

Он ставил на огонь котелок, обжигая мне руку, уходит в хижину. Женщина — переход мужчины в дитя, иницирующий лабиринт; входишь на этом, выходишь на том, но с иным именем. Вход через выход, жизнь через смерть, через женщину-лабиринт.

Есть три типа лабиринта, говорит Умберто Эко, первый — тот, где правит рок и потому заблудиться невозможно; второй — маньеристский, «сады блужданий» со свободой выбора; третий — ризома, хаос из «клубней и волос».

Хижина наша изнутри ребриста, а поверх — шура можжевелевая, дышит меж ребер, ионизируя, на животе лежа, а головы нет — дыра, а из дыры пяпки его белеют.

Звезда, говорит, днем и ночью в проломе стоит над тем, претшим из нас.

Ну да, говорю, Бальтазар, собирай птиц.

Смеется, выходит, крестя рот и опведя ладонь, как бы присаливает остатком вскипевшую в котелке воду.

Как глухонемой в вагоне, от камня к камню, собрал и дальше, не распыляя взгляд, давай-давай, смапывай свои снасти, стал, озирается, ну да, это я взял, ставь крестик, медлит, идет дальше, оглядывается, дорисуй ему претью ногу, подергивается занавеска, глядишь, еще и блеснет закатом.

Море играет мышцей, крабы ползут из щели, сварщики в крагах, идут со смены, он говорит, сизые угольки остывающих на дне автогенов. А теперь, видишь: стоят, задрал головы, руки вскинув — хирурги! — надень перчатки, уже подсохли.

Смерть хорошо горит, а эти ветви, полуживые, дымят в испарине, свиристя, постанывая сквозь зубы. Чего ж мы ждем, каких знамений?

На днях, когда он пытался приблизиться к своему дому, я стоял на границе округи — той, которую мы называем г-ф, этой вырванной смятой страницы с полями в едва различимых пометках людей, а за полем — кресты: перелетные пугала душ.

Я стоял и глядел, и скользил вдоль границы, ища то ли лаз, то ли мост, то ли весть, он пытался приблизиться к дому; дом, пригнувшись, приплясывал у него за спиной.

Если так, говорю, нам не выбраться, где-то кол воткнул в землю, мы ходим по кругу.

Три, говорит, переведи часы.

Есть только начало у мысли, не знает она продолженья, пути нет, и, стало быть, нет и конца.

Кашу мы варим гречневую, цвета марса коричневого с белилами. Мышлень, он говорит, это мысль под капельницей. И, пену снимая, морщась от дыма: мысля, следовательно болею, едва существую.

Человек с лицом Достоевского выходит из хижины, говорит: нет ничего более отвратительного, чем вид нормального здорового человека. Подходит к костру, берет горящую головню, отделяется от земли, печет вверх, обтекая ветви, мы ведем его взглядом над морем, перья из виду, но еще различим за ним этот дымок — веревочный.

Что же есть, спрашиваю. Молчит, роется в рюкзаке, достает консервы, нож, карандаш, рукопись.

Кашу едим, он просматривает страницы, лежащие справа от котелка, слевывая горошки перца — налево. Ем, думая: почему пишут сверху вниз, от дальнего края к ближнему, от вне себя к себе, к животу, от неба к земле, а не наоборот? Чтоб рукой не размазать? Тоже мне метафизика, рукопажная!

Некоторые перечеркнуты, он их изымает, комкая, подкидывает в костер, не долетела, слевывает, я придвинул ногой, сделал вид — не заметил, ушел, я расправил, читаю. «P.S. Не пора ли подумать о создании женщины — иной, альтернативной?»

И дальше, вычеркнутое: «Наупро перечитал, задумался над последней фразой. Альтернативой кому? 22-летний Вейнингер, за год до самоубийства, завершая «Пол и характер», делил женщин на две категории: Мать и Блядь. Меж двумя этими умозрительными полюсами и расположена Ж — реальная».

Обернулся, он стоит за спиной.

А что, говорю, ты делал, когда тебе было 22, где был твой пол и характер?

А мне, говорит, никогда не было 22, как, впрочем, и 14, и 35, пролистывает страницы, подносит к огню. Как, говорит, тебе это нравится, читает: «Вероятно, при вневременном эмпирическом акте создания человека мужчина взял себе одному все божественное —

душу; разумеется, мы не в состоянии объяснить, в силу каких побуждений это могло так случиться. Это преступление против женщины он искупает спраданиями любви, в которой он старается возвратить женщине отнятую у нее душу, так как чувствует себя виновным в похищении этой души. Именно перед любимой женщиной это загадочное сознание вины угнетает его сильнее всего».

Да, говорю, беря у него этот лист, безнадега этой попытки вернуть ее и объясняет, почему нет счастливой любви, и возвращаю ему этот лист, кладет его вместе с другими в огонь, глаза его вспыхивают, он отводит взгляд.

Щель меж морем и берегом стягивается. Серп, восходя, начинает блеснить дорожку. Долго молчим, до утлей.

Вон, говорю, видишь, несет живоп — рожать в воду.

А, говорит, та же, что и вчера, позавчера, и так далее: оплывет, ляжет на дно, родит и быстро выплывает из воды — к первому вдоху, и плывет к берегу, а он за ней, но выйти не может; он же дельфин, маленький, гибнет.

Думаешь, говорю, каждый день она рождает одного и того же?

Он улыбается: спроси, говорит, у него, и кивает на север.

У кого, спрашиваю, вглядываясь меж деревьев, здесь никого нет, ни здесь, ни тем более за чертой.

Да, говорит, признайся, и под ногами.

Вынимает нож, разве это земля, говорит. Выкраивает лопот, распирает между ладоней, подносит к лицу, долго глядит на них, нет, говорит, нет ее здесь.

Я опускаю руки. Поднимается ветер, тягучий, с подвывом. Гул нарастает — белый, с востока. Близится, белый и рваный, на черном. Точнее, черный на белом и рваном: вихрь бумажный, торнадо страниц. Там, из-за мыса, как будто их кто выдувает отсюда: над морем, над лесом, над нами — небо заносит, смежая с землей.

Где ты, кричу, спеленатый этой ползучей лавиной. Смех в ответ мне грудной, на странице пятнадцатой, подо мной, трепья снизу.

«Дельфины, во сне продолжая плыть, двоятся: одно полушарье спит, другое — вахтенное».

Первое, что я почувствовал, открыв глаза, — его отсутствие и, прежде всего, ладонями, которые всю ночь лежали у него под щекой, ладонями, а потом уже и всем телом.

Выйдя из хижины, всем телом, я стоял по колено в рыхлом бумажном месиве, всем телом, в этом разноязыком макулатурном вавилоне, озираясь по сторонам: земля с напшигованными и облепленными деревьями, вплоть до дальних газетных холмов, неподвижна; поселок в ложбине — папье-маше, скомканный, брошенный на подороге; и ворох моря — как птичий погост — иди по нему; и над головою — бескровное, ясное небо, без цвета — глядеть на него: всем телом, которое он, уходя, мне оставил.

2

...Ж. реальная. Вот что он пишет: «...в половом акте раскрывается все бытие женщин, раскрывается в высшей своей мощи. Поэтому здесь рече всего сказывается разница между матерью и куртизанкой. Для матери половой акт — начало целому ряду явлений; куртизанка же ищет в нем своего конца. Крик матери поэтому короткий, крик куртизанки — затяжной».

Таким образом, Варел, мы видим перед собой горизонтальную прямую с явно выраженными границами, т. е. отрезок М—К, именуемый эйдосом Ж, в котором реальное Ж представлено в виде гири, скользящей от деления к делению в ту или иную сторону, в зависимости от того, что стоит на весах. А что, перпендикулярное ей, стоит на весах? М, мужчина.

Мера она ему, вера ль? Что ж он так пягопееп к той почке псевдобаланса, к тому обмиранию мига псевдов-за-имности, со-вместности — с чем? — с полостью мира, еще безымянной, имя взыскующей от него, от ребра, от дательного-именительного падежа к родительному, к Еве, к жизни, поставленной на ребро меж двух миров — орла и решки.

Что ищет она, скользкая меж делений, на ребре танцующая? Имя? Валентность? Так ли?

«Я не решаюсь судить, — говорит Сократ, — даже тогда, когда к единице прибавляют единицу, — то ли единица, к которой прибавили другую, стала двумя, то ли прибавляемая единица и та, к которой прибавляют, вместе становятся двумя через прибавление одной к другой.

Пока каждая из них была отдельно от другой, каждая оставалась единицей, и двух тогда не существовало, но вот они сблизилась, и я спрашиваю себя: в этом ли именно причина возникновения двух — в том, что произошла встреча, вызванная взаимным сближением?

И если кто разделяет единицу, я не могу больше верить, что двойка появляется именно по этой причине — через разделение, ибо тогда причина будет как раз противоположной».

Что здесь делитель и что делимое? И то и другое — М, мужчина?

А что же тогда Ж? Знак деления внутри самого М? Признак его раздвоенности на это и то? Его ребро, вытесненное?

Так, Варел, Акварел, она — твоя вытесненная акварельность. Фантом вытесненного побой Ничто. Не знающий ни «я», ни «ты», лоскут родства не помнящей, побой кроимой, кровной бездны.

Река в груди, Варел, река в реке, как уж против течения вьется, с места не сходя, как муж, м-ж, двойной спиралью ДНК.

И дважды в женщину, как в акву, не войти: войдя однажды, уж сухим не выйти.

Ты скажешь: нет ее, одной и той же.

Я добавлю: вовсе нет. Ни женщины, ни аквы, ни печеня. Песок, и вьющийся по этому песку — ужом песок.

Ж мира — мираЖ, валгалла влаги, валгалище м-ужей. Кому/чему уж здесь альтернатива?

Читай.

«Женщина испытывает ощущение полового акта всегда, везде, во всем теле и от всех вещей». И ниже: «Белая женщина, имевшая раз ребенка от негра, впоследствии может родить ребенка от белого мужчины с ясными признаками негрипанской расы. Когда растение оплодотворяется несоответствующей пыльцой, то изменение претерпевают не только семена, но и материнская ткань...»

Далее он переходит к телегонии, то есть оплодотворению на расстоянии, или, говоря иначе, ксениям, подаркам за гостеприимство:

«Взгляд или слова порой достаточно, чтобы женщина почувствовала себя в полном обладании у мужчины. (...) Существо, которое прodelьывает половой акт между и со всеми вещами, может быть оплодотворено где угодно и всеми вещами».

В этом смысле, друг, Леда не так уж и далека, как ни кощунственно это звучит, от Марии. Или Даная — от Майи. Лебедь ли нижеет ее или перст Божий, дождь ли златой или слоны раздвигают ей ребра: «между и со всеми вещами».

Ж междуречья. М-жду-речь-я-Ж. К двадцати трем годам.

Тебе сколько, Варел? Возраст бабьего лета, время схождения в ад и восхождения отсюда — куда? К Беатриче?

Возраст души, расстающейся с телом: с(о)рок. Время обнимать и уклоняться от объятий — одновременно.

«До тех пор я кое-что знал ясно, — продолжает Сократ, — так казалось и мне самому и остальным, а теперь из-за этих исследований я окончательно ослеп и утратил даже то знание, что имел прежде, например, среди прочего перестал понимать почему человек растет».

Знаешь ли ты, что такое гетерогаметность? Генетическая неравноценность половых клеток. Так вот, у человека и млекопитающих гетерогаметен мужской пол, а у бабочек, птиц и змей — женский.

Вот над чем бы задуматься, вот отсюда бы начинать.

3

День был, как больничный коридор с тусклым ночником за стеклянной дверью.

Я ждал, надеясь, что он вернется. Взгляд блуждал по страницам, как бы сам по себе. Без меня.

К вечеру я разгреб хижину и топ лоскут земли, где было кострище, разжег огонь. Мысли пугались, взяли на полпути от него к почпальону, от женщины к буре, от претъего к «вот отсюда бы начинать» и вновь к телу, которое он оставил, к телу, придвинутому к огню.

Беря наугад из-за спины страницу, я выхватывал взглядом несколько строк и бросал в огонь.

Это случилось, когда уже начало светать. Видимо, с тех пор прошло около месяца, пожалуй, более. Вначале я искал наугад, в одной руке держа эту, стр. 12–13, другой лихорадочно перерывая округу вблизи того места, где ее подобрал. Потом изменил тактику: переписав текст, я вложил ветхий лист в планшет, копию сунул в нагрудный карман; продвигаясь от поляны на корточках и просматривая каждую страницу, я собирал их, одну за другой, в пачки, перевязывая вначале леской, а когда, неделю спустя, она кончилась — плющом.

Сперва я расчистил путь к морю, м. б. подсознательно думая еще и о почпальоне. Напрасно. Ни почпальона, ни начала той книги, ни продолженья. Месяц — ни дуновенья, ни признака жизни, лишь море, рыхло-рябое, если взглядеться, покачивалось во взгляде.

Спал я все чаще не возвращаясь в хижину. Там, где в изнеможеньи распягивался, разгибая спину, подгребая и наваливая поверх себя бумажный холм. Текст к тому времени я уже знал наизусть. Начало его совпадало с так называемым каноническим Ветхим Заветом — стихами 18, 19 и 20 второй главы Бытия.

«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника соответственного ему. И образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было ей имя. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему».

И заканчивалась тринадцатая страница также буквальным совпадением с каноном.

«Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал», Бытие, 6:1,2.

Между ними — текст, начинающийся известными нам словами двадцатого стиха второй главы: *И навел Господь Бог на человека крепкий сон.*

«И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и когда он уснул, взял от каждой твари земной, созданной им, и от каждого растения, и каждой травы полевой по семени их, и смешал семена, и создал из них женщину как одно из многого, и придал ей форму человека.

Когда же проснулся Адам, увидел ее и сказал: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей, жена моя, и назвал ее Ева, говоря: ибо она жизнь моя, из ребра моего.

И оставил их Господь Бог в раю среди ясного дня, и отошел в прохладу.

И был невинен Адам, не зная себя как одно во многом, и Ева была невинна, не зная себя как многое в одном. И столь хороша была она и днем и ночью, что любовался ею Господь, из прохлады глядя, говоря: вот лучшее, последнее, что я создал, — Жизнь.

И сказал Господь Бог: вот мир без Жизни, и лучшее в нем — Адам. И вот Жизнь, и весь мир в ней.

И вот, весь мир в ней, и нет в ней Адама.

И вот, нет лучшего в ней, а в нем — нет Жизни.

И опечалился Господь в сердце Своем, говоря: вот, Жизнь и муж ее, как вода и твердь, не ведающие ни себя, ни другого. И придвинул их друг к другу лицом, и возложил на них ладони свои, и покрыл их облаком, дабы соединить их.

И клубилось облако, скрывая их день и ночь, и за месяцем месяца. И, по истечении срока, вышел Господь из облака, и вслед за ним вышел Адам, и испаяло облако, и оглянулся Адам и увидел жену свою, спящую на правое, и плод пробуждался в чреве ее.

И поставил Господь Ангела сторожить ее сон. И провел черту между ними.

И стоял Ангел, глядя на Еву, и она улыбалась во сне, пропягивая к нему руки, влажные от росы, и складывая по слогам губы.

И дрогнул Ангел, прельстившись, и преспустил черту, и познал ее спящую, произнося все ее имена.

И она повторыла за ним во сне все свои имена, и все твари земные и птицы небесные, и все гады, пресмыкающиеся по земле, и всякий древесный плод, и трава полевая, слыша имя свое, обступили чрево ее, и познала она свои имена, ища среди них себя и не находя.

И тогда Он открыл ей глаза, говоря: вот Бог твой, и вот, что он сделал с тобой. Иди, открой глаза мужу своему, ибо вот кровь твоя на земле, и в ней смешенье времен.

И встала она, и пришла к Адаму, и нашла его спящим у реки, и открыла ему глаза во сне, говоря: вот имя мое, и нет в нем тебя; вот, что Он сделал со мной.

И восстал Адам на Господа, Отца своего, говоря: Ты дал мне Жизнь, и я женою назвал ее, но Ты стал меж нами, и я теперь ни с Тобой, ни с нею: не с нею, ибо нет меня в ней, и весь мир через нее проходит; и не с Тобой, ибо этот мир — Твой.

И восстал Господь во гневе Своем на Адама, сказав: прах ты, и в прах возвратишься; вот земля и жена твоя — по вере твоей и гордыне, и отпринул его.

И жене сказал: умножая умножу скорбь твою, в болезни будешь рожать детей: зримых — от мужа, незримых — от прочих вещей, и отпринул ее.

И призрел Ангела, говоря: за то, что ты сделал это, будешь ходить на чреве своем, и будешь есть прах во все дни жизни своей, и вражду положу в семя твое меж мужским и женским; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту; имя ж твое отныне: Время.

И вышли они впроем: Адам, Ева и Ангел Господень из сада Эдемского, и закрыл Господь путь в него мечом огненным, обращающимся.

И родила Ева Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля, и сказала: приобрела я человека от мужа моего, Адама. И затем родила им сестру, и сказала: от Ангела. И вслед еще родила: незримо.

И когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто —».

Здесь тринадцатая страница обрывалась. Я засыпал, шурша бумажной насыпью с торчащей из нее головой.

4

Вероятно, октябрь. Холодает, поднимается ветерок. Я сижу на голой земле, страницы собраны в пачки — от моря до ближних холмов. С деревьев надо было спустить — вначале. Теперь они падают с них, вместе с листьями. Хожу, подбираю, хотя скорей по инерции.

Что, собственно, произошло? Допустим, есть только эта страница, другие тебе не найти. И что? Ничего не меняет. Почему? Потому что здесь всё, вся судьба человека и мира, ключ к истоку его. Ну, допустим, еще один ключ — к тем, веками прокручивающимся в замке. И, допустим, этот ключ не прокручивается — отмыкает, но — что? Каждый ключ свой замок отмыкает.

Ладно, допустим, это не истинный, не первородный текст.

Да? — говорит, — а что критерий, кто ему, кроме замка, судья?

Значит, искать, говорю?

Посвистывает, смотрит в небо.

Если Каин, говорит, от Бога, а от человека — Авель, и далее по канону...

Посвистывает.

Трое их, говорю, вышло за околицу, как и нас трое.

Знашь бы, говорит, на каком языке написан оригинал. Как там сказано — воспыал? Прельстился? И преступил? Думаю, речь там идет о чувстве более тонком.

Там, говорю, по канону, сыны Божии спали входить к дочерям человеческим, увидев, как те красивы. То есть ангелы спали входить к полуангелам, горние — к дольным. Исполины рождались, как пишет канон: издревле славные особи.

Истреблю человека, говорит Господь, и всех скотов, и прочая, ибо раскаялся Я в своем творении. Господь говорит, глядя, как ангелы топчут дочерей человеческих — тех же ангелов, но бескрылых.

И, говорю, истребил; история о ремейке мира, перевернутая пластинка.

Мир во второй редакции, говорит, ходит, отряхивает деревья.

Ревность, говорю, это вопрос селекции. Местность приходит в себя: встала, присела к зеркалу, чешет охру, голову наклонив. Стань за плечом ее, гляди с нею — в папину моря с полутопленным отраженьем.

Небо сегодня лезет из кожи вон — там, за холмами его голова — рвет губы, взбрызгивая светом, а здесь — грузное тулово, туго заплетенное, проседает, тянет резину. И я тяну.

С кем говорю? Знашь бы.

Снедь на исходе, надо б сходить в поселок. Не топ, бумажный, другой. Иди, разговаривая, всем телом, планшет на боку, тропа под ногой — рыжая. Земля разговелась: любит-голубит, обваливает голубей в пыли.

Еще страничка. Геракл в Крыму. Северный подвиг. Лошади волшебные, да не взять. Змеженщина, царица края, говорит ему: ляг со мной, и лошади — твои. Лег герой. Обвилась она вокруг него и родила двойню: Скифа и Тавра. Взял отец лошадей и опплыл в Элладу, главный город которой — Афины, а основал их царь змеетелый, имя которого на букву К. Каин?

Виноградники начались, псы идут цепью, прочесывая, лязгают грозди: линкс, рэчпс. Отвлечься б, рыжая. Увиливает. Вот и люди. Где это я читал: если всех людей на земле собрать и расставить на льду Боденского озера так, чтоб на каждого приходился квадратный метр, они б едва заняли его треть. Как мало их, ничтожно. Магазин за почтой, спасибо.

Не знаю, должен ли был я к нему подойти: он стоял, разговаривая с почтальоном. Тем ли? Форма, тело, запылок — его, но лица я не видел. Он протягивал почтальону сложенный вчетверо лист, похожий на топ, который лежал у меня в кармане.

Я инстинктивно сунул руку в карман, копии не было. Я свернул за угол, прислонился к стене. Открываю планшет: пуст. Отдышись. Трижды два, трижды три... Выглянул: ни души.

Подошел к тому месту, где они стояли. Чуть в стороне — голубь, вываленный в пыли, лежал, облокачиваясь на крыло, разинув клюв, глядя поверх меня. Двое татар выкапывали на площадь ржавую одноколесную тачку, груженную дынями. Прогромыхали, свернули, смерклось.

Я возвращался молча, в напрягшейся тишине взбираясь на лунный холм, вдруг замер и прошептал:
Здравствуй, Варел.

Точней, я услышал голос. В себе, через меня говорящий, то есть не через меня, но и не ко мне; незнакомый и тихий, настолько, что я поневоле, чтобы расслышать его, шевельнул губами. Голос шел из-за гор, но левее и выше, и дальше, я понял откуда.

Поначалу он был сродни той вырванной мной из огня странице, топ еще почерк, я едва поспевал губами прихватывать его пляшущий уголек.

Здравствуй, Варел, но кто ты, я и себя не помню. Ты не пришел, где я теперь, не иди сюда, кто бы ты ни был. Нет ни сюда, ни отсюда, ни я, ни здесь. Здесь не теперь — Тепе...

Нет, говорю, меня, но не так, чтобы нет совсем, а то есть, то нет. Вот такая у нас игра. Я тебе расскажу. Тебе? Никому-кому. Что успею. Пока есть еще этот южный склон, этот час покоя.

Больно? Еще услышишь. Спрашно? Не в этом суть, главное: не понимаю. Что это? Кто? Будто струющийся глаз без век, а ты в нем — мушка, понущая в зрачке, подрагивая, и оба вы в пелене, и он на тебя глядит, и глядит побою, и сквозь тебя, но — куда?

А теперь забудь. Вообрази боль, самую нестерпимую, и перемножь ее на нее ж: пальцы его на твоих висках, а сам незримый.

Не понимаю. Не понимаю речь его, боль, смех, его экраны. Не понимаю, зачем я ему, почему я?

Прошлой ночью, в пещерке, смежной с моей, рыдал ребенок, лицом в стену; кинулся — кости лежат: мои.

Вышел, ощупью опознал: себя?

Что ты, Варел, ешь, спишь, люди? Я говорю? Пишу ли?

Кажется, я писал — там, на восточном склоне, лежа на животе, в первой моей «светелке» — выеденном яйце, вмурованном в высь обрыва. Только звезды сияли, да ящерицы, откидывая капюшоны, лезли в пролом окна, щерясь улыбками иезуитов, тыщерились по стенам. Иписанные листы скользили к окну, их выдувало и всасывало обратно: вдох, выдох. Потом — лишь выдох.

К осени я перешел на северный склон, в ту маленькую пещерку, где ворковал ветер, ветер лишь ворковал, голубя в ней не было.

Помню ли я тебя? Смутно.

Время здесь местное, в зависимости от места: в той вон пещерке — складчатое; там, за кустом, его вовсе нет, а на западном склоне — лежат узлами. Тут, от карниза и до вершины, как бы наверх стывает себя, углы срезая, и оттуда печет вверх. Место, откуда я говорю, пожалуй, единственное, где оно человечесь. В сторону шаг — и ни вчера, ни утро; только фигуры речи.

Что ты сказал? Авгурь урча свечи не уходи как капроновый свет чулок на голову поджигая куда вода игл дымы ты-мы я-болочка полочка ветерок вей нин гер ма фро г фро м форм фоб вдет в дев свет припадочный геракл передущил всю свою родню а начало где в змее в колыбели не уходи закат твердь там как язык обложенный путь два три путника с трех спорон поднимающихся на холм холм на три спороны проелобый двое их и одна и не видя друг друга восходит с трех спорон но не восходя а на месте бредя холм проворачивается по оси пирамидален четырехцветен одна спорона вода и женщина в ней плывет другая огонь и топ который в фуражке с мешком за спиной в огне третья земля как прах и третий бредет пыля четвертой как будто нет хотя она вот зияет боль порвано порвано смято господи не песни не плющ горло что я тебе что от меня боль тебя рвет в клочья жжет жалит что ж ты меня сглапываешь и отпрыгиваешь сглапываешь и отпрыгиваешь на ладони свои кто ты скажи хоть имя пальцы его размыкаясь на горле скользят к груди движутся к животу пуп развязывая как рой пчелиный тул их и жгуч и сладок вползают в улей боль говорил не верь боли она от счастья а счастье от головы которая кружится зайнька исчезая за я...

Я еще постоял, прислушиваясь, дожевывая губами, и начал спускаться с холма.

6

Та же тропа — рыжая, та же развилка, за ней — виноградники. Где? Их нет. Только пятнистый пес вдали, как движущаяся в пире мишень, выныривал из земли и, проплыв над ней справа налево, уходил в землю, и вновь (или это уже другой?) выныривал справа.

Ни страниц на деревьях, ни перевязанных пачек, ни хижин. Вместо нее — многоугольное одноярусное сооружение, похожее на прихотливо составленные пляжные кабинки для переодеваний. Остывающий жар костра.

Вход в этот коробчатый лабиринт находился там же, где был и вход в хижину.

Я отвел полог, вошел и тут же отпрянул.

И вместе со мной отпрянули — разом — все те, кто стоял за пологом; те, что прямо передо мной, и другие — по обе стороны, за каждым углом.

Я сел на землю перед пологом, не сводя с него глаз, глубоко дыша, пытаюсь справиться с липкою дурнотой. Но какая-то сила, не от головы, скорее, от живота, волнообразно подталкивала меня к нему. Дымок от костра испончился и, будто кто его срезал сверху, обвис и, вильнувши, юркнул в золу.

Я снова вошел.

И все те — и прямо передо мной, и по обе стороны — шагнули навстречу, отдернув пологи. Это было похоже на поставленные под углом зеркала, так поставленные, что видишь себя со всех сторон и, особенно, тех, каких не видишь, глядя в обычное зеркало.

У него были черты моего лица. Моего лица, но — веером — отчуждавшегося от меня по обе стороны от того, что было прямо передо мной. От того, что было прямо передо мной, до тех, глядящих на меня из-за угла, вполоборопа, до тех — вдали, по обе стороны завершающих вереницы, стоящих ко мне спиной.

Значит, они спали со мной под одним покрывалом, они собирали с деревьев станицы, ели со мной, рылись в моих снах.

Я подняла руку — это его рука поднялась — у всех тех, кто меня обступил.

Он поднял и другую, снимая с меня одежды; и все те, что глядели из-за угла, и те, что стояли спиной ко мне, выгнулись, замирая.

И он опустил руки на бедра мои, и повел вниз, до щиколоток; и все те, прикрыв глаза, переступили с ноги на ногу, перешагнув.

И он поднял лицо мое, и развел волосы, льющиеся до земли, и обнажил лицо мое и шею мою, запрокинутые к нему, стоящему за плечом моим, и разжал губы мои губами моими, и вдохнул грудью моей, и отнял от нее ладони, но она, продолжая вдох, все тянулась к ним расплывающимися и твердеющими сосцами.

И приблизил ладони он к животу моему, и взял всю дрожь мою от ног и до темени, и раздвинул бедра мои, и сверкнула роса меж ними, запуманивая пу, единственную, что стояла передо мной.

И вошел он в меня, и мы стали одним, на себя разделенным, одно на одно.

И все-таки что-то одно не делилось, когда я открыла глаза, что-то было еще.

Я стоял посреди поселка, на пустынной площади, поглядывая на часы. Он опаздывал. Думая о нем и глядя на голубя, ерзающего в пыли, мне вспомнилась книга о человеке, пишущем письма — себе, до востребования.

Спранная книга, разбитая на главы, согласно номерам почтовых отделений, а их в городе, где он жил, было около сотни, включая пригород. По утрам он рассылал около пяти писем, а затем отправлялся бродить по городу, навевываясь наобум на те отделения, где меньше всего ожидал, таким образом получая за день два-три, к вечеру возвращался домой — отвечать на них и писать новые.

И вот однажды он получает письмо, которое приводит его в замешательство. Это его конверт, его имя, его почерк, но содержание письма, хотя ни о чем особенном речь не идет, совершенно не соотносится с ним, будто написано другим человеком.

Затем эти *чужие* письма приходят все чаще. И хотя он ясно сознает, что они написаны не его рукой, он все же хочет иметь доказательства этого и начинает вводить в текст отправляемых писем своего рода *улики*, скрытые знаки авторства.

Письма, *чужие*, продолжают идти, с *уликами*. Он изощряется в шифре, письма идут. Переезжает в другой город, письма находят его. Меняет имя, снова переезжает.

Ему снится: он, лежащий в конверте в ящике *до востребования*, пальцы почтового служащего, шелестящие над головой, и все мимо, мимо, потому что конверт — *до востребования*: *себе*. Месяц спустя его упраздняют, кладут в корзину, затем — под нож машины, у рычага которой стоит топ, другой.

Думаешь, ты один такой, — говорит топ, другой, — все вы, весь мир — *отдел доставки*.

Может, так она и называлась, та книга?

Наконец, он решает вступить с ним в переписку. Пишет. Ответа нет. Пишет, комкает, рвет. Пробует отвечать самому себе, будто бы он — топ. Топ не вмешивается. Он возвращается в прежний город, к прежнему имени, караулит на почтах, подкупает служащих...

...голубь запрокинул голову, разинув клюв. Площадь пересекали ботинки на высокой шнуровке, измазанные влажной красноватой глиной. Откуда, подумал я, в такую сушь? Они подошли, остановились в шаге от меня, я поднял голову.

Потом, когда я попытался вспомнить его лицо, оно представлялось мне голубиным. Но, скорее всего, эта маленькая нахохленная голова, тикающая на женских покатых плечах, лишь проекция памяти, переводная картинка — от того голубя. Но когда я пытаюсь ее удалить, за ней — как бы дыра с очертаниями головы. Причем, почему-то смазанная. Будто он вдруг дернулся, уклоняясь от фотовспышки.

Форма на нем была сильно измята. За спиной — полевая сумка, которую он то и дело встряхивал. Но казалось, что эти толчки исходят не от него, а от нее, во всяком случае...

Как-то спранно Вы разговариваете, сказал я, очнувшись.

Я с Вами не разговаривал, отвечает, пока я лишь говорил.

Да? — говорю, смешавшись, и гляжу на часы.

Хорошие, говорит, часы. И что Вы обычно с ними делаете?

Вы, говорю, опоздали на три четверти.

А разве, говорит, мы с Вами договаривались?

И снова этот толчок, поправляет ляжку. Я протягиваю ему сложенную вчетверо спраницу, он разворачивает, возвращает с улыбкой.

Давайте, говорит, по существу. Вы оставили на берегу тело — раз, — погибает палец. Вам, как Вы заметили, не было ни 22, ни 14, ни сколько-то там еще, — это два. Вы поглядываете на север, говоря: *Тепе, тот, день, ночь, звезда, луч* и прочее в этом духе, — три. Вы присвоили не адресованные Вам письма и вносите в них исправления. Кстати, как сказал другой грек, задолго до упомянутого: единое, расходясь с самим собой, сходится. Это четыре.

И, наконец, Вас интересует, кто я такой *на самом деле*, но интересует это Вас лишь постольку, поскольку это может иметь отношение к тому, что на самом деле есть Вы, а также к тому, что Вы оставили на берегу.

Это была Ваша правая рука, перейдем к левой.

Вы наткнулись на фразу о создании женщины и задумались о границе между мужским и женским. И вышли к развилке: если нет границы, где кончается одно и начинается другое, значит, либо есть только одно, либо нет ни того, ни другого. Либо меж ними есть нечто третье.

Третье, повторил я, машинально загибая палец.

И добавьте еще два, сказал он, встряхивая. Три, то есть восемь. Вас испытывает, или, как Вы говорите, Вы испытываете чувство к... скажем, тому, что Вы оставили на берегу. Чувство, лишившее Вас всего, что Вы имели. Чувство, имя которого Вы затрудняетесь произнести, потому что, как Вы догадываетесь, их у него два, несовместимых: выбрав одно, лишитесь другого. Вот Ваши девять, в расщепе. И десять, кивнув на страницу, смятую в правом моем кулаке.

Текст? — спросил я, продолжая сползать перед ним со сжатыми кулаками, пальцы не разгибались.

А что, говорит, Вас задело в нем глубже всего?

Я пытался разжать пальцы, заведя руки за спину, скребя одним кулаком о другой.

О чем, говорит, Вы думали, когда шли сюда?

И снова этот толчок. Видимо, со стороны мы выглядели более чем. Огибая нас, они оглядывались. Эти — с крыльца магазина, и те — за моей спиной.

Ну, говорит он, смелее.

И поставил Он Ангела, да не спорож он.

Да? — говорит. — А кто же?

Сам, говорю, и Тот и Этот...

Сбивчиво говорю, дергано, пытаюсь разжать за спиной пальцы.

Дааа, говорит, и это «а» тянет на выдохе и затем на вдохе, и не поймешь, что за этим стоит.

Ангел, говорю, когда открыл ей глаза, сказал: вот твой Бог, и вот что Он сделал с тобой.

Молчит, смотрит в глаза, ждет.

Два имени, говорю.

Толчок. Подтягивает лямку, держит.

Два, говорю, в одном. И, осмелев, пытаюсь скроить улыбку.

Глядел, говорю, из прохлады, любясь ею — лучшим своим твореньем.

Бог и она, говорю, и третий.

Или: он и она, и — что? Бог им судья? Но — первым вышел из облака, за Ним лишь — Адам. И опошел в прохладу, и не смог отойти, глядя: на нее, спящую.

И — как Вы сказали об этом чувстве? — выбрав одно, другое гибнет, а то и другое несовместимы? В каком-то смысле, может, она в Нем и пробудила, вызвала к жизни этот расщеп между Низом и Верхом, меж Этим и Тем.

Быть и Этим и Тем в своем чувстве к ней, совместить несовместное — вот чего Он хотел, ставя Ангела у изножья ее. Уж конечно не *спорожить*, а как Низ Свой, как *это* в Себе. Сам же — в Верх отойдя.

Не дергайся, говорит, разожми пальцы.

Они разжались, я пропустил это «ты».

Да, говорю, и изгнал он из рая — Себя, то есть Ангела, *это* в Себе, чтобы с нею быть, с Жизнью, и мечом огненным оскотил и отсек этот путь, чтобы Бога в Себе сохранить.

Я медленно поднял голову: его уже не было. У ног моих стояла его сумка, подрагивая. Я осторожно раздвинул молнию и отпрянул: на дне ее лежал ребенок — голый, на боку, и глядел на меня, покачивая головой. Меж лопаток его проворачивался ключ, запиная.

2

Купру, сбившись с дороги, я лег у ручья в долине и закрыл глаза.

Выждав какое-то время, он бесшумно раздвинул молнию изнутри, встал и перешагнул сумку. Я старался дышать ровно, не выдавая себя. Он еще постоял, склонившись над моим лицом, вглядываясь, развернулся и нетвердой походкой зашагал по тропе, выходящей вниз вдоль ручья. Я перевернулся на бок, дождался, когда он скрылся за поворотом и, перебегая от дерева к дереву, отправился вслед за ним.

Он шел на юг, к морю, к хижине. Когда я понял это, было уже поздно: я бежал по прямой, не прячась, пытаюсь догнать его, но расстояние меж нами не сокращалось.

И когда я вбежал на поляну, он уже запихал на ней, вздрагивая. И она, из-под него на меня глядя, выдергивала из его спины ключ и отбрасывала в сторону. Но уже другой, раздвигая кусты, шел на нее.

Эти пухлые косолапые детки-младенцы с бледно-розовой кожей были с меня ростом. Они шли на нее, выпянув вперед руки, глядя вверх распахнутыми мутно-голубыми глазами.

Я кинулся к ней, отпавшая это, обвивая ее руками, вибрирующее на ней тело, и почувствовал, как ее руки обвивают меня, и еще, и еще руки, облапывающие мое лицо, шарящие по спине, скребущие меж лопаток...

Они шли и валились на нас сверху, вжимая меня в нее, глаза к глазам, но меж нами еще прерывалось тело и, смыкая руки свои на мне, она все крепче *его* к себе прижимала.

И кусая губы мои, постанывая, вдруг менялась в лице и, откинув голову набок, закрывала глаза, лишь подрагивание ноздрей говорило еще о жизни.

И опять открывала, но из таких глубин всплывая, где дна нет, и так на меня глядя, как будто нет у меня ни глаз, ни лица, ни самого меня, ни рукопашной этой возни на ней, а только небо и она под ним — вся, как кино без звука, вся — на глазах старела.

Я запрокинул голову, сколько мог, а она все шептала: *ты... ты...* А они все шли, раздвигая кусты, отсюда, с севера, как слепцы, выпянув перед собой руки.

Там, за ними, вдали, над горой дым багровый курился, звезду оплетая. А она все менялась в лице, исчезая и снова всплывая — другой.

И когда я уже отошел от поляны на расстояние крика, он настиг меня, этот крик — не человеческий, не волчий, не пичий, не горлом рожденный: пропаянный, горячий и мокрый — крик лезвия в шраме меж жизнью и смертью.

Я качнулся, но устоял и шагнул на тропу. И они подхватили меня, волоча по земле, и взметнули на темя горы, и прижали к земле.

Я глядел на ревущий огонь, на кривые его языки, на искрящийся дым, оплетающий звезду; они шли на огонь, выходя из пещер и неся на руках, как младенцев, — ее. И валились в костер.

Топ, в высоких ботинках и форме, стоял у костра, утопая в плывущей буреющей глине и шестом их в огне ворошил и, костер обходя, их оттуда выкапывал по одному.

И, скатившись с вершины, они пропадали из виду по четырем сторонам этой, как бы привставшей и будто идущей на месте горы.

Те, что падали в воду, внизу, у подножья, всплывали и из воды выходили, но — только она, без него.

Те, что падали в то, что зияло как бездна, внизу проступали: но — только он, без нее.

Те, что скрывались в огне, из огня уже не выходили — ни он, ни она.

И те, что сцепившись капилась по праху, вставали и шли от подножья на юг, но только не он теперь, а она, как младенца, его прижимала к груди.

Ботинки шагнули, шест пкнулся в меня, я вскрикнул. Взмыл голубь. Долина. Ручей.

3

К полудню в просвете между деревьями — там, где должна была быть поляна, вспыхнуло дробнослепящее озеро.

Я раздвинул ветви: дребезг битых зеркал — от мерцающей пыли, покрывшей траву, до осколков с плывущими облаками.

В той стороне, где прежде была хижина, стоял пес — рослый, рябой. Воткнув голову в смятую траву, он шумно дышал, выдувая ноздрями чуть красноватую пыль.

Она сидела ко мне спиной и что-то писала длинным осколком на остывшем пепле. Волосы были острижены до плеч. Я подошел бесшумно, встал за ее спиной.

Она рисовала на пепле голубя — с запрокинутой головой и разинутым клювом — точно такого, как на эмблеме той гимнастки, наброшенной на ее плечи.

Прости, сказала она, не оборачиваясь, и я подумал, как изменился ее голос, как изменился запах ее; теперь она пахла всем.

Всем телом, прошептала она, глядя на пса, выпянувшего к ней голову, и нашла за спиной мою руку, и поднесла к своему лицу; это были черты не того лица.

Которое ты оставил, прошептала она и повела ниже, и прижала ко вздутому животу, и обернулась: *ты...*

И я ошупил полчок — в спину.

п о п

Это не я, Варел. Крутит меня, ломит. Проворачивает как ключ в скважине без замка.

И сотворил любовь, и сотворил страсть и, как свет от тьмы, отделил одно от другого. И отошел, глядя, не говоря ни «хорошо», ни «лучше».

Пропасть внизу, и над ней звезда — шар книги. Топ. Луч от Него воткнул в пролом скалы, как в сважину, врос в лицо.

А Этоп — во тьме пещеры держит ноги мои, проворачивая как ключ, говоря:

Ты — не сторож? Ты плоть и кровь от Себя отъял — псам кость: чтобы был крест — здесь, а с Тобой — шар. Что вверху — Ты, то внизу — я. Что меж нами стоит, между не иметь и иметь? Дочь?

Гнется луч, и ключ не проворачивается.

р а б

Разноглазый белесый пес стоял, опустив голову, у кромки лесного озера, уставясь невидящим взглядом в свое отражение.

Здесь они шли. Здесь топ, в защитного цвета плаще, присел у воды, зачерпнул котелком и наполнил две фляги. Там палатка стояла, в распадке, у трубящего хобота пня.

Скалясь улыбкой, жмуря глаза — ярко-желтый и карий, пес поднял голову, выгнув шею к вершине, к ее зыбкой короне в синей промоине облаков.

Здесь они шли, от приваленной тучным туманом долины через гнупое поле к дымно-багряному лесу и выше, к эпой черной озерной слюде, к золотисто-червленной редяющей взвеси листвы, заматающей озеро, берег, то место, где только что пес отошел от воды.

Здесь был костер, он принохался, лапой взрыхлил золу, обошел, сел у пня, привалился к нему.

Трое их было, он видип их сквозь дрожанье полузакрытых век: один, другой, претья.

Сколько нас было — трое, двое, девять, двенадцать, ни одного, сколько бы ни было, больше себя не прибудет.

Кпо, почему и куда мы идем?

И не убудет. Долина, мутная вязкая тьма, сырмятная залежь тумана, беглый с исподу огонь. Муть, как лавина растущая вспясть, не оглянуться, за нами, клубится в подбрюшьи холма, расходясь паутиною нитью над мшистой запрудой, на подступе к хвое и комкаясь в клочья, висащие между стволов, и струясь кисеей в ее сизом чаду.

Молча идем, без тропы, забирая все круче, скользя, утопая в листве, две недели дождей, под которой труха, валуны и змеиные корни, идем ли, щекою едва не стелясь по земле и руками наощупь.

Поляна, осколок луны раздвинул поляну и канул, и сжалась.

Хруст ветки, метнулась, исчезла, собака ли, волк, как белое пламя вчерне — та, что идет впереди, расстеленная как постель на стене, на опвесной и черной стене, в шароварнорубашной хламиде домашнего кроя, в рукопашном белье.

Что нам в этом пути — ей, ему в сапогах между нами, ему в голубом рабкомбезе на лямках и мне вслед за ним, и всем тем, кпо сошел по пути, как с ума, не снеся эту встречу на выдох под дых, этот рвущийся парус из рук, без руля, кпо сошел, кпо унял этот взлом, этот случай стеченья спиною, кпо рассудком прижег эту рану крыла, кпо сошел по пути, луч бычкуя и пряча в рукав, все они — здесь, незримо, между нею, и мною, и ним.

Пес обходит поляну, не глядя на нас, не спеша, замирая, вихляя, словно снежный подпаявший ком выкапывается меж стволов во тьме, обступаящей

нас.

Видишь пса, говорю ей/ему, по пятам идет этот белый косм.

Где, говорит он/она.

Вот, пальцем тычу в него; не видят.

Дождь рябит у лица. Если б источник света находился в земле, под нами, мы бы пень отбрасывали в небеса, журавлиные стригунки, видишь? А если б он находился внутри нас... Видишь? Где, говорит она/он.

Вот, говорю, же. Не видят.

К озеру вышли. Точнее, ко дну его. Высохло. Ветер стих. Выветрило облака. Звезды рукою рви — гроздь. Воду ищем, щупаем дно, вот она, ставим лагерь. Выкапала луна — не осколок — шар, и висит над озером. Может, их две? Нас двое? Что-то с календарем? Одурь, пишь, дно, заросшее мятою и хвощом, и деревья стоят, как в пуху лебяжем.

Он/она у костра лежат, спят. Громозжу из пней этажи жара. Ветерок задул, сыпет искры. Бес в соку; по луна, по нет; что по небу, что по земле идешь, ни секиры, ни фонаря; иди, борись с пнями. Ты и сам во тьме — тьма. Скажи: мы с тобой одно. Только черта с два, не один. Ты идешь, а она стоит, ты спускаешь в ее следы, след раздвоен, копытце сердца стучит в груди.

И вдруг взрезан криком — слух. Где? Там, выше. Крик? Плач? Клепот зверопичий? Кровь, яд, коготь? Судорожная возня, пишь.

Я прислонил колоду к дереву и пошел на крик. Зачем, спросишь. Это еще с детства: комната, тьма, колени, лицом в угол. Это еще подколенный страх, выющийся через пах в пуп. Это еще схлест полушарий мозга, инцестуальный монстр. Это еще на вшивость, можно не продолжать, главное — я ждал чуда, я его ждал, как ни один из них.

Знака я ждал, знаменья, как на холме тогда, сидя вокруг костра, мы говорили о той звезде, что ярче других горела над головой: антикосмос, изнанка мира, точка схода его, дом дна, она разгоралась все ярче, переливаясь из цвета в цвет, и как бы наклонно плыла не сходя с места, как не звезда — медуза, пульсируя в ареоле.

Потом, среди ночи, он располкал нас, указывая на нее: вибрируя, она выходила из паза, расшатывая гнездо, и, мазнув через небо, закреплялась в другом гнезде, чтобы снова — и это было, как будто буквы, они пытались прочесть их.

Они, не я.

Звезда как звезда, чуть крупнее других, недвижна. Видимо, в их глазах я был не меньшим сдвигом, чем панец ее. Об этом думал потом: как можем мы видеть то, что не есть мы?

Снова луна. Поляна, дерево, сук, высверк. Ближе на шаг: тьма. Ближе — высверк. Коса на суку висит, поблескивая полотном.

Да, как дешевый триллер. А за деревом, видно, стоит Косарь, череп-кости... Вот, выходит: я и вижу его и не вижу. То есть он, как бы это сказать, на границе зренья, на подвижной его границе — как ни скашивай взгляд, головою как ни верти — он на левой его боковой границе.

В плащ-палатке моей, в той же обуви, а лица не вижу — капюшон, как и мой, надвинут, но суть не в этом: я потом у костра плащпалатку снял, он же — лишь капюшон откинул, но лицо — вот оно, я в него гляжу — и не вижу.

У костра сидим, молча.

За плечом он, сбоку. Я глаза прикрыл: миг, два, три — как без воздуха под водой — и всплываю.

Он/она лежат, спят в обнимку. Время птицам петь, говорит она, пробуждаясь, привстав на локоть и зевая обводит взглядом верхушки елей, косую просинь над ними в небе, встает, подходит, напротив села, не видит что ли.

Налил ей чаю, горячий, дует и поверх кружки в глаза мне смотрит: что, говорит, у тебя с глазами? И палец влево ведет, из углов выводит зрачки. Случилось что, не дури, говорит, и снова палец ведет, смеется, укладываем рюкзаки.

Странно, когда она/он проходят между мною и ним или же за ним, возникает эффект как бы двойной экспозиции, только неясно, где первая, где вторая.

Грибники навстречу идут, с горы спускаясь, я их видел снизу, в трубу: как кузнечиков, прыгающих из травы и скользящих по ней, кружась, облапывая, а когда я трубу опустил и разжмурил второй: он исчез, его не было на границе.

Я еще раз провел у виска рукой, она/он разговаривали с грибниками и кормили с ладони пса рафинадом, таким же белым.

Вот, говорю, подходя, топ пес.

Где, отвечаю, переглянувшись. И, ладонью вода у виска, смеются.

Мы выходим из леса, мы почти на плато — если голову запрокинуть, — корона его над нами в мокром ультрамарине. И, пока я прикуриваю на ветру, вдруг возникшая кучевая погружает во тьму, сволачиваясь с туманом, прущим из лесу, и ни зги, ни руки, ни язычка зажигалки в ладонях, к лицу поднесенных, и пока опускаю руки и голову поднимаю, как в сугробе летучем, вдруг проколотом иглами света, и вновь, как ни в чем не бывало, сверкающий ультрамарин.

Мы идем по плато, впереди, у обрыва, какой-то диковинный нарост, надолб, чуть примятый сфероид с пучком арматуры, торчащим из тмени, терем без окон, но с дверью, точнее, проемом — с ребенка форматом.

Подходим к обрыву, под нами, чуть ниже — от отвесной стены и до горизонта, точнее, мягко застланный в обе стороны света — неподвижный покров облаков.

Край земли, говорю, мы стоим на краю, между нами, неважно, над нами —.

Ее голос: смотри! Тычет вниз. Я смотрю: подо мною, на облаке, как на экране, — радуга, но не дуга — круг, метров десять в диаметре, плюс-минус два — так пульсирует, дышит. И субпильный зрачок вписан в круг, вертикально, по центру.

Я присел, и зрачок опустился, поджался.

А теперь крестовина, прицел — встал и руки развел.

Ее голос: замри! Замер. Она движется, машет руками. Тень — моя — неподвижна.

Все мы вписаны в круг — друг для друга незримо: каждый видит себя. Лишь себя.

Она плачет, танцует на месте, сведя над собою ладони, как пламя, танцует, поет или плачет? Он спал на колени, вполголоса что-то бубнит. Я на спину лег, ноги свесив с обрыва и, прикуривши, зажмурил глаза.

Пес сидел на уступе, губы вытянув к звездам, будто горошину ими держал. Так держал ее бережно и осторожно, будто в ней была вся его жизнь. А под ним на далеком чернеющем дне — мелкий дребезг огней.

Он глядел вверх, во тьму этой прорвы меж звезд, а точнее — в одну ее точку. Ту точку, из которой те мы, мы с тобою, друг с другом настолько сращенные, что уже не понять ни зачем, ни когда, ни насколько, ни где начинается я, начинается ты, в ту те-мы-с-тобой-точку, в тьме бутон светозарный, без света, без тьмы, без бутона, без нас, в ту без-точку, из которой, которой мы видим уступ и горошину света в губах у сидящего пса, и по сторонам от него — нас с тобою, но так далеко друг от друга, что, когда у меня начинается день, на тебя опускается ночь. Этим нас, для которых, чем ближе они, тем мутнее, и глуше, и отчужденней.

Эти мы, двоепочье, отсрочка мыта, которое мы-там, для которых мы — почка. Из которой мы видим — если взгляд чуть вперед пролистать — край плато и уступ, и лежащего там на спине в плащ-палатке —.

Похоже, я выбыл, минуты, окурок меж пальцами плел еще, я приподнялся: один, ни души; озаряя долину, солнце садилось.

Окликнул, ни звука, нашел их, сидящих на рыжей земле у этого странного чума со ржавой косичкой, у папилаца, у ступы, у этой бетонной бодаги с дырой в боку. Они обернулись, прижав к губам палец, я сел рядом с ними, прислушался, тишь. Они ж, в напряженьи пригнувшись и за руки взявшись, точнее, сцепившись, беззвучные рты шевелили, устываясь в проем.

Я встал и шагнул к нему, оба схватили за полу и отпачили, сел, снова встал, обошел; трещина в южной стене расходилась к земле наподобье кулис, я прописнулся, вполз: полумрак, стены голые, пол земляной, в центре — яма с золой, обложенная камнями, спички, соль, перья, зыблемые сквозняком, трупик чайки, гниющий у входа, луч, скользящий к золе.

Молча, в ночь, мы спускались с плато. В лес войдя, он/она чуть замедлили шаг, закурили и сели, привалившись к деревьям. Их взволнованный жеванный шепот постепенно расправился в речь. Я их слушал, скрывая улыбку.

Речь была, как положено, крапкой и сбивчивой там, где мог бы быть смысл. И чем дальше от супи, тем вяпней, подробней. Они слышали голос, точней, голоса.

Три, она говорит, было голоса в спупе.

Он кивает. Хотя, говорит, мне казалось, что два.

Они напряженно глядят друг на друга.

Третий — вот этот, твой-мой, подголосок.

Да, он даже привстал от волнения, мы повторяем за ним слово в слово теперь.

Нет, она морщится, не буквально.

Он: я сам не свой был.

Она: и я была не в себе.

Я говорю: а в ком? И, как бы не им: не свой сам. И ему: может быть, мой?

Нет, говорит, другой, но не скажешь, который чей; они к центру сходились и расплетались.

Один, говорит она, голос был низкий густой, чуть дребезжал, как приспущенная струна.

Да, добавляет он, плавающий — то подпягивая, то ослабляя. Другой — ровнее, отчетливей, выше, но как бы вниз говоря, в землю, что ли. Третий — как гравий пересыпался из одного в другой, легким накатом в шпиль. Да, как гравий.

Первый, она говорит, был о Боге.

Сыне, он поправляет, о Божьем Сыне.

Да, продолжает, Он здесь, месяц уже, здесь, на земле, но... Молчит. В небе стоит — молчит, к морю сойдет — молчит, выйдет к толпе на площадь — молча в глаза глядит или же чуть поверх.

Как же они догадались, что это Сын, если ни слова? По немоте?

Да, по тому, как молчал, говорит, это как особенно выделяя.

Ну и кто ж его первым увидел? К кому Он пришел?

В Рождество.

Я: еще бы.

Он: в разных землях, в том числе, здесь.

Я: конечно.

Он: сверяли, одновременно. Голография, думали.

Я: стреляли, ловили?

Она: поначалу.

А что же второй, говорю, тот, который отчетливей, — в землю?

Она: о сновидцах. Он говорил о сновидцах, о людях, о нас, то есть о том, что людей уже нет, они в прошлом, теперь лишь сновидцы...

Как из гусениц — бабочки что ли?
Нет, головою качает.
А как? Как двойная звезда?
Переглянулись, молчат.
Что ж, говорю, претий, который гравий, так и молчал?
Нет, вот он. Ты, говорит, был там внутри?
Да, ничего особенного. Белый скелетик ппичий, детский, как из бумаги.
У одних, говорит, кругозор, у других сектор. Так какой, говоришь, ппичий?
Ты о чем?
Он: о черном.
Она: о белом.
Я, на спину ложась и глаза закрывая: эфемеры, самсоны...

Тьма, от жгучего жара в лицо я очнулся: золотой бурный боров костра оседал, снопы искр и выхлопы жара. Он/она слили воду из фляг в котелок, на огонь его ставя. Светало. Грудь теснило и шею. В руках почему-то были комья травы с корневою землей.

Ты в порядке, спросил он поверх языков.

Да, ответил, садясь и рукой, как от дыма, от сна заслоняясь.

Он/она подошли, сели рядом, на верхушки деревьев глядят, улыбаются.

Будем чай, говорят, с мятой пить.

Разгибаюсь, как из могилы, встаю, отряхиваюсь.

Голова дрожит, расслаиваясь, не моя, кость без кожи. Благо, вышли к ручью, осень, листья в заводи, приутопленные птенцы, певцы, крылышка, пусть идут, я еще посижу, догоню их — там, у озера, на поляне, где три лошади белых в тумане у раскидистой яблони дикой пасутся, смокнут падалку, прое; одна с колокольцем, спреножена, с ветки рвет, шею выгнув, губой кромсая, другая — чуть поодаль стоит, до ресниц окунув в траву свою пихую голову, голова жеребенка на холке ее лежит — сверху вниз и чуть накрест; он, моргая, глядит, как она собирает в подол терпко-желтые яблочки и несет к ним, кормить из подола.

Запрокинув лицо, я смотрю в одну почку, в ту далекую почку, из которой протянуты нити, слюдяные, искрящийся снег, расходясь и вращаясь, я бег — собираясь в комки и вися меж стволлов, как белая шерсть, я —, на землю ложась и сваявшись, я беглый —, заблудившись под вздутые корни, лежать, беглый раб —, в эту почку смотреть и не видеть.

Я, беглый раб Понтия Пилата, правителя Иудей, лежа лицом в песок, на краю света от города, где я служил ему до того дня, в песок говорю, и разум мой, как воронка песка у губ, когда говорю, мыча обрубком отсеченного языка, думая о разрозненном. Ибо в те дни был я с Хозяином не непрерывно: он то призывал меня, то отсылал — по надобности.

И я говорю о нем: не нашел в нем вины он и не искал его смерти.

И Ирод, правитель Галилеи, к которому Хозяин отправил его, не желал его смерти, и в белые одежды его облачил, и пришел в дом Хозяина, и примирился с ним, хотя враждовали прежде.

И был у них разговор, и была там жена Хозяина, которой снился сон об этом «Божьем», как сказала она, человеку, и искала путей спасти его. Говорили они вначале при мне, а потом еще долгое время без меня. Я стоял у вторых дверей, по ту сторону.

И уже когда солнце садилось, и на площадь стеклась толпа, к ним ввели Симона Петра и другого ученика, которого любил Иисус. И когда проводили их через заднюю дверь, ввели Иосифа из Аримафеи, о котором сказано, что он пришел к Пилату просить тела Иисусова, чтоб по распятии снять с креста и схоронить в нише, высеченной в скале. Так о нем будет сказано.

А тем временем, пока он еще был там, ввели чужестранца с покровом на лице и в плаще до пят, расшитом нитью сверкающей.

И немного спустя — пятерых из тех, что томились в темнице, ввели; и четверо из них были возвращены обратно, а два сундука того чужеземца — внесены.

И послали за Магдалиной, и, пока искали ее, солнце уже зашло, но толпа все кричала: распни! распни!

И я говорю, мыча в песок, ступая скребя там, где был слух: ты, Петр, когда ты мимо него проходил — там, внизу, и он спросил тебя: ты, Петр?

Ты сказал: нет, не я.

И снова воззвал к тебе: ты ли?

И ты вновь отрекся.

И в третий раз: Петр, кровь на мне!

И на этот раз ты сказал, при всех: не знаю этого человека.

И еще мычу, пустые глазницы вдавливая в песок: ты, Мария, о которой сказано: Магдалина, та, что первой узрела открытый гроб, и было двое там в белых одеждах: ангелы — будет сказано; один — у ног, другой — у изголовья тела, которое прежде лежало там. И был третий, который возник у тебя за спиной, сказав: жена! что ты плачешь? кого ищешь?

И что, Мария, ты, обернувшись, сказала ему? «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты его положил, и я возьму его?» Ибо садовника ты признала в нем, садовника!

И потом: сколько бесов изгнали они из тебя — там? Семь?

И потом, когда наконец ты вскрикнула: «Раввун!» и хотела к нему припасть, что он сказал? «Не касайся меня, ибо я не здесь».

И пошел к тем, кто и ждал его и не ждал, и сказал: вот я. И, как будет сказано: «хлеб преломил с ними, ел и пил».

И еще, потом: Симон, любишь ли ты меня? И тот отвечал: да, Господи. И так трижды: любишь? — Да.. — Так же любишь, как и тогда? — Господи, ты же знаешь, — отвечал тот, опустив голову. — Петр, иди за мной!

Любишь, мычу, любишь — пытал, а не другое слово!

Вспять отползая, вслепую пишу на песке — кому? Пена во рту, желчь, скоро уж, видимо, до рассвета... Бог судья тебе и содеянному тобой, Хозяин.

Он стоял у воды, подняв голову, глядя в свое отражение, — разноглазый пес с человеческой головой.

часть четвертая

МЕЛ

ч е р т а

1

Она не в глаза ему смотрит,
но и не в сторону, а скользя
по его виску — вдаль,
к мнимому горизонту.

Он не в глаза ей смотрит,
а — как всегда — в два
берега речи, но
видит ее глаза —
там, высоко, над —
распахнутые:
слюдяной зрачок
меж двух полумесяцев
неподвижен.

Он
гладит ее ладонь, но
самого его здесь нет,
в отличие от нее. Он
в узел стянут сверху — там,
где ей не видать, а внизу распущен
по всем пупям.
И этот его отвяз,
и натяжение нитей
одновременно —
ее влечет и в заблуждение вводит.

Она,
в отличие от него, вся — здесь:
закон, клинок, осанка.

А он — горбун, он конюх
горбунков. Он — там.
Ей тыщу лет и год.
Он — безвременье.

Она — восток,
шахерезада света, место
силы, танец
струящихся запыспий и мерцанья
цепочек на лодыжках, тайна
двух полумесяцев —
по сторонам зрачка —
у входа в христианство.
Выкрест, дочь
ислама
под понённым покровом православья —
как чернь по серебру.

Он — время, потому
и неуместен.
Ветер. Песок. Вода. Родства
не помнящий — он русский, по призванью.
Как Божий перст — она.
Он — безмянный палец.

В роящейся теснине вернисажа
они столкнулись. Он
пошатнулся, вздрогнув,
и к лицу ее
взмахнул ладони и прижал к щекам,
не ведая, что делает, сближаясь
ресницами, губами, образуя
вокруг себя воронку, отражаясь
в глазах, по ним скользющим,
выпадая
из времени и движась
к выходу; она роняет
бокал с вином, не слыша звона,
и рука ее — чуть на отлете —
как будто держит всё еще,
и ночь с порога, снег метет,
и фонари раскачивают тени; их относят
от города всё дальше — как на льдине.

Им кажется — они одни,
но нож незримый, гнутый,
приносясь к воздуху,
змеится вслед за ними
на распоянны крови — кровный
нож с фигурной рукоятью:
семь фигур —
она их видит
через его плечо;
они стоят почти вплотную к ним,
сплетенным в поцелуе так, что он,
сам на ногах слабеющих,
ее льняное тело
с опринутым сознанием
на весу
едва удерживает.
Белый
пропаянный снег метет
меж голдой накренною землей
и пуфельками легкими ее,
и красный
снег искрится на ресницах.

Им кажется — они во тьме,
в углу укромном. Но стоят
на площади, на самом видном, ярком
пятне ее, в луче,
направленном с незримой крыши на —.
На что — они не видят. Семь фигур —
на распоянны взгляда
(ее, он к ним спиной развернут).
Она
на нем, как на карнизе,
висит над пропастью,
и снег метет под нею.

Семь фигур —
полукольцом —
к ним близятся,
то прорывая в пелене,
то медя, тая.
Клин клана,

братья во гнезде,
коран кинжала.
Шестеро из них —
сигнала ждали. Муж,
втянувши голову, стоял.
И, наконец, свозь зубы: «Жить
оставить». —
И, взгляд пригнув,
как лошадь под уздцы,
повел его.
И площадь опустела.

2

Их губы перешли на «ты».
И снег. И руки.
Они сплелись. Но тень от них —
как мост разведенный дрожала.

Не страсть уже,
но не любовь еще,
а *люсть*:
как глина на гончарном круге,
распуцающая меж двух ладоней —
тьмы и света —
до черты незримой,
чтоб оппуда
быть смятой и опять расти,
виясь и упончаясь меж ладоней...
Знать бы — чьих.

Ты знала.
Да и мне казалось.

Чем жарче прижимал тебя к губам,
тем створы
моста всё выше отклонялись.
Как ладони.
Как тени их. Меж ними печь змеилась —
бездомней тьмы
под влажною простынькой белой.

Ты видела. Ты помнишь. Ты сказать
хотела.
Себя во мне хотела.
Про себя.

Губами
я ткал твои черты.
И я
хотел —
хотя не в *ты*, не в *я* —
жилья.

Шли дни,
но не в затылок —
врассыпную, горясь,
шли против ветра, втягивая шею
в плечи, с рассеянным и зябким,
улыб —
едва ли светом на спине.
Дома стояли,
надвинув крыши набекрень,
под снегом.
Меж кос косых, струящихся с небес,
мы плыли —
сплетенным иероглифом греха
и чуда —
белые на белом.

И, войдя
в огонь,
как дети,
души наши — молча, исподлобья —
на нас глядели:
там, в огне, оплуда, взглядом
не встречаясь с нами.

Ты видела. Ты помнишь. Хоть лицо
и отводила вверх и в сторону, вдоль неба.
Глаза твои слезились на ветру,
зашорены ладонями моими.

Я помню этот вечер, этот дом,
от холода на месте семяний,

и бар, где мы одни, и за окном —
бесшумный желтый колокольный снег
под фонарем качавшимся,
к которому спиною ты сидела.
И свет от фонаря листал лицо
мое, к которому ты близилась
и отводила
глаза. И искоса, и исподволь чипала —
но как бы забегая наперед
и пяпясь от конца к началу —
меж строк двоящихся, меж берегов
размытых, в той реке,
где не прочесть уже —
прижавшихся друг к другу
нас, плывущих
под тем мостом разведенным;
и, чем теснее
прижавшихся душой к душе,
тем — вот ведь что — светлее
реке
и вдоль реки округе,
и кромешней
в храме,
в горящем над рекою.

Тень. Глаза.
Сплетенье пальцев — елочкой — с твоими.
Дверь, коридор, скрип лестниц, гардероб
обглоданный, пустынный. Гвоздь со связкой
ключей. Блужданье. Этажи. Кулисы.
Дверь. Поддалась. Открылась. Окна
во двор. И снег висит во сне и медлит
падать. Прильнет к стеклу и вновь
отпрянет.

Ты молчала,
подрагивая чуть и опустив глаза.
Я спягивал чехол с фортепиано,
стеля его у ног твоих, затем —
с виолончели, барабанов, труб,
кладя под голову, на корточках, спиной
к тебе, перед собою глядя —
как в россыпь догорающих углей —

туда, где мы, незримые еще,
невоплощенные лежали,
друг в друге догорая.

Ты стояла —
я чувствовал спиной —
без дома, без одежды, без кожи, вся светясь
в окне, отсюда глядя —
как зыбкий мел во тьме —
озябшие к губам прижавши пальцы.

3

Хром моря. Скал оскал. Желток
звезды. Мы жили
меж раем и изгнанием,
на черте.
Вмурованные в воздух
гнутой, плавкий,
две спеариновых фигурки —
жизнь к жизни
оплывающих.
Измор жары. Шапер
меж валунов распянут.
К ножи
он делал первый вдох,
сжимая нас внутри
и раздуваясь. Белый
ку-клукс-клан на стропах.
Шелк прохлады,
змеящийся под полог. Небо,
изъеденное дырами, как будто
там, за ним — жаровня изумрудов.
Пошатывает ось. Ни звука. Золотой
летучий коготок,
из края в край вспоровший
над головой мерцающий испод.
Сощураюсь,
ты загадала жизнь. Впорую.
С паруском,
трепещущим в груди
на повороте.

Кто ты —
рядом? Ни дочь, ни мать.
Жена? И грустно, и легко.
Ни плоть, ни дух. Но что?
Покой и воля? Чудо
последней тишины
с дрожащими ресницами меж нами?
Равновесия
религиозное чувство? Тот
исключенный претий,
когда двоим во все пупи просторней,
чем одному? Тот случай,
когда вблизи один другому — даль
несметная? Вдали же друг от друга —
не близость, не разрыв — размыв...

Откинута полог. Море — как земля:
лежит — рукою дотянуться,
за голову заведенной. Дельфины
сопят, пасутся. Годы
мне плыть в тебя. Как даль,
ты расступаешься:
чем ближе — дальше.

Глаза прикрыты. Голова
чуть запрокинута. Рука
заведена за голову. Другая —
в плечо мне впиалась
и влечет к себе, и разом
отпалкивает. Годы.
Пустынный путь.
До времени.
До ты.

От плеча до — жизнь спустя — рассветных
пят, восходящих надо мной по сторонам спины
плывущей; до — и выгиб твой распуший, к небу
меня вздымающий; до — жгучий жар,
в паху расколотый; до — рот,
круглящийся в беззвучном крике;
до — хлынувшая дрожь к ногам. И выдох —
до смерти длящийся,
до лепета в плечо, до непробудных

губ, до крыльев облетевших,
глаз заросших, тени,
от нас ползущей к морю
очнувшись, до —

как бритвой полоснувшему меж век —
чужого дня,
из-за скалы косящего на нас:
на голый узелок,
лежащий в забытьи, на голом
побережье.

Руку
пы на бедро мне положила, нежно сжала.
Сквозь сон я чувствовал твоей острый ноготок.
— Ты кто? — шепчу, не открывая глаз.
Сожмет, отпустит.
— Спи, милая. — Кольнет и чертит ноготком.
Как буквы. Длится.
Глаз приоткрыл. Нет, померещилось. И вновь
открыл. Прикусывая мягко, опускает
и снова смотрит. Чайка.

Рукой взмахнул: — Иди!.. —
Отпрянула на шаг. Стоит,
пригнувши голову к земле, глядит
и, медленно пожевывая клювом,
идет к воде вразвалку
и, обернувшись, на волну ложится;
плывет и за собою взгляд мой тянет —
как нить, —
от плеча до пят незримо растущая
скользящий узелок на ощупь свитых тел.

п т и ц а

в этом голом и гулком краю
где когда б это «к» не першило — раю
это Ка тень души
душным полднем когда б не вползало
под босые ступни
эти месяцы и особенно дни
последние перед тем как должно было это случиться
то есть не то что случилось а то что должно было
и я говорил тебе не разжимая губ уткнувшись в твои
боясь отойти от тебя дальше голоса-взгляда
потому что уже были дни
и в любую минуту это могло
но не поздно еще
я говорил тебе
вниз к людям
не вслух глазами которые отводил
ладонью прижатой к твоему животу
и ты улыбкой удвоив мою ладонь
мы ведь решили и ты дал слово и
не волнуйся пожалуйста верь мне
и потом не мы первые от Адама и Евы
им-то куда было вниз к каким людям

так ты светила без слов
вжимаясь в ладонь мою животом
и улыбка твоя подрагивала еще у губ моих пока ты
отойдя к краю поляны собирала падалку под яблоней
с милой неловкостью приседая и перебирая в правое
кажущимися маленькими как у кенгуру руками
и гасла у губ затмеваясь хлопочущей мыслью
об огне который я должен был и особенно в те

уже наступившие дни поддерживать непрерывно
чтоб успеть кинуть нож в кипящую воду
и вынуть его перед тем как ты
что? покачнешься и вскрикнешь? раздвинешь
колени? и что — моя голова меж коленей твоих
и пальцы твои скребущие землю обочь
и дальше как будто обрыв киноленты
горящий экран в темноте
трепыханье рубцов и царапин

знаешь
все чаще я думал
что человек в тебе был хуторком в стороне
едва различимой окраиной
в том смысле что я так не сразу тебя узнавал
чувствовал да но не помнил
ведь у живого нет очертаний сказала
ну да но не это
сказала чем меньше в нас человека
тем дальше он простирается
нет не количеством меньше
а плотностью тяжестью хваткой
время не вило гнездо в тебе воп что
просвет
то есть быть с тобой словно в даль глядеть
уменьшаясь в перспективе
но чем дальше тем ближе ты
как слепцу на ощупь
эта рожица здешняя ты
не ты
озерцо в полпути к деревушке припавшей к морю

на илистой кромке темноруптного озера
солнце еще не взошло
ты стояла
в белой сорочке до пят ты стояла
ты не могла там стоять
я обернулся
там ты была за спиной за холмами за лесом
там под започенной в небо стеной
у подножья ее
на поляне на лоскутке на прогале
ты нижешь на нитку грибы на просушку

ты там а я здесь выбегая из леса над озером
глядя как ты в своей белой сорочке до пяп
и уже не до пяп до воды до колен и по пояс
и перед собою разводишь ладонями гладь
и морщиניшь ее серебро
я подхожу к тебе как не к тебе ты не слышишь
но будто бы чувствуя все наперед
замираешь

ты ворох цветов от ступней до волос
белоснежных бутонов и листьев и стеблей
бутоны ложатся на воду
и длинные узкие листья как крылья ложатся
и стеблей извив и изгиб уходящий под воду
дрожит преломляясь колебля на бедрах охват
с отпорочкой мупящейся илом воды
заплетаясь ко дну
ворожа в вязко губчатой слизи
утопая вставая на цыпочки и семена
подымая со дна восходящие змейки цепочек
эпоп ворох цветочный в луче восходящего солнца
я держал обхвативши руками
опводя и вжимая в себя
и войдя в эпоп ритм волна
шла от берега к берегу
поначалу внахлест а потом
а потом и холмы и дорога и море вдали
все вошло в эпоп ритм вжимая
опводя и вжимая
я по пояс в воде ты до бедер и ноги твои
оплетают скользят по моим и слабеют и тонут
и снова всплывают плывут и их больше чем две
и какие из них не твои не мои
эпоп ворох размокший подапличных бедер
опводя и вжимая не глядя в лицо твое тонет
всплывает открыты глаза как во сне
стрекоззы сосок-ходунок
островок
живота твоего заливают
внахлест опводя и вжимая не глядя
как на слепящем на том берегу
на приутопленной вымостке гвоздиком гнутым
раскачивается рыбачок

солнце было в зените уже обжигая затылок и плечи
над тобой над твоим под водою лицом
где в глазах отражалось наверное небо
как небыль
шли дни
а ты все низала грибы или хлеб выпекала
глядела в бинокль на рябь деревушки у моря
волнуясь меня ожидая ты там была здесь
отклоняясь к воде и на воду ложась от бедра
а потом
уже солнце клонилось а это все длилось
не мы и не ворох цветочный лавина сходила
сгружаясь несметной своей белизной с того берега
ты
не я
ты в меня исходила своей белизной
слепотой
изнутри покрывая меня белым прахом
цветочною смертью

и потом то есть до
до восхода еще
до того как глаза под водой ты открыла
эти рыбины дрожжи во тьме в плавнях тела твоих
эта тьма ходуном как затянутый бредень
этой выгиб груди
как удар синусоидный пока сходящий
на нет твоей жизни на немь
на тебя поглотивший мерцающий морок

и ведь страшно сказать
видя этот распахнутый взгляд в никуда
из-под рвущейся пленки воды
видя этот безвольный разлет чуть табанящих рук
как поверить что мог я не думать что ты
этим ртом под водой приоткрытым
в безучастной улыбке
не дышишь
что ты не жива

и потом
когда мы расплетались
выпрастываясь друг из друга

и в правы ничком и потом
когда месяц взошел над холмом и руками
мы наконец дотянулись до ты это я
и потом
все что было до этого дня между нами
с первой встречи и ночи
через голову этого дня перелезло
будто после случилось
будто первым был этот
когда с вещмешком на плече обернулся у края поляны
а ты в этом белом до пят сарафане
в одной руке низка грибов а другую прощалась со мной
до той ночи когда мы вернулись наощупь
без тел без имен

что же это за место такое где мы живем
живьем как ты говоришь
подменим прошлое настоящим
и как мы сюда попали
ну вот жилье
брошенное видимо из-за обвала
кровля проломлена валуном
так и стоип посреди избы
Госпинчик как ты его называла
от ппички Рок
а еще Дитеньш
и животом об него
гладью по глади терлась шетча Ты теплый
потому что под ним был у нас очаг
то есть рядом
а так как камень был накретен то ему хватало
как и нам впрочем

а ту старую липу помнишь
как ее занесло туда поднебесную эту дыду
с симфонической кроной как ты о ней
по веревочной лесенке на нее забирались
там в верхах ее майских в охапках солнца
мы как два богомола на ветках сидя
покачивались едва касаясь лица друг друга
рукою той что была длиннее
перебирая нежно черты как будто
пряли эти черты

и снег цветочный с ветвей струился
пахучим светом к земле далекой
и чем он гуще валил под нами
тем мы казалось все выше выше

А потом ты завязывала эти разноцветные пряпочки
на ежевичном кусте а потом
когда там уже места живого не было
на смородиновом
эти узелки на память о наших ласках ласочках
в зубках ласточка уголек в зрачке напевала ты
завязывая топ очередной богомольно липовый
примеривалась перевешивала отходила
что-то чертила в воздухе пальцем поди
теперь разбери

а потом этот тоненький нипочный свист
как из небытия
ты его первой услышала
а потом этот пощип с подвывом ужаленный ветер
он вился по лесу и рылся у двери
и пепла остывшая горка взлетала
и оседала
в ту ночь ты сказала
что мы не одни

в ту ночь когда он шевельнулся в тебе и ты сжала
ладонь мою на полуслове и замерла
я не расслышал не понял и ветер
обнюхивал пепел облизывал свечи
и мел по ногам из углов
а ты
все искала куда бы уткнуться его спрятать зарыть
все искала скользя по груди моей лбом и щекою
уткнуться и зарыть и унять его
это лицо свое спавшее вдруг как тебе показалось
двоиться
и первое то есть твое исчезать
а второе как бы из будущего наплывать
все ближе

снег выпал наутро ты помнишь
по первому снегу мы шли оставляя меж нами

ему это место
держа его за руки чуть наклоняясь к нему
так по саду знакомя водили
а потом ты на руки его мне дала
нас двоих обняла
и пошла к тем пряпичным кустам
припорошенным снегом
я смотрел на тебя в продувном на просвет свитерке
на холмы вдалеке зачехленные белым на море
со спяще чешуйчатой далью
и дрожа и качаясь и морщась от счастья
все глотал этот сладкий соленый комок
и глядел на тебя
и как дурень попался на месте

а потом мы на нижнюю ветку той липы
подвесили виноградную люстру в три грозди
две лиловых с опливом агатовым
и одну бирюзово-зеленую
чуть припыленную золотом
помнишь
нашу вылазку на виноградники

часть улова ты предложила на время
обессмертить
сценарий был прост
трое в замкнутом мире как в замке
он огонь она воздух
третий плод четырех
двое гибнут являясь причиной смерти друг друга
третий в сон погружается
в летаргический сон

ты берешь трехлиповую банку
кладешь в нее грозди
и запелив меж ними мизинчик свечи
пути же крышкой муруешь
золотой язычок
упиваясь трепещет
сосет истончаясь
и никнет

девять склепов один на другом у стены

пирамидой стояли до снега проснись
ты сказала и пой извлекая из банки
и той ленточкой белой льняной
приурочила к ветке
эту люстру глазастую мутно спросонок
ты в объятьях моих на руках
запрокинув лицо и зажмурясь снежком порошило
ловить и отпугивать книзу топ винный
град небесный губами
так сладко так горько ты помнишь
как выщипнув и поцелуем замкнув пузырек
виноградного счастья щекочущий нёбо
мы препирались блажа языками дразня и капая
эту пленочку-вскользь эту жижицу-терпеть
это семечко-слезь и потом
эта вдруг-пустопа
с тем ослепшим во рту язычком огонька
и обглоданный воздух

весь февраль снег стоял выше окон
мы прорыли тоннель но почти что не выходили
чуть чадило в избе но хоть было тепло
и в растущем твоем животе чуть чудило
я любил его ухом живот твой и звал его *мы*
посреди тебя *мы* а повыше холмы
чтобы холишь и нежить два знака упругих и мягких
омываемых тоненьким льющемся светом
чуть склоненной твоей головы
а под ним что? *мысок*
а под ним?
ты смеешься
подмышка
и сжав бедра
лицо защемив мое между
а это
мычу
это чум где *мы* спят
это *ы*
это *ят* уходящий в протяжное *ы*

я очнулся во тьме обшаривая пустошу
тебя не было рядом
ты сидела за валуном раскачиваясь и шептала

в еще пышущий жаром развал
ты сидела как беженка в отблесках
грузный баул живота прижимая
будто кто отнимал его
только люби меня в панцирный крохкий развал
между коленей разведенных только осевший живот
ты бормотала люби перенес на лежанку укрыл
бредила мы там уснули как люди как здесь
вот и проснулись умолкла ты там а я здесь
и замепалась вдруг села ладони к лицу
ты
до людей до зверья до дождей до всего
шепчешь неслышно и дальше вода и песок
ты на спине на песке у воды и в ладони ладонь
девочки вздрогнула спящей
и ты
покачнулась глаза открываешь ты где
солнце так низко над вами их два и одно
два на одно наплывает два на одно
дно до огня до ножа до жилья до тебя
смотришь на руку свою вдоль руки на ладонь
чья
от ладони к лицу этой девочки
кто
рядом с тобой ты не помнишь не знаешь не верь
зеркальца нет там ощущал свободной лицо
ты или нет это кто она спит и ресницы дрожат
да померещилось нет не уверен улыбка ложисься глаза
узишь забытья вернуться еще тем же ходом пока
он не зарос этот сон и ты в нем как в тоннеле живом
сжался теснит зарастает но видишь еще этот свет
этот исколотый свет эта пуговка если отсюда она
боже
такой же как тот
оборвала упала на спину и вдруг это
ты
изменившимся голосом
есть?
я обнял твою бедную голову
ты вздохнула успало
а я

а потом вдруг так тихо спало

тихо так и светло
невесомо
и деревья будто покачивались на весу
и холмы и море
а мы все сидели с тобой на пороге
виском к виску
я к твоему
мотыльковому
глядя на это всё
щурясь на солнце в дымке
такое легкое что казалось оно плывет
удаляясь вверх
золотые колечки дыма
одно в другом
птица ветку раскачивала
запрокинув голову
пела видимо
долго пела
до бесчувствия
это видно было по глазам ее
в двух шагах от тебя сидела
и беззвучно кричала тебе в лицо
и ползла
эти белые рыхлые змеи
вниз с плато
по отвесной стене за спиной
и сойдясь на поляне клубились
поглощая деревья и землю и дом
и наощупь и крик твой и птицу в тумане
живот твой наощупь
лицо
мое меж коленей твоих наглопавшихся дрожи
и птицу и слизь и обмылки ладоней
в праве ли в тебе
и как волки
последние клочья тумана
расступились
лежала без чувств
только ноги
еще семенили
я взгляд отводил
и по споронам озирался и снова
пуга на твой девичий сжавшийся впальей

казалось что это не ты
то есть та
которая прошлой весной раздвинула ветви
казалось
что зрения вывих
опустился

глаза приоткрыла

он

мертвый?

куда

и зашла

и искоса

где

ты зарыл его?

и выпрямляясь спиной вдоль стены

я хочу

опираясь на руку

помоги

подвернулась

его

и теряя сознание

видеть

не помню

как я перенес тебя в дом

я не помню что в доме

очнулся

тебя не было рядом

я вышел

смеркалось

ни звука

с тех пор

п р а н а

* * *

Oblivion, красивое слово. Забвение. Глуховатые горы, заросшие ушками ракушек. Мелкий перламутровый дребезг. Меленький, как и снег над ним.

Мы поднимались в горы. К югу от Мюнхена, неподалеку от Австрии. Ранние новогодние горы. Мертвые горнолыжные Альпы. Деревья стояли в оцепенении снежной пыли. Ладонь ее грела мою — в моем кармане.

Говорили о Крыме. Я придумывал сцены «со сдвигом», чтоб позабавить ее и чуть подтеплить этот возвышенный ужас вокруг. Сценки-мистификации, вживленные без комментариев в ткань документального фильма о Крыме. Кто его знает, может, такая там жизнь. Например, Сиваш.

What, переспрашивает, see wash?

Да, говорю, почти что. Это «гнилое море», мелкое, сероводородно-соляное озеро, в котором Крым сидит ягодицами, как в лечебной грязи, а лицо полощет в прозрачном зеркале черного, амальгамного. А на пустынных берегах его ягодиц — редкие полустертые родимчики деревень.

И вот представь, летит самолет (есть у меня друг там, с маленьким самолетом), невысоко летит, над кромкой берега. За штурвалом — человек с многометровыми руками, которые ему некуда деть в этой крохотной кабинке, и они оптопырены в окна, как вторая пара крыльев, а лицо у него — страшное, от рождения, но как-то безобидно страшное. И нежное, и беззащитное одновременно. - Я его знаю, зовут его Вова, и работает он в рыбсовхозе.

Так вот, летит Вова в этом маленьком самолете и не смотрит вниз.

А внизу, по шею в Сиваше, стоят дети. Одни головы, много их — сто, двести — рассеянных по безвидной глади, с поднятыми вверх лицами. И смотрят на Вову. Который реет как дух над водами.

А за спиной Вовы стоят бочки с хамсой.

И вот открывается люк в брюхе этой чепырехкрылой птицы, и нисходит на землю, на воды бесконечный серебряный дождь.

Она жмурился, посылая ладошкой у меня в кармане, и я перехожу к следующей истории — про котлов.

* * *

Я повернул голову к иллюминатору и не поверил глазам, увидев там, за морем, в дымке, береговой контур Крыма, этот млеющий клипорок, обмокнутый в синеву. Как она застенчиво изумлялась моим рассказам о нем.

— Сметана, — говорил я, округляя глаза и рот.

— Ну, — опклонялась она, замирая.

— Идол, слоновья кость...

Она помахивала головой.

— Венера!

Она кивала.

— А молоко? — выпытывала, прищурясь.

— Невеста! — вскакивал я. — Пить сквозь фату, топить лицо в ней!

Смеялась:

— Фиги?

— О, эти давленные фиги-казановки, капающиеся с крыш под ноги! Блаженная сукровица греха!

— А помидоры?

— С арбуз раздетый! И с муравьиной кислицой на вкус и винной терпью. Не есть — а испекать, кровавым ртом хмелея!

И, глядя ее тихую голову, лежащую у меня на груди:

— А солнышко, знаешь, какое там в октябре?

— Мохнатое, — шептала она, засыпая, — как персик?

— Нет, в октябре — как Чехов.

И она, наполовину уже во сне, шевелила губами, по-русски, с этим милым ее акцентом:

— ... да не греет, светит да не греет...

Светило оно нам тогда, зимой, это крымское солнышко, к которому мы собирались отправиться с ней по весне. И сейчас мы были бы там, а не здесь. А точнее — ни там и ни здесь. После этой зимы. Ни в Мюнхене, ни в Крыму, ни в России, ни — тем более — здесь.

Где-то у Селинджера: писать нужно так, чтобы со страницы на читателя глядел человек, безмятежно сидящий на заборе. Такое вот скромное, радостное ощущение.

* * *

Я задремывал, еще подергиваясь, отмахиваясь — больше мысленно, листая картины с плывущими очертаниями, пока не оказался сидящим на пустынном берегу, на песке, у открытой двери темно-вишневой «Волги».

За спиной моей, уменьшаясь, брела по воде загорелая пара, обнявшись, шпыняя пену. В машине сидел друг, закрыв глаза, откинув голову на сиденье. Мы ждали их, пока нагуляются, намилуются.

Море мелкое, сиропливое, с мутной хлесткой волной. Берег пуст до щемящего, нищего горизонта. Как проклят.

Нет, не проклят, а хуже: уперян. Как вещь, о которой не помнят.

Песок. Ветер роется в мусорке, за собой его тянет.

Вдоль безлюдного пляжа — песчаный обрыв и за ним — деревушка в четыре двора и безбожная серая степь.

Мух косая стена над машиной. Зеленых, сплошных. Застя тусклое солнце, висят во все небо, кроясь, громыхая, как жесть листовая.

Я сижу у открытой двери и гляжу на понурое утлое стадо овец в полусотне шагов от меня. Они шьют расстояние между обрывом и морем, шьют вслепую, вдевая себя в то же место у моря, у кромки, и в то же — у крутого обрыва.

Краткой ниткою. Без узелка.

Впереди — вожачок, он ведет их, подводит к воде, молча станут и смотрят под ноги.

Развернулся, пошли: у обрыва стоят.

Взад-вперед — в этих ветхих, облезлых тулупах — бесконечно, назад и вперед, и назад и...

Д О Ч Ь

У него есть дочь.

Не совсем, — он думает. — Насовсем.

Ее мать позвонила в дверь его, когда той было семь.

и смотрела с прищуром — как девочка,

взобравшись ему на колени и взяв в кулачок его нос,

раскачивалась из стороны в сторону, глядя ему в глаза.

Свет обмякал в разобранной постели,

и день лежал, как ночь, сошедшая с колес.

А потом она долго падала

за линию горизонта,

и всплывала из моря, и вновь в него уходила

всей дельфиньей своей улыбкой

в рай из ада, и

оставляла на нем круги, расходящиеся до зонта,

под которым сидела мать ее, леп на пять повзрослевшая.

Моря слепь из ладоней неба всё высказывала, как мыло.

И покачивалась опустевшая

даль, как лодка,

и по сторонам ее — две головы

покачивались, запрокинув лица

к небу. Вот как, —

она думала, — обернулось всё, обернулся опцом.

И веревочной дрожью ноги

то сводило, то разводило —

все четыре в мычащем «мы...»

Будто крылья внизу, а пшпцы

опрокинуты вверх лицом.

И она, вестница, во все лопатки свои гребла к берегу,

с каждым взмахом руки становясь старше, а он, молодея,
едва попевал за ней, тычась в ее мельтешащие пяпки,
а когда настигал и сплетались они хохочущим веретеном,
к нему прижимались две голеньких пряжки
и обмирали в груди его, холодея,
и вышли они, и море покачивалось под ногами,
перевернутое кверху дном.

Бредни, — сказала мать, через ее плечико
на него глядя, не снимая солнцезащитных.
И та, општанувшись, годы еще в этом лесу
покачивалась на весу,
как зацепившийся парашют
с полуживым разведчиком.

Топ, другой, который ей не отец.
Полубрат, который по-материнской.
И родные, как берега, без паррома.
Так, наверно,
верней:
не крест несем, а крестец
кверху задом. И все, что кровно, —
будто третью группу вливают первой.

А потом он крадет ее, как руно.
Как «Рено», — поправляет она его, уходя от погони.
Они бродят по Крыму, как вино,
вина подрастает, себя не чуя
меж ними двумя, ночуя
и отходя.
Она кормит звезды с его ладони,
а к утру сворачивается у костра, кладя голову под крыло.

И вот ей семнадцать, она берет его под руку. Лесбос с Родосом, —
говорит, скашивая взгляд, как в зеркальце бокового вида.
Метр восемьдесят при шестидесяти пяти — так же, как у него.
Мы могли бы идти колесом в триста шестьдесят градусов, —
продолжает. Она молчит, радостно шуриится. Маленькая Лолита
подвязана к ее рюкзачку, болтается, как брелок.

Ее шаг остроносой туфлей шпыняет воздух
послезавтрашний, и по всей длине между ног
ветерок нагуливает себя до юбки, точнее, повязки

на высоких бедрах, тугенько, наискосок,
черной, над которой под легкой тонкой
лунной тканью — как две сестренки
младших, спят, их пока не будят,
но и так видать, что под стать ей будут.
Аля, — шепчет он про себя, — Аленька... —
Что? — она вздрагивает. — Двое нас.
Феска желтая с а-ля вуалькой,
прядь и глаз.

Они слегка под хмельком. Вечер старится
на глазах. Они переходят из бара в бар.
Они слушали трубы, те еще, от Кустурицы.
Лестница чуть покачивается под ногой
где-то в районе Пятницкой. Как из бора в бор,
они переходят из зала в зал, скользя
меж танцующими во тьме деревьями.

Ночь, у барной стойки они, вяжущий золотой
родничок сосут сквозь одну на двоих соломинку.
Светомузыка, пол дрожит и клубится дым,
обволакивая их, он встает, выходит,
долго ищет уборную, долго смотрит в лицо
свое в мокром зеркале, и на себя оптуда.

Открывает дверь: тьма, во тьму
шаг, и чувствует
тело женщины, вдруг прильнувшей к нему, но так,
что не видит ее ни лица, ни тела.
Даже дрожью не назовешь эту странную теплову,
во все стороны вдруг натянутую и опущенную одновременно.

И такое под дых родство, и такое тепло бесстыдное,
голое, свет и щемь
эпих губ, которыми ни вдохнуть, ни выдохнуть
эту пишь, будто вы в праще,
над землей пригнувшейся, до звезды развихрены.

Будто — что? — и не скажешь уже, потому что ни с чем
не сравнимо это —
ни с «я», ни с «она», ни с «мы»,
эпоп обморок света,
чуть от неба оппоротый и от земли.

Он не помнит, как он вернулся к стойке
бара, она ждала его, выживая соломинкой
золотой осадок, глядя поверх каймы.

Он не помнит, как танцевали они, одни
в опустевших залах, что ей шептал — не помнит,
он думал о той, другой. Нет, не думал о ней, а только —
кружась — задувал огни.

Не помнит, как проводил ее, как вернулся,
лег, уснул и вдруг — как нож
по губам полоснул: *ее поцелуй, она!*
Ты... — прошептал он наупро в трубку. —
Да, — ответила. И, помолчав: — А кто ж?

В с т о р о н е

Маленькая голова в небе, а под ним до земли тело,
похожее на пещеру, вывернутую наизнанку. Толком
никто не знал ни имени, ни с какого он света.
Жизнь его состояла из одних пробелов,
если со стороны смотреть, со стороны поселка.
А другой стороны в его жизни не было. Этот
шапко бредущий между домами период мела
мог быть наглядным пособием геологических оплощений,
сквозь него проступавших: разломы, слюда, крыло
с поддувом, плещущее с исподу, часть
женщины с худенькими лопатками, выгнутой в напряженье:
видимо, с животом, выдуваемым как стекло.
Глаза его были всегда открыты, сочась
какой-то переливчатой нефтяной тоской.
Но о глазах потом, еще сквозь тело его мерцали
осколки света, останки хижин, морское дно
с клубящимся, как облака, золотым песком,
берег и, голову спрятавшие под крыло, как цапли,
одноногие ангелы. И все это как бы ходило в нем ходуном.
А если сощуришь глаза чуть в расфокусе, то казалось,
небольшой товарный состав приплясывающих цистерн
везжает в землю или наоборот — из земли расплет.
Части тела его — одновременно — и водили друг друга за нос,
и были сцеплены лбом ко лбу, как Толстой или Сперн.
Руки его казались такой длины, что если б он их простер
вдаль — они бы по локоть свесились за горизонт.
Но на нашей памяти он руку не поднимал — ни просто так,
ни на кого-либо. Так они и висели как две дороги
с развороченными пупиками. Чичиковское колесо
по обеим капилось за верстой верста,

пока он стоял на набережной и пел караоке —
один, во тьме, беззвучно пожевывая пустоту. Чуть в споронке
жила его голова и казалась маленькой, видимо, из-за роста.
Лицо его было соткано из прерывистых сновидений,
в нем кошмар расплывался блаженной улыбкой ребенка,
но улыбкой какою-то ископаемой, пробегая по коже морозцем.
Голубые глаза с нефтяным переливом набегавшей тени.
Непролазный терновник волос с тихим сумраком в их глубине.
Балахонного кроя рубаха, штаны солидного цвета и бос —
и зимою, и летом. В рыбсовхозе работал, хотя рыбсовхоз
его в списках не числил. Спал в баркасе, а на заре
превращался в едва различимую точку у мыса,
забрасывал сети, пенопластовые поплавки
распавляя по мандалой, по иероглифом, по подковой,
возвращался на берег, смотрел, как вдали белобрый
свет на море играл под лучом, как на ногу легки
облака, разводил костерок, если был без улова —
жарил мидии или рапаны, кружка мутного самогона
и чайк из травы, и ложился на спину, две ладони —
под голову, и с открытыми спал, чуть покачиваясь,
будто с горки капился в опущенном гулком вагоне.
А над ним просыпался поселок, в котором
он родился и рос, но не помнил уже — от кого
он родился и где, и когда, и какого рожна.
И не скажет никто. Ветерок перебором
на деревьях играл и гудел себе тихо под нос.
Две коротких отлучки. Леп пять или десять тому —
рыбачок-зубоскал обронил: в Евпатории, мол,
его дочь подрастает. Это было под Новый, он елку
срубил и, украсив шарами ее, босиком по снежку
с этим деревом на плече через горы пошел.
Две недели спустя он стоял в получасе ходьбы
от почти опустевшего города, глядя на черный
над морем свинцовым растущий крениющийся смерч,
он смотрел и вертел его бешеный конус на пальце,
глаз прищурился и рот приоткрыв в два ряда облетченный,
пальцем строя масштаб, как художник, как демон, сиречь.
Тишь стояла, шел смерч во все небо, всосав в горловину
край тучи, волок за собою, тянул за губу,
и близился с воем, панцуя уже по степи,
и, чуть засучивши рукав мешковинный,
писал своим остро оппощенным грифелем тьму
у ног белой лошади, вскинутой вдруг на дыбы

и канувшей в нем вместе с пшитами, теплом, песком,
развихренным ранцем, шезлонгом, блеснувшим окном,
и, круто вильнувши, его подхватил и взметнул
до небес и отпрянул, и он на мгновение завис
с той ряженой елкой на спертном плече и разинутым ртом —
внутри черноротой ревущей воронки, и, переглопнув,
спал тихо снижаться, кружа и качаясь, как лист.
И потом еще долго глядел ему в спину — как топ,
озираясь и горбясь, входил в горизонт.
Он в поселок вернулся к апрелю, неся в рюкзаке
на груди свою девочку, дочку. Две тоненьких белых
руки, обвившие его шею,
и златокудрая голова, прильнувшая к небритой его щеке.
То ли она спала с открытыми, то ли вдаль глядела
за его плечо. А он шел и думал: *любовь на поражение* —
это что значит? Фраза, которую он еще утром прочел,
нацарапанная на облущенной стене автобусной остановки.
Думал, обессиливая от напряжения и, поправляя ляжки,
еще удерживал ладонь над ее волосами, как над свечой:
чувство было такое — теплом щекочущее, как током легким.
Хижину он обустроил в можжевеловой роще, на той поляне,
в сотне метров от моря, за мысом, где жил в те годы,
когда и сам, как снилось ему, был таким, как она сейчас.
Казалось, ей все это нравилось, она смеялась,
глядя в лицо змеям, зачерпывая огонь, как воду,
умывалась им, оплетала лозой баркас
и, отвязывая, отпускала в море, деревьев свадьбы
устраивала, наряжая их, соединяя руки...
Смеялась она беззвучно, оба жили запахнутые в тишину,
с которой она играла как в дочки-матери,
чередуюсь ролями. Маленький такой театр кабуки
на лунной поляне, где он играл и девочку и жену.
А потом они засыпали в четыре открытых глаза;
она — клубочком, уткнувшись ему в плечо,
он — на спине, запрокинув голову, шевеля губами,
ей нашептывал сон, как вода под баркасом
еле слышно шевелит губами. И оплывшей свечой
ангел света споял до утра меж двумя их мирами.
А потом в полусне семенила за ним на рассвете,
и они оплывали: она на носу, чуть нахолодясь
от зябкого ветра и брызг, он — на корме, у мотора,
уже заглушив его, тишь, и забрасывал сети
или их выбирал — зачастую не бог весть

какие дары этой мары, почти уже мора.
Швартовались в поселке, пытаясь напорговать
на крупу и на хлеб, ну а овощи-фрукты
можно было добыть в огородах. Плюс лес,
минус зимы, хотя зимовать
он теперь уходил на квартиру по улочке, крупно
взмывавшей, с единственным домом наперевес.
В этом доме с подслеповатыми окнами, на втором
этаже у него была комната, он о ней вспомнил,
глядя на девочку, идиотично жуящую снег
и по снегу писавшую: *снег* — прошлогодним вороньим пером —
снег снег снег — без конца и от края поляны до края.
До весны — кокон комнаты, чуть подрагивают во сне
до весны и на берег опять возвращаются к раю
доморощенному. Море, небо, шалаш и баркас.
Еще двор был в поселке, где жил человек
с ладной вольницей тела и тихой песчаной улыбкой.
С мая до октябрья двор был полон гостей, всякий раз,
когда он приходил туда с девочкой, человек
улыбался ему, приглашая к столу, тот садился в споронке
и слушал, как будто незримую скрипку
прижав подбородком к плечу. Для ребенка,
казалось ему, это важно, тем паче — они из столиц,
эти дивные люди и их до утра разговоры,
пусть девочка слушает, смотрит... А сам он смотрел,
как солнце из моря встает в мельтешении спиц
и вяжет поселок и небо к поселку, и горы,
и кошку — всю в высверках рыбных чешуек в ведре
опрокинутом. Девочка спит у него на коленях
и, морщась от света, беззвучно смеется во сне.
Однажды, все в том же дворе, ему предложили
сниматься в кино, в главной роли, без слов. Хорошо,
он сказал им. Чуть северней Евпатории, над Сивашом,
то есть низко над этим разбитым кувшином
со зловонной водой, лепил маленький самолет,
до отказа набитый хамсой. Наш герой за штурвалом:
его локти из окон торчат — как вторая пара
крыльев. Медленно открывается люк. Пилот
непроницаем в очках и шлеме. На вираж
самолет заходит, под ним Сиваш
кренился, в котором дети стоят по горло
в воде, и блаженны их лица, глядя,
как дождь нисходил на них из люка

и серебрится струею горней
пиша по глади, как ангел божий...
Кино не сняли, да, и похоже,
не собирались. Он жил в разлуке
с собой все лето — в очках и шлеме
ходил, штурвал
покручивая, и на ходу
гудел, снижаясь,
и засыпал
с такой улыбкой —
почти прорехой,
как будто жаясь
беззвучным смехом.

Впрочем, этот эпизод про кино уже был описан. Гости
разъехались. Сохранилось несколько проб на пленке,
только где, у кого? Ближе к финалу черты лица,
как и любые черты, заостряются. Проступают кости.
Из комнаты его выселили в психбольницу. Я с ребенком,
сказал он двум пришедшим за ним чернецам
в белых халатах. Они кивнули. Это была вторая
его оплучка. Годы шли, никто о нем не вспоминал.
Кроме, пожалуй, тех, кто его выселил, а в психушку
сдал наполовину в шутку, наполовину — чтоб под ногами
не пупался. И нельзя сказать, что он этого не понимал.
Весь поселок в те годы летал над гнездом кукушки.
А потом устаканилось как-то, кто успел — тот урвал.
Выходил он из дома светло и спокойно, два чернеца
по бокам, он не дал им связать ему руки, одну —
у груди он держал, чуть поодаль, как у кольца
парашютного, а другую пониже. И дочка,
обнимая за шею его, вдаль глядела, прижавшись к нему.
Человек, с той улыбкой песочной,
обзавелся семьей, родил сына, деревья в цвету.
Шел июль, гости снова съезжались на дачу —
повзрослевшие дети детей, тех, что прежде гостили.
День в разгаре, ни облака, пир горою в саду.
Человек держит рюмку у губ и медленно поворачивает
чуть уже поседевшую голову к приоткрытой калитке,
и встает, и навстречу друг к другу идут
эти двое, как в замедленной съемке, без звука.
Шлем, очки, синий рваный халат и крошечные нитки
в кровь разбитых спупней, и лицо всё сияет в поту.
Рукомойник в саду. Он садится на хлипенький детский

пабурет. Человек, опускаясь на корточки рядом,
моет ноги ему, чуть касаясь рукой этих давленных гнезд,
опускает их в тазик с холодной, всё то же — младенца
лицо с ископаемой теплой улыбкой и взглядом
этих глаз голубых, от которых по коже мороз...
Он ни капли не изменился, думает человек, как странно.
И, чувствуя что-то неладное, медленно поднимает лицо.
А топ, заваливаясь назад, говорит, но уже не ему — в небо:
Геша, видишь, —
и голова его падает на крыльцо, —
я пришел, успел... —
И губы стягиваются на глазах, как рана.

Край поляны, луна меж ветвей — как крошащийся мел,
если смотришь из ямы. Копал и смотрел,
разгибаясь. Полбаркаса ушло на его домовину, и то —
он лежал целиком не вмещаясь, чуть набок
пришлось повернуть его, ноги в коленях
не гнулись. Казалось, он видит: вот молоток,
вот гвозди — сквозь щели несомкнутых век
с крошащимся мелом, следит, голова его в шлеме
и вмята в плечо подбородком, как скрипку, слюдит,
проседая над гробом, земля, перешептываясь как живая.
Человек, прикуривая, глядит на маленькую елку,
только что посаженную им на могиле, —
как кренился она, подрагивая ресницами,
а топ, в земле, подбородок в плечо вжимая,
прислушивается к этой белой летящей пыли
в себе, и над ним — на ней — светящейся на иголках.

Снег. Талый, в пролежнях свет. Мы сидим на завалинке,
глядя в мутную даль, проглотившую солнечный ком.
Человек с песчаной улыбкой и в кожане
с поднятым воротником наливает по маленькой.
— Жил, умер... Собственно, никакой истории. — Да уж, —
передергивается, — никакой. Девочка вышла замуж. —
И, упирая губы, в сторону, еле слышно: —
Вглубь — проросла — и вышла.

К л а д к а

1

Перед тем, как ехать ее встречать,
он лежит на спине, полуприкрыв глаза,
окна распахнуты, море в одном, в другом гора,
он их не видит, зыбкий под ним топчан,
солнцем исписанный, три на два.

Он не помнит ее. Как и она, впрочем,
мутно. Вдох в телефонной трубке.
Смех ее, как сквознячок, мепущий
в угол пух пополинный речи.
И, заломившая за спину руки
тишь, глухонемая, в лицо орущая.

Что он помнит? Воронеж, дождь,
эту хворь обложную — мотню и глину,
эту в кратких просветах водянку неба,
эти пролежни улиц и рыхлую дрожь
отсыревших домов, слипшихся, как мякина.

Площадь, то есть то, что ею когда-то было.

До колена грязь, муть по грудь и выше.

Цирк бродячий, брошенный и людьми, и Богом.

В центре хляби вагончики полукругом,
на дверях замки, но видны лишь крыши,
и вода тонкогубая припадает к окнам.

Он идет впереди, как плывет, раздвигая руками
эту вязко безвидную хворь, вслед за ним
оператор идет с телекамерой над головой.
Мир, заросший дождем, снизу взглядом косым

смотрит вверх — лишь белки с закапавшимися зрачками.
Свет за городом чайный, спитой.

Он подходит к вагончику, видит спорожа
под соседним: топ лежит, как коряга в тине,
в окружении бутылочных поплавок,
чуть покачивающихся, как девочки в карантине,
с приоткрытым ртом, стекленеющим в сторону облаков,
низких, морошных, шевелящихся как опарыши.

Семь вагончиков, и в одном из них
был пигренок — трехмесячный. Он сдвигает щеколду
наугад, на третьем, у которого чуть посуше:
из паркой тьмы рыжая меховая пуша
валится на него головой под дых,
и оба в грязи выкапываются к щеке щекою.

И оператор над ними уже спрещет,
высвапывая то пасть блаженную, то живот —
как перламутровую поутру
траву, то как он дует в губы ему, щечечет
рифмой ушной испод, и топ —
как пламя в юрте прядает на ветру.

И он, перекапываясь в обнимку с ним,
на взводе
читает ему, а топ — как крутят педали,
месит задними лапами по сторонам его бедер
льняные дали,
которые вдруг подсохли и проросли.

Он читает ему, всунув в глотку
всю ладонь по краешек линии жизни:
«Я принес тебе хлеб с маслом,
съешь его как-нибудь,
цель не имеет смысла,
важен путь...», —
говорит он. Покачиваются как в лодке,
над ними и оператор, и та — с лисьим
личиком телеведущая, и та — Лина,
которую он не помнит. Свистни,
казалось бы, во все пять пальцев —
до седьмого его колена,

но топ головой прясеп, папарин
в халате спеганом полосатом
и измызганной тубетейке.

В паре им хорошо, видасть. Как на пальцах,
усатый растяливает его снизу вверх
на всех четырех лапах, когтит петельки
воздуха и распускает их, лапочка-изувер.

А он читает:

«В этом блефе отчизны я рад, что ты рядом,
то ты носишь оружие — звенящий шиш,
что лежишь на ящиках с денатурапом,
что, прижавшись ко мне, дрожишь,
что глаза твои — виноградины,
что ты волос ведешь к нулю,
что ты спишь, как изменник родины,
я люблю тебя, я тебя так люблю,
что мне кажется — я размножен,
и каждый хочет тебя одну...»

И вынимает из пасти руку свою, как из ножен,
лязгнувших вслед ей, спекающей на траву.

Усом подрагивая, шурипся мон-шер-хан,
вслушиваясь в кириллицу, крупный план:
«эта узкая улочка в теле твоём,
это выход в аспрал через спуск и подъем,
это трепет помленье, улики лакун,
это в терпкой ворсе чернослив и лукум,
это сонмы очнувшихся ангелов: пить!..
это кислый кизил, увлажняющий путь,
это воск, затекающий в грудь и споту,
это нож в животе, это жаркий стамбул,
это мир шпионажа, парад двойников,
это жмурки ужимок и цокот подков...» —

он читает, и лодка крениится над ним
с той, которая из-за плеча
той, которая с лисьим, вороньим, врача,
читателя, совепчика... Томим
духовной жаждою, словам внимая,
как господу песка Енох,
урча, он коду слизывает: «Вдох —

и прыгнул, и вскрикнул от жара меха,
и ангел забьется на гребне греха!» —
и к небу клонится голова его палевая, полевая...
Снято, — говорит оператор, и лодка опчаливает, оплывая.

Да, — он думает, лежа на топчане, —
та тигренка в трико полосатом слегка подросла
к тому времени, как вывалилась из чулана.
Да, с полгода ей было. А этой, которую не —?
Двадцать? Тридцать? Плюс десять с тех пор.
Лес лица за деревьями леп. Возраст сна.
Сам в лесу, словно Дант буриданов.

Странный звук доносится со стороны
книжных полок — ноющий материнский,
но мужской: ззз-жжж-ммм,
как зажим мошонки, или зуб на нерве
подвешенный, иль сверло в мениске,
больше ничего не идет на ум.

Вслушивается, идет вдоль полок,
там, где-то там, по ту сторону книг,
как по струне монетной... Смокло.
Лег. Вновь этот звук — то здесь, то в Бозе,
и вверх, и вниз. Как над колыбелью. Тик
такой звуковой, как ток по зубам, как зуд в намазе.

Вот, вылетает из-за корешка Юнга —
как маленький мотлох ниточный, или молох
маленький — так распущенный книзу,
чтоб по нитям лап перекрученным лезли юнги,
как по лестницам. Или это воздушный волок
в обе стороны вдоль? Как кулисы,
ее ноги спутанные раздвинуты и подвязаны.
И лепит она под их ношей,
перегнувшись даже не в талии,
а в уколе игольном, нуле распясанном,
из которого трепет растет — две проталинки
воздуха узких, на крылья похожих.

И лепит этот бог с ноготок — почерневший, портяжий,
в сонме ниточных ног, словно пучка с куриным дождем.
И лепит эта майя к окну, приседая

как в ямах воздушных, и даже —
на миг замерев — как бы воздух листают,
чуть слюня эти нипочки, или пишком
вдеть пытаясь в незримое их золотое ушко.

Он отворачивается к стене: коврик на ней зеленый.
А топ голубой был — топ, у которого его поселили.
Манечка его звали, Маня. Диссидент от гениталий
и выше — до проплешины, вроде листика клена
поры бабьего лета,
и ушей — приглушенных тонов кошенили,
спрадивариусных, лессировочных. Попивали
и беседовали до рассвета.

Лишь беседовали, никаких движений
к сближенью. И тем не менее
он чувствовал, как оповсюду, из каждой щели
сочится эпоксид его обволакивающий голубоватый снег.
Кухня вся была в книгах, там и сидели,
а книги рассказывали, как в курятнике,
и распахивались, как во сне.

И он не знал, что делать с этой опрятной нежностью,
с этой душевностью вороватой и пульсом беличьим
теплоты, где всё горело голубоватым тихим
пламенем, будто спиртом смочены эти крылья книг,
эта шляпа с узкой пернатой тульей
на гвозде, этот свет в окне, эти стены, стулья
и фигуры две, догорающие на них.

А потом что? Он всаает, выходит на лоджию,
видит, как кот во дворе ест с ладони,
зачерпывает из блюда какую-то требуху
жиденькую, типа супа, и пихонько спонет,
разглядывая ее, поднесенную близко к глазам
мутным, утло слезящимся. Вечер, в пуху
рыльце у неба, чуть позолоченном. Снова
в окне эта тварь: видит его и в проеме висит,
маясь, буквицы в воздухе чертит, войпи
не решаясь. На что ж ты похоже? На слово
под пиплом? Смеркаясь, сбредаются горы.
Как насекомый есенин из пепла лепит
с висящей под ним исидорой.

Вновь жужжит за спиной. Ветерок раздувает
рассыпанные во тьме угольки поселка.
Что же дальше — цыгане, медведи, крыльцо
телестудии, изморось, он напевает
что-то из Кейва, типа: *Father, Father*,
зачем этот крест? Кольцо
лучше, чем крест... И т. д., постукивая
нога об ногу, напевает, фаза
луны — на убыль, то есть Эс русское,
слышит — кто-то вторит ему: горе луковое,
плачь, Папа, плачь!.. Знакомятся. Для разгрузки
берут по маленькой, третий этаж, буфет.
Ночь, вечеринка, топ еще свет.

Он почему-то казался знобяще ярким,
хотя, наверно, лежала медвежья тьма
на нем, а он лежал на голом полу посреди
комнаты — на ней, на Лине, точнее, на арке
опрокинутой ног ее, слыша, как ее голова
вдали выкапывается по полу, как сорняк в степи.
И еще — как дрожат ее щиколотки от звеняще
натянутой теплицы между ними, которую
он оптягивал копчиком, и тогда ее ноги
чуть сходились, и тело ее всеми порами
озиралось и гнулось, тарачась
во тьму, вдруг лишившись опоры.

Свет был ярким, сидели вдоль стен
все, кто там находился, на той вечерине,
глядя, как трепыхалась на голом полу до утра
эта липкая двойня на перекрученной пуповине.
Или это казалось. Ни тела ее, ни лица
не помнит. Ни света меж разведенных колен.

Странно. Будто тела их в памяти обведены мелом
на том полу. Только контур — двойной петлей.
Странно, он помнит едва ли не всех женщин
там — ярких, других, среди которых
была она мутным вдали пробелом,
чуть мешковатым, что ли, и ко всему спиной.
Как и к ней спиной — все эти афродиты и коры.

Он переворачивается на живот. Если,
думает он, вчерне
всех их собрать, тех, кто
ноги раскидывал на этом воп попчане,
получилась бы та еще песнь песней.
В духе техно.
А увенчать ее той малюткой, с луны
свалившейся прямо ему в кровать
и лепет продолжавшей, переворачиваясь на ленту
под ним, как кошка, и сглазывала слюну,
и разбрызгивала ее, как лунный свет,
и вдруг — дернувшись — так начала кричать,
что стеклагнулись, а он в попу
пытался зажать ей рот, ноги
ее разбегались топотом по потолку,
вспышка крика, его отбросило от нее струей,
не урина, нет — что ж тогда? — и с таким напором
вверх, как у кипа, точнее, кипенка...
И всхлипывая, она еще долго техкала,
запихая в его ладонях, вдаль на горы
глядя, запуманенные в окне, тропинки
заплетая в косички, в танец
медленный, и покусывала его палец
влажный — маленькими, со щербинкой.

Тот же звук. Свет включает, подходит: то
там, то левее, где проза русская, вынимает
сразу несколько книг; из-за второго ряда
она поднимается, как вертолет над плато,
чуть обгорелый, и стоит в воздухе. И, камлая,
сводит лапки передние у лица,
и вдруг передергивается.
И, как раненый командир на плечах отряда —
по числу ее спутанных ног субтильных, —
проплывает, пошатываясь над корешками,
и голова ее чуть набок свернула, краем глаза
следя, как он вынимает книгу, на тыльной
стороне которой видны уложенные рядами
то ли мешочки шиферные, то ли трубочки
со сквозным, уходящим конусом, лазом.

И в каждом лазе таком подрагивает начинка,
спеленатая в эпох крохский сквознячный шифер.

И лежат эти свертки елочкой, по четыре в ряду,
склеенные меж собой, и в каждом эта лучинка
теплился. Пруст. Под сенью девушек в саду.

Спонет, перебирая лапами, как подбирают шифр,
стынет в воздухе у виска, чуть сзади.
И вдруг исчезает. Он подходит к окну,
голый, чуть ссутулившись от прохлады.
Эклер, трубочки, шепчет, русский писатель,
во втором ряду... И счищает их ряд за рядом
перочинным ножом в морозящую тьму.

Перед тем, как ехать ее встречать,
он еще трижды находил кладку:
на Булгакове, Диккенсе и на Кюхле
Тынянова. Окна распахнуты. Первую мать
он по стеклу размазал спичечным коробком,
вторую — сбил на лету и прихлопнул туфлей,
она отпечаталась на подошве, как штрих-код.
И пока он считывал его ножом, влетела третья —
и сразу к полкам, и долго висала там челноком,
по оседая к нижним, по восходя. Рот
приоткрыт, вязкий янтарь в нем плещущим угольком,
и руки, сплетенные с ногами, висят как плети.

Он смотрит по на нее, по на штрих-код подошвы.
Он сидит на полу, а та считывает корешки,
по влетая вглубь, по выныривая оплуда.
Чаадаев, Шпет, Бердяев, Флоренский... Тошно
ему — будто этим давленным шифером все кишки
переполнены. И ладони липкие, как от блуда.

И не закроешь окно — пекло и духота.
А они все летят. Стоит одну убить,
туп же другая стоит в проеме.
Или эта же? А если не убивать, тогда —
где самому жить?
В осином дупле? В выгребной яме?
С ними, в их развихренном рое, в роддоме
эпих крохотных демонов с сосками книг?

Не убий, бормотал он, спускаясь к морю,
эпих куколок-летчиков, эту библиомамку.

Как же она, убиенная, передает другой
именно этот путь? И почему к нему именно,
не к соседу? И почему в книгах — в эпитафиях,
а не других? Что ж это все значит?

Море лежит нечесаное, в седых лохмах,
облако над ним висит, как маленькая душа,
чуть оплывшая. Мент в кипеле
на голое и без обуви проезжает на мотоцикле.
Дерево присело на корточки, как два бомжа.
Если сложить в одну фразу все эти меченые
книжки, — он думает, — что получится? Плохо
получается, то есть ничего вразумительного.

Дом — одним скачком крыши заподлицо с землей,
другим — навывап. Боб Марлей
доносится: *be happy, don't worry...*
zachem tebe getorroj?
Продвинутые индусы носят лицо под марлей,
чтоб не обидеть вдохом
фауну, да и выдохом не огреть. Подворье
приятеля, сын его — карапуз — у калипки:
знаешь, говорит, я буду послушник своего сердца.
И пузырится под куст из пипетки торчком,
и, смолкая, уходит в себя, чуть насупясь, бочком,
прячась в возраст, как в домик улипка.

Нитки, шепчет он, гладя его по голове, глядя,
как москвичи на веранде заливают водку
в арбуз. Как с песочной улыбкой его приятель
идет навстречу и, подхватив на руки малыша,
в небо подкидывает и ловит, а тот смеется:
ангел, ангел! — кричит. Что ж это за душа
так его прошибает, как ток сквозь обмотку?
Нитки, шепчет он вслед, нитки, вьется...

Он идет по перрону, проталкиваясь меж корзин,
лбов, плечей, чемоданов, тачек, идущих цепью
извозчиков с криком: *Саки, Саки,*
Евпатория, Ялта, под ключ, такси...
Незаборчиво, слышится как плацебо.
Зразы, цыпочки, пиво, раки...

Он не помнит ее, а она его. *Недорого* —
люкс — *недорого*... Четырнадцатый вагон.
Первой выходил тетка с буденновскими усами.
Господи, пронеси... — зажмуривается. За ней —
Лаура... Да! — он прынул вперед, Два борова
подхватывают ее с двух сторон
и уносят. Четыре Усами
Бен Ладена, бабушка с мамой, старлей...

И... Не-е-п, морщится он, улыбаясь, розы
протягивая. Пльвеп под ногой перрон.
Рот плотояден, прищур из-под крашенных
рыжих, вся — здесь,
ноги крепенькие, спюеросовые,
хорошо заквашенный
бюст, вес, весь.

Всю дорогу она пересказывает ему свои
сутки купейные, как пересказывают сериал.
Он меняет местами ее с шофером автобуса —
мысленно, — и теперь она далеко впереди,
а шофер, пустопу покручивая, как баранку,
превращаемую в ленту мебиуса
на крутых поворотах, подмигивает ему,
сидя рядом, глядя, как она колет шпилькой
педаль газа, пугая с тормозом, по стеклу
лобовому свой сериал размазывая
с этим воронежским «г» — как перец в горилке, —
всплывшим к горлышку ее бледно-желтой речи.

Она принадлежала к тем хладнокровным,
к которым только прижмись — и, как от печи,
пышет. С мягким знаком, с которым печь и
печь. В Думе она работала. В Думе, не приходя
в чувства. По линии *public relations*. С ровным
характером. Ровным, с которым уж лучше лечь,
чем стоять. Хотя,
ляжешь, и трудно сказать — что лучше.

Они чуть опаздывают, у него сегодня
творческий вечер на даче Чехова, в шесть.
Она все прещип о своем. А если б он был
нормальным чел. и хотел бы сосредоточиться?

Трещип. Скалы, прикрывшие дачку, похожи на жест
к небу выпростанного среднего пальца. Типа: фил-
fisk! Очень по-чеховски. Домик у моря, сад,
брызги в него залетают, кропя бамбук —
единственное, что здесь высадил классик,
кроме Книппер и трех сестер. У китайцев
для бамбука и числа 44 — один иероглиф.
Антон Палыч Бамбук умер в сорок четыре.

Из существенного в музее — столж:
маленький, но тяжельый, пуда в два.
Остается неясным, что с ним делал Бамбук,
будучи метр девяносто ростом. На попа
он кладет его на некой сцене в саду
и ложится, будто сидит за ним, подогнув колени.

Публика рассказывает на земле, против света,
с головой упоая в цветочных куцах. Шесть
без четверти. Солнце закапывается, но перед тем —
как бы чуть размывает очертанья предметов,
будто ниточный контур их начинает подрагивать
и слопиться, как бы множа свои клише,
или как шест в миг отрыва от прыгуна,
или как одну от другой отрывают марки,
эпоп воздух, обшептывающий себя, эпоп заговор
очертаний, вдруг вскипающих пузырьками... Дна
не видно, будто всё вспузырили палкой.
И, слезясь, эпоп свет близорукий, паркий,
как чулок слабеет и сползает за гору.

Он лежит в этой позе сидящего за столом,
глядя вслед ускользящему: легко сказать...
Как на прикус серебряную мышь. Воронеж
в первом ряду сидит, точнее, во втором:
перед ней сидит куст, по его сторонам
руки ее — как две балясины.

Метрах в ста от берега незримая борона
ходит по морю под плюмажем чаечным. Тронешь
руку — вспомни, вернет сама, —
вспоминает он Лено Федорова. Над кустом
проплывает смотритель музея: «Ну, пора нам», —
и растворяется в воздухе, два по сто

остаются висеть еще, чуть позвякивая друг о друга.

«Крым похож на цветущий лобок;
тайна ног — в пучеглазой пучине.
Вероятно, по этой причине
здесь гостили и Пушкин, и Блок...»
Он читает, похоже, уже давно,
онемела рука, поддувает с востока.
«...остывает цветущий лобок,
и целует звезда между ног
его в родинку — в Севастополь».

Он читает, глядя поверх страниц в какую-то почку,
блуждающую над морем. Чуть левей, у причала,
динозавр покачивается на плавучем понтоне,
нить суча изо рта. Он читает бессвязные строчки —
наугад — без конца и начала,
и молчит, и губами шевелит, и тонет в себя.

«Там, где время стоит во хмелю,
обхвативши остывшее древо,
оглянься: ты живешь за семью
золотыми печатями неба,
в кривом поселке о трех головах:
Обольщенья, Вины и Забвенья,
в голом гулком раю, на словах,
на развалинах стихотворенья...»

Он читает, но сам он не здесь. Борона
чешет берег. Смеркается. Как в купоросе
понуп горы вдали и уже не всплывают.
Он не видел меня, хоть порой в мою сторону косит
настороженный глаз. Мое дело пока спорна —
та, где пишут, его — где живут и читают.

Он, взглянув на часы, поднимается,
обводя едва различимые в кущах лица.
«Писаная красавица —
жизнь прошла: — Кому
что, — обернулась, — нравится,
а мне — осень в Крыму».
Собирает разбросанные под столом страницы.

Здравствуй, —
говорит ему тоненькая мумия на костылях,
чуть приоткрыв зыбкий
рот, почти без зубов, — ты не помнишь меня?
Ну да, за два этих года мало что от меня осталось.
Вот, — и протягивает ему камешек, семена
под собой ногами. И — неп его, лишь улыбка
еще висит в воздухе, медленно угасая.

На камешке дачка Чехова нарисована,
мыс, море... Еще теплится его шепот в ушах:
«Если денег хочешь — положи его на востоке,
если счастья — на севере, а на юге — зима».
Море было исполосовано золотом, как пигриная шкура,
они оба водили ладонью над горизонтом, будущим ворожа.
Был художником, ладным, раскованным, с Богом
жил на «ты». Кто ж кого из них выронил так, прозевал...

Он сидит, свесив ноги во тьму с парапета,
пьет с друзьями вино, с накренным стаканом
Воронеж лежит у него на коленях,
хмеля, ввысь глядит. С того света,
он думает, этим звездам виднее...
Они шмыгают там, — она вдруг говорит,
отхлебнув, — они шмыгают, как тараканы.

Он открывает дверь, свет зажигает, поглядывая
в сторону книжных полок. Тихо. Она еще там,
в ванной, поет что-то рваненькое, лопочет.
А он все круги наматывает вокруг себя,
поглядывая украдкой,
и такая в груди ноющая нищета...
Кафка, Замок, читает на корешке.
Блеск и нищета, бормочет,
руку протягивая, курпизанок.
И отдергивает руку. Кладка.

Она входит в коротком халатике с полотенцем,
завязанным на голове, лицо в огуречной маске,
похлопывает себя по щекам, букву «о»
выпячивая губами, и садится к зеркальцу,
напевая, и вынимает глазки
пинцетом, и опускает в кружку а-ля арп-нуаво.

Дни идут, а точнее — лежат. Он давно уже не ночует.
Рыбка в вашем поселке водится? — спросила наутро.
На обед был мороженный хек. Пять кг. Как с мороза дрова.
Хек. Мороженный. Здесь. В июле. У моря. Кочует
он от дерева к дереву, ночь за ночью. Она
каждый полдень волочит авоську, напудрив
нос облезший, авоську с поленьями рыб
ледяных, летаргических, нездешних,
и, окно распахнув, жарит их, жарит, жарит и ест.

До полудня она сидела обычно меж каменных глыб
на Чеховке и читала. Холодным, потом медузным
было море. Воздух шапкий от пекла. Мотыльковый навес.
Шла домой, ела рыбу, не отрываясь от книги,
той же, выбранной ею, — «Так говорил Зарапустра»,
и, сморившись, спала дотемна.

Он входил: и, отпрянув, шнуруя следы как улики,
две — металась у полок — две мамки, одна
с другой перевившись. И с пеньем печальным —
друг в друга — плывали в оконный проем.
Странно, если она их не замечала. Или зреньё
было настолько слабеньким у нее?

2

На рассвете он с приятелем плывет на моторке
на дальний мыс, отгороженный от всего
человеческого. Бухта, заваленная валунами,
и отвесные скалы с узлом облаков на закорках.
Узкий вогнутый пляж, глубоко
вогнутый — так, что перед глазами —
ничего, кроме моря, пожимающего плечами.

Они высаживаются, лодка отчаливает на волю.
Топ лоскут относительно ровной суши
в гроте — занял: девушка, парень и в стороне под тентом
дочь их; ступня в колодке — то ли ушиб, то ли
хуже, шина пока самопальная. Девочка смочет грушу
и на море глядит, оба тихо лежат, лапентный
у обоих период. Завтра за ними придет катер,
послезавтра их поезд московский. Ночь. Низкие

лисьи холки зарниц, поштармливает, по уши заливая
бухту к утру. Как два баклана, они с приятелем
в небе сидят, на карнизе скалы, брызгами
обсыпаемы. Горы — как в паутине, а меж них селевая
жижа ползет и вползает в море, как змея за вороп.

А над морем радуга, а над ней стакан
между ними, сидящими на уступе неба.
Море, говорит он приятелю, в ракурсах фотовспышек
было, как святой Себастьян
в стрелах. И опщипывает от краюхи хлеба —
мокрой солоноватой. Катер, пока не уляжется,
не придет. Надо их вырвать. Не выбраться им,
говорит, с их поклажей из этой ступы.
И вот, навьюченные, они поднимаются, волоча
и часть вещей их, и девочку на плечах,
передавая ее на уступ с уступа.

Скользко. Он оступается, падает, виснет
на выпянутой руке. Море под ним, как сбивый ноготь.
Иль это небо? Приятель вытаскивает его, как птицу,
за крыло — то ли сломанное, то ли вывихнутое в ключице.
Нет, похоже, лишь связки порваны, повисит немного —
с месяц — и вернется к жизни.

Слава Богу, думает, сидя на валуне, пеленой в плену
глядя, Слава Богу, что он перед тем успел
передать девочку... Распеленывается, чуть мерцает
пароходик ресниц вдали, нитки, шифер... К утру
он приваливается к стене и с улыбкой уже во сне
по стене сползает.

Его будит сестра приятеля. Левая? — переспрашивает. —
Значит, много даешь — людикам. Ромашки спрятались.
Будь внимательней. Вот если б правая...
Висит, он думает, как у тех мамок, но пока — одна.
И постанывает свозь зубы. Поникли лютики, —
напекает сестра, заваривая чай с травами.
Правая.

А та, что от сердца, младшая, — умерла.
И с того уже света спучалась к брату
в ночь, в дверь. Он распахивает: метель.
И все вглядывается в этот снежный амок

и не видит ее, хотя чувствует рядом.

— Даже обнять хотел...

Здесь, на пороге, прямо

передо мной, — говорит, —

да руки не поднялись.

Да, веселенькая картинка, думает, языком
приплясывая, забавляя гостей приятеля
и, как детский почерк, сучками по поселку
куролесит, малость, кажется, под хмельком,
только кажется — малость. Присев на корточки,
с расписным котом беседует втихомолку.

Моря неп: неп ни рыбы под, над — ни ппицы.

Свет звенит над ним, чуть с опливом

в синеву — как в морге. Морг и есть. Моря

неп. Даже если б оно и было — не подступиться:

свиномапочный месяц — в при этажа

визжат в воде, в два — лежат в коридоре.

И потом, даже если — куда ж нам плыть?

В Смирну, лбом в буй? В шашки играй, Чапай.

В лес сходи. Но и леса неп: гор чехлы

камуфляжные. Задувает он свой поселок лет,

как свечной пирог. Тьма, дымок. Не чабан

своему я брату, — как говорят хохлы

правоверные.

Пусть идет домой, но и дом — не дом,

а привал на опшибе жизни, раскоп, стоянка,

периода палеолита его биографии.

Когда-то он счастлив был там, а теперь с трудом

дорогу находит — разве что по запаху хека

и над Заратустрой хекающей в окне Ананке.

Может, ее уже съели те шиферные малыши?

И она лежит на полу, как куколка, полая,

свиристля полами? Или они, как за мамкой,

ходят за ней, привыкая, рыбу грызут в обед

мороженую? Жирные карандаши

налетели на мертвую. По мобилке с сыном

вчера говорила, девятилетним. Может,

это его сын? Чертовы выетнамки,

рвутся.

Нет, не пахнет от них — ни резиною, ни пластмассой
от этих барби, ничем не пахнет. Ни сном, ни спермой.
Лишь изводят зрачок понапрасну их лекальные оболочки.
Нет ни моря, ни гор, ни — чего там? По списку.
Ни жены, ни вьетнамок, ни дома... Наверное, нервы.
Нет, и их нет. Что ж есть? — Озирается. — Книги,
и в воздухе низко
над ними — две мамки, танцующие на носочках.

Он стоит, как во сне, на развилке дорог.
Голосует, но странно: будто книгу к началу листовая —
все, что дальше могло быть. Могло,
значит — было. На нити распускает их сон:
и его, и тигренка в пенсне, и тех тварей, чей бог —
словом был, и поселок во тьме, и воронез..
И, расплывшись в рассветной улыбке, вдевает в окно —
не то, по ошибке.

у р а с п а х н у т о г о

Они где-то там, в небе, за углом его зренья,
как сметенные за край страницы знаки
певчего препинанья, кружат, стягиваясь в пращу,
и, развихриваясь, приближаются, вдруг врываются
в проем оконный, бьются в лицо его; накупь
их оспроклювая застип его и сквозь прищур
верещит, когтя хрусталик его, задернув воздух
тысячекрылой тьмой, они губ египет
считывают сквозь ладонь его, и, уже считав
дельпу ее, плюют в лицо ему этим визгом
своим целлулоидным, на цокающий дельфиний
сбиваясь, на липкий лепет,
и — неп их, звук лопнувшей вдруг струны.

На двенадцатом этаже у распахнутого окна
стоип он; ни города под ним, ни страны.
Чистый лист утреннего перламутра, вновь с угла
в клочья рвущийся — так, будто это его лицо
рвется, и снова лист стягивается на глазах в чистый.

А они опять, эти ласточки, на вираж заходят,
чтобы снова биться в лицо ему и кричать...
Если б мог он думать сейчас, он бы как-то связал
этих ласточек с тем, что в комнате происходил
за спиной его. Но лишь стоип что-либо начать
ему связывать, как снежил и снежил в глазах.

То, что это не человек, там, в углу за спиной, — это ясно
ему, безотчетно. Не сон, не виденье. Но что?

То есть кто? Голая на голом полу, сидела она, утопив

подбородок в колени, чуть искоса глядя на ноги его,
проходившие мимо, на свет меж раздвинутых штор,
на дверь приоткрытую в кухню, где пил нарастев
свой упренный кофе, и снова на ноги в проеме дверном,
на чашку, взметнувшую черной косой парусок,
на то, как отпрянул и замер, а чашка висела
в воздухе, пересчитывая под собой осколки,
на эпоксидный распущий под его босыми ступнями мысок
золотистого света. Искоса, из угла. Онемело
он глядел на нее. А она на него. И свеченье
меж ее напряженно сощуренных век исходило такой
сверхъестественной силы, что мнилось — открой
чуть пошире глаза, и его бы смело световою волной.

Но удерживала, чуть раскачивая, как качели,
эпоксидный свет меж век, глядя искоса, из угла,
в этой позе — уткнув подбородок в колени
и светясь в глубине этой волглою пещеры —
будто худенький серпик луны на ущербе,
отраженный в воде зыбкой дрожью до дна.

Он стоит на двенадцатом, у распахнутого. Стрижи,
шепчет он, неп, не ласточки-ангионы,
а стрижи. Как прихотливо мысль
ведет себя — над пропастью виписывая во ржи,
с себе спиной, что ищет — листригонов?
Тот лунный свет в углу, как голубой кумыс
в кувшине тьмы, без тьмы и без кувшина.

Вчера художник-друг оставил ему ключ и
уехал к морю. К ночи
дверь изнутри он запер. Утром
трижды мимо того угла прошел. Кто, впрочем,
сказал, что если ангел, то непременно крылья?
Искоса, из-за шелка пучи
она на него глядела, как луна на хутор.

У распахнутого, снова чистый
станет черным от этой стаи.
Черный, скомкан, в лицо брошен.
И опять проступает истый,
белый, как из пепла.
Что за книгу они листают?

Они, он шепчет, слюняп страницы.
Они не могут взлететь с земли.
Их путь не здешний, но и не ппичий.
Кривая в небе им только снится.
Попав на землю, ползут и гибнут —
зачем иначе им крылья такой длины?
Их хвост раздвоен, они не в лимбе,
они в звезде, как че-к у Винчи.

Он стоял и смотрел на нее, наверно,
прикрывая лицо ладонью, тем же жестом,
как сейчас от птиц, Тыльной ее стороной к губам.
Взгляд его поневоле скользил к той ложбинке вербной
серебристо-пуховой, почти беспелесной —
так казалось ему, судя по лунопичным верхам.

Он, наверное, что-то тихо сказал ей, вроде: *ты кто?*
Так, что и сам не расслышал, глядяваясь в ее черты:
неуловимо они на глазах менялись —
от дочки до мапери, до...
Губы ее подрагивали, чуть приоткрыты: *ты... ты... ты...*
Или это она так дышала — прерывисто, чуть задыхаясь?

И вновь отдаваясь, смывала черты и светилась в углу,
как серпик луны в ореоле — к похолоданию.
И близилась снова — другою, по льду, не по крови.
Лицо протупало как пишеть мороз по стеклу,
и пуп же теряло свои очертанья,
но так, будто кто-то стоял за стеклом нагопаве,
губами прильнув, замупняя дыханьем...

Но как бы она ни менялась — она не менялась,
воп ведь что. И не потому, что ее черты
не значили ничего. Не в этом дело. Мир, как кошка,
падал внутри него, кувьркаясь в воздухе, уменьшаясь
до неразличимой точки, закавыченной в коготки.
И неважно — где и когда земля, да и будет ли.

Он стоипт у распахнутого... Этой жизни в углу нет имени,
этой худенькой лунной, в колени лицом,
не из тех, с кем живут долго-долго и счастливо,
не из тех, с кем в огне ли любви, в ее дыме ли...

У распахнутого... Ночь выкапывала луну, как яйцо
по небу, будто порчу снимала. Сейчас она
лишь едва видна, чуть туманней, чем та — в углу.

Не из тех... Он как птица отводит беду от гнезда:
голем, призрак, пришелец, сукуб, и вообще —
это кукла художника, друга, к нему...
Но как молот в груди: да!.. да!.. Та
это женщина, та, и не спутать ни с чем
это чувство, точнее, предчувствие: Ты!..
Он стоит —
без которой и Бог — пустота.
— у распахнутого. И — летит...

Но не он, а земля к нему, да и та —
как исписанная страница —
лишь покачивается вдали.
Он висит на незримых нитях
под раскрывшимся ппичьим куполом. Так легка —
если взгляд отвести от земли —
эта ноша. Легче воздуха. Он струится,
глядя искоса сверху вниз
на распахнутое, почти невидим —
как топ серпик луны,
как жизнь...

Письма ее были сродни тому мигу перед оргазмом, когда ты уже не властен продлить себя, отвлечь, увернуться. Еще долю секунды назад — да, может быть, а теперь — нет. Разумеется, без обращения, без начала, с лету... Так пшлица — камнем входит в пенящуюся волну и взмывает брызгами, сжимаясь в пшлицу — передернутую, другую. Письма ее — этот миг удара о зеркало вспененное маленькой голой грудью, горлом, голосом, на самой высокой рвущейся ноте своего тела, с какой-то едва ли не инцестуальной детскостью, девственностью, опчаянной чистотой. И всплеск (вскрик) этого зеркального крошева над собой, уносимый ветром, как пшлица вдаль.

Писала она о музыке — светопенью, о живописи — музыкой, о трепете молний в прожилках листьев, зрачках людей...

Он не помнит — когда и как они встретились. В имени ее помилась шамаханская царица, мнилась фата-моргана, привкус тимьяна, мать-тма в предрассветной фате. А в фамилии — ход: в никуда, ниоткуда.

Кажется, ей было коротко за двадцать. Она училась на философском факультете МГУ, а родилась и жила во Владикавказе, в то время еще Орджоникидзе. Похоже, он не видел ее прежде, до своего приезда в Осетию. Или это ему сейчас так кажется.

Дня два-три спустя по приезде он попросил друзей забросить его в какую-нибудь горную глухомань, пожить недельку на безлюдном краю пропасти. И они отвезли его в пустующий домик без вести пропавшего художника. Это был тупик ущелья, верхние края которого, когда он, запрокинув голову, вел по ним взглядом, резали глаз как стекло. А ночью звезды текли по этому желобу: те, что помельче, — над, а покрупнее, набрякшие мокрым светом, — вровень с краями и ниже.

Дом его висел на отшибе, верхний. Под ним, на ниточном дне ущелья, присело еще с десяток полуживых хибар и крохотный магазин, куда раз в неделю подвозили масло, например, с резиновыми сапогами или топор с конфетами.

Перед отъездом они привели ему осла, который прежде жил здесь, у художника, а с тех пор, как он канул, простаивал в крайнем доме, у соседей. Осел был шерстяной, баклажанного цвета. А глаза — золотые, с фитильком, лампадные. И когда он близорукно смежал их, казалось, они чуть кадили — длинными спутанными ресницами. Ночами осел стоял у окна, за ставней. А с первым лучом просовывал голову в окно и, приблизив к подушке приоткрытые в сардонической ухмылке губы, вздыхал в уворачивающееся от него во сне лицо Випалия, которому снилась весенняя разьеженная колея и осколки солнца под тонким льдом. И он открывал глаза и смотрел в эту мутную колею губ с желтыми приутопленными в ней зубами. Смотрел, идиотично улыбаясь в ответ, и как-то неловко, боком приходил в себя. Выйдя во двор и отмыв ясли лица, он садился на этого мохнатого Апулея, и они спускались вниз: он — перебирая пятками по траве, а осел — перебирая губами горечь утраченных алфавитов. Вниз, к магазину, к людям. Которых не было. Осел смотрел в пыльное стекло закрытого магазина на свое двухголовое отражение, за которым стоял мешок с макаронами, за которым смутно виднелся склон горы с подразумеваемым над ним небом.

Друзья приехали за ним ровно через неделю, по уговору. Среди них была Ф. Да, пожалуй, тогда он и увидел ее впервые. Приглушенно-зеленоватая долгополая юбка. А верх? Нет, верх не вспомнить. Маленькая, очень волнующая — там, за этим тоненьким верхом, — грудь, кажется, он чувствовал, как учащенно, по-птичьи, бьется ее сердце. Она сидела напротив него, в дальнем торце стола, он говорил, она молчала, глядя во все глаза, даже прикрыв их, глядя.

Да, глаза и губы ее так прищипывали его взгляд, что если он и мог отвести взгляд от губ ее, то только к глазам, а от глаз — к губам. - А то и другое вместе — было выше сил, захлебывалось во взгляде. Губы ее... такие, наверное, снятся розам в их грубоватой земной жизни. Чуть припухлые, беззащитно-одапливые, с матово-розовым светом, с этой блекло-карминной пыльцой меж ними. И это на фоне гладких слепяще-черных волос, чуть выгнутых вперед — салазочками — у плеч, разлета бровей — чуть светящихся, и глаз — той слюдяной черноты, когда цвет уже обесценивает быть собой, обливаясь солнцем, проступая умбристо-карим. И эти веки ее, верхние, когда она прикрывала глаза, такие пергаментно-тонкие, почти на просвет, такие выпукло-длинные, что казалось, можно на них писать длинные зимние письма. Чем? Губами. Дыханьем.

От губ к глазам, а все, что их окружало в лице, было... как сестры их, младшие. Чуть в тени, с тактильной нежностью им, старшим, уступавшие свет.

Нет, не то чтобы нарушалось некое равновесие. Черты лица ее были в удивительной гармонии, с той легкой асимметрией, которая и создает ощущение красоты (как неправильный прикус, обнаруженный антропологами за сомкнутыми губами Венеры Милосской).

Да, «правильные» черты, но в том и фокус, что именно это и ускользало от взгляда. Как портреты на персидских миниатюрах, когда взгляд не вязнет в красоте «правильности», «безупречности», а нектарится подробностями, глубинной периферией, освобождаясь от первой — изначально заданной, разумеющейся экспозиции — для второй, проступающей в обратной перспективе. Но и это — и так и не так, взгляд блуждает в зазоре меж ними, как луналик, без рук.

Да, подробности, вот по, оказалось, чему он истосковался в женщине. Не по лекальной (легальной) форме ее. Древние индусы, когда Запад был еще безвиден и пуст, писали, что не важны ни сюжет, ни характеры, ни развязка; книга кончается там, где исчерпывается ее *письмо*, каллиграфия неочевидного.

И эта пленительная двойственность была во всем ее облике, фигуре, повадке. Тело ее, еще колеблясь между девочкой и женщиной, в этом затаявшем дыханье просвете, прикрывалось какой-то бравадной мальчишеской угловатостью. От неловкости за себя, за этот просвет, это тело, созданное с такой беззащитной любовью.

И угловатость эта касалась всего — бедер, которые казались мальчишскими, походки, идущей что ли чуть в стороне от нее, рук в карманных прорезях юбки, мол, «подумаешь, — руки», и все это как бы смазывало эрос ее как женщины, сбивало с толку этим распушим прищипаньем без свойственного ему возбуждения.

Но наряду (или за, сквозь, чуть в стороне?) с этой очевидной угловатостью (как и в той двойственной перспективе лица) проступал этот ласточкин импульсивный почерк — чувств, речи, жизни. Ласточкин, не для земли: ни взлететь с нее, ни приземлиться.

— Жизнь, — подхватывала она лукаво, — кончается не там, где смолкает ее сюжет, коллизии, а там, где исчерпывается форма ее записи.

— То есть? — подыгрывал он ей. — Почерк? Язык описания?

— Ну, — улыбалась, — в этом смысле «чуждое мгновенье» смолкает где-то на пятой строке. Дальше — работа инерции, повтор.

— Но ведь на этом, — сказал он, как бы листая пальцем воздух меж ними, — основан принцип узнаваемости, без которого наше восприятие невозможно.

— О том и речь, — и стихла, попутясь.

И вдруг с какой-то по-детски обескураживающей прямопой:

— Оно — посмертно.

И — эта взвесь отваги и страха в ппичьем вздроге ее головы — вверх и в сторону — к небу. Этой отваги открытости. То есть бездомья. Жизнь настежь.

Он говорил чуть в сторону от нее, стараясь не встретиться взглядом. Как и осел в окне — чуть в сторону от него, положив голову на подоконник. Он говорил, все более распаяясь, замешивая краску на вдохе, уже не глядя в палиптру. Он говорил меж всплесками смеха и замороженной пишины, и все ж, не удерживаясь, на миг встречался с ней взглядом. И этого мига хватало, чтоб взгляд уходил в ее зрачок, как пловец за жемчужиной. И он продолжал говорить, отведа глаза, а взгляд уходил все глубже, и она чувствовала его, уже животом, дном, вверх отпалкиваясь от него, к горлу.

Он рассказывал, как на третий день, обводя в бинокль округу, он увидел вдали на холме рваное озерцо огня. Странное, непонятное. Будто красная черепица выпрастывалась из земли и шла ходуном. С полпути он уже смог различить, что это. Табун лошадей. И, подходя ближе, не верил глазам. Такого роста были они, что застпили небо, в каждой из них мог еще разместиться табун. А цвет — пуще пламени. Глядеть в этот жар можно было лишь прикрываясь рукой. И блеклой тенью под каждой лежал топ, петрово-водкинский конь. На жгуче-зеленой траве.

Он стоял не моргая, глаза. Пастух тронул его за плечо, сзади, подтягивая за узду пылающего исполина и, кивнув вдале, вложил ему в руку поводья.

Он не правил лошадью, она шла сама, а он, сидя на ней, плав в небе. Он не помнил, сколько так длилось, тропа полого завивалась в гору, а когда оглянулся — вновь увидел то горящее озерцо, но теперь далеко внизу. И повернул голову, и глянул вверх: снежный хребет, и над ним тонкая полоска ультрамарина. Лежище ангелов, он подумал, там.

Там, он подумал, выживая взглядом путь к этой взметенной над ним белизне, там, в небе, где ни одна нога не ступала, и начал направлять лошадь вверх, все круче, уже без тропы, по осыпи, а потом, когда лошадь стала скользить, заваливаясь, сойдя с нее, расседлав, и, волоча седло на себе, подтягивал ее вверх за собой за узду. Солнце уже было в зените, и долина уже едва виднелась внизу, отдаваясь, а вершина будто стояла на месте, не приближаясь.

Перекур. Он — на камне, лошадь — чуть ниже, сидя на боку, подмывая под себя задние ноги и упираясь подрагивающими передними, тянула к нему голову, смаргивая его отражение — крохотную, как в перевернутом бинокле, скрюченную фигурку со стружкой дыма.

Это было безумьем, он понял, но лошадь вниз не пойдет по такому отвесу, он уже пробовал ее развернуть. А так хотелось во весь опор промчаться по этому белому космосу, один световой миг...

Солнце уже садилось, когда они наконец вползли на кряж. О том, чтобы оседлать ее, и речи быть не могло, не говоря уже о галопе во весь опор. По ту сторону кряжа — отвесная бездна. По эту — насколько видит глаз — нет спуска. Через несколько часов здесь будет минус двадцать, тридцать... Он представил себя свернувшимся клубком в паху у лежащей лошади. Ночь, звезды, скользящие по снежному стеклу.

Он шел по узкому кряжу в темнеющем небе, ведя за собой лошадь, проваливаясь в снег по пояс. Это была единственная и последняя возможность спуска: расселина, ведущая вниз, похоже, до самой долины. Угол спуска был градусов сорок, местами круче. Метрах в пятидесяти от истока она сужалась до желоба, на всем протяжении заросшего не то чтобы деревьями, а какими-то низкорослыми безрукими стволами. Это вмерзшее в снег столбнячное войско вилось в долину, видно, не первую сотню лет.

Ну, с Богом, сказал он, намотав на кулак поводья, и спутил на край, подпигивая за собой лошадь. Она тихо заржала, артачась. Нет, это было не ржанье, — так, хрипловатый выдох сквозь приподнятую губу. Он сделал еще несколько шагов, и ноги его взметнулись вверх, лошадь осела на круп, он повис на ее шее, одной рукой держась за узду у ее разжатых губ, другой перехватывая уносящиеся за спину стволы.

Под тонким настпом был лед, зеркало. Стволы валились, как кегли, и неслись вместе с ними. Скорость скольжения все нарастала, их начало вращать. Он обхватил обеими руками голову лошади, прижавшись щекой к ней — глаз к глазу. Два глаза — его и ее — слились в один, а два других — сквозь ресничное мельпешенье стволлов — развихривали кренящуюся округу — от бездны земной, близящейся, до небесной.

Парень, парень ты мой, то ли шептал, то ли кричал он, упкнувшись в щеку лошади, и не смолкая нес какую-то ересь — кровную, непереваемую. И вдруг — вслед за звуком и свет опключился, зажмурясь. Он очнулся в долине, сидя на праве у подрагивающих ног лошади. Она стояла, выпянув голову вперед, в сторону догорающего в последних лучах озерца. Пастух, улыбаясь, опустил бинокль.

Было уже далеко за полночь, друзья разбрелись по комнатам, они остались одни — он и Ф. Да, белая, кажется, на ней была блузка, как ночь, белая. А юбка охристо-зеленая, как лесная вода. И приемник стоял в углу, ламповый, «Ригонда», кажется. Он нашел какую-то блюзовую мелодию, и они покачивались во тьме, опустив руки, едва соприкасаясь лбами, покачивались на краю себя.

И он коснулся сухими, чуть приоткрытыми губами ее виска и почувствовал легкую дрожь, охватившую ее голову, ткнувшуюся лицом ему в грудь. Он взял в ладони ее лицо с чуть приоткрытыми невидящими глазами и коснулся губами — даже не губ — вдоха. Она дернулась, как от тока, волнообразно — от головы к ногам. Он взял ее губы и... лишь миг, и он стоял, один, обняв пустоту в форме ее тела, скользнувшего вниз, как подкошенное, — так трянуло ее.

И он опустился к ней, наощупь, она еще вздрагивала, пытаясь вернуться оттуда в здесь, пытаясь в него, в стороны, не находя дороги. - И он вновь взял ее губы, теперь снизу, подпалкивая ее легкое, льнущее к нему тело — вверх, со дна, как дельфин. Она обвила его руками, еще безвольными, не своими, и вдали, за ее плечом, покачивалась, как корабль в ночи, световая шкала радиолы с зеленым глазком и съехавшей в зону помех, то набегавшей, то отступавшей, как гравий шурающий, волной.

А наутро они с друзьями сели в машину и к полудню уже подъезжали к городу. Он вышел у Терека, на мосту. Сумка, чуть оппояренная, висит на плече. Слишком много людей вокруг, центр города, он выжидал, поглядывая то на мутные буруны реки, то по сторонам. Наконец, быстрым движением вынул из сумки простыню и бросил в реку. Она вынырнула за мостом этим красным пятном кверху, завиваясь вокруг него, как чалма. Казалось, все головы на променаде по обеим сторонам реки развернуты к этому пятну, провожая его взглядом. Казалось, река вслепую коптит эту ткань, плянет вниз — всю, кроме этого вздувшегося над водой пузыря с пятном. Будто белый вдох — вниз, в пень, в кров, а выдох — вверх, в день, с кровью. Да, ей пеплять еще и пеплять по городу, по рукам, на весу взглядов. Бред, подумал он, что за день такой. Ночь, спеленатая, сжавшаяся до почки, с ним, с нею, еще вздрагивала у излучины, исчезая.

Виделись ли они тогда, там, до отъезда его? Нет, не помнит. Письма? Да, возможно. А потом, что ли год спустя, он видип ее в своем городе, в маминной спальне, они сидят, держа за руку друг друга, как две сестры в одной душе, и не напелся им до рассвета. И потом он видип отца, гуляющего с нею на берегу Днепра, и они что-то чертят на песке, смеются. Что? — палка-палка-огуречик? Хайдеггер в бурке? А себя? Себя не видип. Был ли он тогда в городе? Может, и не было.

А потом — что? Письма? И, уже много позже, ранней московской весной, то есть вялопекущей гриппозной зимой, они встречаются в какой-то допотопной квартире на Садовом. Оба сильно простужены, он кашляет, она чихает, он чихает, она кашляет, в перерывах они неловко пытаются улыбнуться, что-то сказать. Под двумя ватными одеялами. Мокрые, в ознобе. Она лежит спиной к нему, он прижался к ней сзади. Ни света, ни тока. Лишь скрип кровати.

Он поворачивается на спину, она тоже лежит с открытыми, во тьму глядя. Ртом дышат. Ему лет 12–13, кабинет зондирования в поликлинике. Он — на кушетке, застеленной бледно-салатовой клееной, на боку, подогнув ноги. Во рту у него резиновый шланг, один конец — в печени, другой — в банке, стоящей на полу. Его койка отгорожена неплотно задернутой занавеской от соседней, на которой лежит девочка, примерно его возраста, может, чуть старше. Лицом к нему, вalemом. С таким же зондом во рту. Часы тянутся, прерываясь

спазмами, то у нее, то у него. Оба накрыты короткими простынками. У обоих стекает в банку эта темно-желтая муть. То пресекаясь, то снова, уже чуть теплей, прозрачней. Он видит ее короткую юбку, чуть задранную под простынкой, руку ее, подвернутую к животу, голое плечико и лицо, бледное, из последних сил пытающееся сохранить черты — да, красивые, очень, даже с этим шлангом в углу рта, даже при спазмах, когда зажмуривается и потом открывает глаза, и смотрит на него с неловкой, чуть съехавшей набок улыбкой. Даже при этом, а может быть — странно подумать, — и благодаря... И он не может взгляд от нее отвести. Лежат, дышат, светает за окнами — на Садовом.

А потом, через годы, он переедет в Крым — жить, и иногда дождливыми вечерами перебирать фотографии. А она вернется во Владикавказ преподавать философию, и ночами перечитывать письма на внутренней стороне уже совсем испончившихся век.

часть пятая

ХМЕЛЬ

*

Жар. Каникулы. Детство Реверс.
«Левис»-дудочки. Розан. Ремиз.
Не будь ослом.
Красная Шапочка ищет волка.
Подвешенный за волосы Авессалом
покачивается на новогодней елке.
Стрелки движутся ощупью. Ты в раствор
окунаешь лакмус;
лакомое воровство, Себастьян Бахус.
Тягопя к прозрачности, каждый знак
тягопее к прозрачности
посвященья.
Произведение строится как сквозняк:
дух и щели.
Медитирует на Восток
воздух упрямый в позе лотос.
Чем незримей — тем ближе Бог,
чем прозрачней — тем выше плотность.
Упираясь в предел Семи,
смыслы гнезда свивают в числах.
Но сказал Он ему: «Возьми
семь пар чистых и две нечистых».
Дзынь — бокал о бокал и — дзынь.
Красным спол заливает воском.
Ты гадаешь мне на «И цзин».
Луй* — мой символ. Ты ищешь сноску.
Осторожнее! — луч звезды
спит, уткнувшись в твое колено.
За стеною трещат кусты:
снова греки крадут Елену.

Не усни на златом руне!
Луч скользит по твоей ключице.
Спаль высверкивает в окне,
видишь — перья роняют птицы
стимфалийские; и перо
на бумагу, кружась, ложится
и бежит, превращаясь в Пьеро,
по горячей под ним странице.
Кто ты, щупальце жизни, где
цель нельзя отличить от средства?
В этом призрачном «ты», в среде
обитанья руки и текста
ты не можешь быть бегством от
одиночества или хора.
Путь назад = путь вперед.
Ты есть почка иной опоры
или поиск ее. Не бес
(да не минут его дары нас),
но великий соблазн обрести
добытийную андрогинность.
Преломляется сверху вниз
света чистого Эпинойа,
но в колодце из тонких линз
твое место под самой дольней.
Диффузирует дух на дне,
и лучи его здесь — как ниндзи.
Есть единственный путь к Тебе:
восхождение от линзы к линзе.
Междуречье (пробел) Руси.
Отмель мелоса. Дух и тело:
между ними — период мела,
челозаврия. Моросип
лунный свет на твои цепи.
Бог с тобою, но вам уже не
в силах выбраться из цепи
искажения искажений.
Изумрудный метет в лицо
снег. Под шкафом шипят авгуры.
Уптый дом наш берут с торцов
два аплета в беретах бурых
и на ремнях несут, и пол —
словно скатерть — вползает в губы.
Заборматывайся на пол-

тона пише. Играют трубы,
крокилюры на потолке
распускаются, дух и тело
в румбе стелятся, мир Микен
манекенствует. Сменим тему.
Помнишь, бухпочки Казантппа,
гупалиновый рай бычков,
на телеге сидит Ксантппа
с алюминиевым бачком,
цедит чачу, ворча, и люто
недовешивает виноград.
«Здравствуй, тетка, почему цыкута?»
Буркнеп глухо: «Один сократ».
Меж бидонами — пес на сене
прянет ухом и, желтый глаз
приоткрывши, в парах косяя,
блеванет, содрогнувшись. Аз
грешный искал спасенья
в этом царстве из ковыля,
аз в бинокль следил — как сейнер
год до пристани ковылял:
он, убогий, трубил Ковчегу,
уплывающему на Крип...
Больно вольному печенегу
наблюдать, как плывет семип.
Эй, кудлатый, куда ж нам плыть-то?
Палец в небе рисует Крым —
контур млеющий, словно клиптор
(прости, господи, караим).
Троеточье. Задуи свечу.
С новой спрочки, абзац: ...и рушась.
Полночь, волны, ни зги, но — чу:
...подкрадывалась к берегу
и, рушась,
закусывала губы и, как шторм,
накрывши с головой, влекла в глубины.
Мне не хватало крыльев голубиных!..Твое лицо похоже ни на что.
И речью не насыщай тебя. Недаром
двоился пред тобою каждый слог.
О царственное зреньё Буридана,
не будь ослом,
остынь!

Дзыннь...

Покачивается

Авессалом.

к е н т а в р и я

1

Ни облака, полдневный жар, Гурзуф.

Я повторю, хоть имя дико:

Гурзуф. И струйка осыпи утихла;

горе обрыдло ковырять в носу.

Задумчивый, таинственный Гурзуф.

Он поутру — гуру, до пят в гишюре.

Мур-мур — к полудню. Дальше — шуры-муры.

А к ночи превращается в Мурзу.

Зола. Какой-то узала дерсу

гадает на золе. Гурзуф как дышло:

куда ты повернул — туда и вышло.

Я повернул налево, вышел к су,

где улочка похожа на гюрзу,

бесшумно уползающую к морю,

и волны, как патаары тараторя,

пускают пузыри: гурзуф-гурзуф,

косое небо пробоя на зуб,

и к берегу подпягивают лямки,

а грозный Аюдаг сидит в панамке

и всех и пьет: уф-уф, Гурзуф.

Лозу обрезанную жгут. Слезу

гранитный карапуз роняет в парке.

В глазах темнеет. Тощие хибарки

переминаются, предчувствуя грозу.

Полуботинки черные разув,

горбатенькая всходит кастелянша
в пучину вод. И, грохоча по пляжу,
бредут гиперболы котов. Гурузф

наупро — как распущенная пряжа
Создателя. На голубом глазу.

2

Начнем с Геракла — царской паранойи
любимчика, бугая-добряка,
дежурного по подвигам, героя
на побегушках Греции. Рука
рисует Джеймса Бонда
с копьем. В конюшнях опшумев, в садах
состригши плод, помужествовав с Понтом
Эвксинским, он пришел сюда,
на дикие холмы, бороть лошадок
и повстречался с женщиной-змеей,
и, холодея весь, как бы ушапом
облипый, слушал речь ее:
«Я дам тебе коней, но ты под лавром
со мною ляжешь». Лег он, родились
два сына — Скиф и Тавр.
У Тавра возникает мысль
о Таврике. У Скифа — о кочевье.
О роке — у Геракла. У меня,
глядящего на детские качели
в окно и молодой коньяк
цедающего, неп мыслей. Вот бараки
в снегу, воп зыбкий горизонт,
воп лавр, где спонал Геракл
в змеином царстве эrogenных зон
и бредил подвигом в разгар сезона.
В разгар сезона — дачники, лафа
тунгусу под руку с масоном,
которому везде лафа.
За ними — мыс, описанный Страбоном:
Бараний лоб, священный Аюдаг.
В ведерке пионера — лик Горгоны
со дна глядит, как поднимают флаг.
Там, в дымке, на отрогах гор
был храм Дианы девственной; Ореста

в нем Ифигения спасла. Аресты
сместились к северу с тех пор.
С тех пор прошли дожди и годы,
и, в ожидании погоды,
на берег высадились готы
и тоже, как года, прошли.
Но прежде — берег позолотили:
открылась дивная у моря
страна, верней, страничка — Дори,
известная вициям Византии
и, в частности, Прокопию. Овец
не знали там. К тапарам шли ундины
на огонек. Шло время. Наконец,
в лице Попемкина пришла Екатерина
Вторая. А мог прийпти п...ц.
Певец! Вот домик Ришелье, где гений
был в Машеньку Раевскую влюблен,
кружил ее и падал на колени.
Военный санаторий, павильон
регистратуры. — Пушкин,
А. С. — инициалы. «Генерал?»
Нет, камер-юнкер. «А. Избушкин?»
Нет, я фамилию не переврал.
Сюда! Сюда бежала фрейлина Марии
Антуанетты от суда за воровство
брильянта «Фикс». Ее приговорили
к четвертованию. А спас простой
(вы думаете — случай?) Калиостро!
Стрельба, погоня, маски, хоровод
границ, и — Крымский полуостров
перед ней. Скрывая свое имя, доживет
до старости в Гурзуфе, посещая
Голлицынский кружок, вращающий столы
по средам. В исполкоме обещают
давать по средам нам напор воды
горячей. Плыть, где Адолары голубеют —
Харибдосцилл, двугорбый людовед
(на Сцилле — ресторанчик Фундукля
светил). «Погасло дневное...» — Поэт
писал там. Чу! — меж валунов значка
(прекрасно в человеке всё
должно быть): дом и дачка
Антон Пальча. Васек

за ней присматривает. «Крым, —
он говорит, — как Чехов: те же
пенсне и грудь». Как хороши, как свежи
одежда, обувь и лицо,
и воздух с муравьиной кислотой,
язык щекочет, дразнит карачуном,
не чужа ног, поржественно и чудно,

как в Кремль шли работники ЦК,
идут в ночную полчища цикад.

3

Небо, заборматываясь Гераклипом,
путаеп времена года.
Кроп говорит удоу:
человек это клипор
нашего бога, то есть природы.
Дерева заглядывают под юбки
друг другу, покачивая головами.
Ветер спихает, губки
моря надув. Стихи о Даме
снились. А. Блок доложип.
Море похоже на рентгено снимок
ребер Адама. Ребро похоже
на бумеранг — возвращающийся, но мимо
рук. Речь тыняется, строип рожицы:
*Жизнь и смерть — это как сыновья Тараса
Бульбы.*
*Человек — это болтик в ножницах
между временем и пространством.*
Болтик Бульбы.
Щурипса благотворный
воздух, прячется за кулису
солнце, и лишь в гримерной
рожице — свет и шаги актрисы
дятся.
Писаная красавица —
жизнь прошла: «Кому
что, — обернулась, — нравится.
А мне — осень в Крыму».

Крым похож на цветущий лобок.
 Тайна ног — в пучеглазой пучине.
 Вероятно, по этой причине
 здесь бывали и Пушкин, и Блок.
 Его бедра — крутой Тарханкут
 и крутой Казантип. И попарно
 там росли, созревая, татары,
 плодоносил кацапокугут,
 в море греки впадали, и Грин
 разбавлял феоудино горе,
 минотаври паслись на просторе
 и щипали плакучий раввин.
 Много леты текло. И у скал —
 в красной шапочке солнце оскал
 волка черного моря в овчине
 пены разоблачило. В ночи не
 шевельнется ни дьявол, ни бог.
 И ни Запада нет, ни Востока.
 Остывает цветущий лобок,
 и целует звезда между ног
 его в родинку — в Севастополь.

п а р у с

1

Небо в балетных пачках,
 лучики на носочках,
 месяц, как из заначки,
 звездный ислам ночи,
 совы и кипарисов
 акупунктура, душно,
 легкий зевок бриза,
 на побегушках ушки
 моря, в ответ — глубокий
 обморок лежебоки
 берега, на рассвете
 видишь следы йети
 в небе, как от запоя
 одупловатом, суше

бить предстоит баклуши
выспренного прибора,
пучка плывет к пучке,
и не признавать за крепом
пареной этой репы
солнца, за дядьку внучка
пянет-попянет, кущи
райские, тьма, и дальний
луч на кофейной гуще
моря во тьме гадает.

2

Тридцать девятое царство
напротив б/у Византии:
время — евнух пространства,
небо — в упренной пине,
волн випии,
выбритые затылки
гор, девочка на волноломе.
Ты живешь на опшибе любви,
на ошибке,
допущенной в слове.
Проплывающий стороной
бог — как записка в бутылке.
Берег пришиблен
жарой.
Колесание ветра: быть иль нет
хоть на час, но халифом.
Минарет,
провоцирующий на рифму.
Кровь. В тумане
лихорадит баркас.
Вышли волн мусульмане
на вечерний намаз.
Где ты,
срубленная косичка
света,
названная душой?
Черное море, открой личико,
что ты прячешь
под паранджой?

3

Август, ветер с одышкой,
 гниль, отпрыжки Босфора.
 Было время, да сглазили.
 Лишь игра в кошки-мышки
 между шапкой и воров,
 меж Европой и Азией.
 Отпоманка империи.
 Над чешуйчатым берегом
 неусыпное Око:
 змий Востока.
 Горизонта прищур.
 Сну плетть.
 Стам бул щир на прищур.
 Меч еть.
 Кариес дня. Стойкий
 запах чужой кожи.
 Улочка-землеройка
 подрагивает. Высок
 слог эха
 с удареньем на *ы*.
 Жизнь как помеха.
 Лето.
 Выжженные сады.
 Ад лестниц.
 Ал ах черни.
 Тих пах тьмы.
 Кесарево свеченье
 августовской волны.

4

В Стамбуле, в огромной ворсистой ноздре
 Востока, шапаясь от бреда, от жира, от жара,
 от кислого пота, от пыли прибитой, от стрел,
 вонзившихся в солнце, от жажды, от желтого пара
 над чаном чугунным, от пепла, от конской мочи,
 халуп из вареного лука, земли цвета гущи кофейной,
 дыры вместо неба, трухи вместо света, включи
 в сей перечень ночь и пролив, говорящий на фене
 гудков корабельных, кровавый подмиг маяка

с восточного мыса на запад, где пускло-зеленый
ему отвечает и, кажется, дьялся века
меж краткими вспышками, в брызгах соленых,
шатаясь от бреда, пытаясь поднять
юродивый парус на мачпу, не знача
уже ничего, не стараясь понять,
дрожа, хохоча, задыхаясь и плача, —
взлетал ты, с рубиново-лютой звездой
встречаясь глазами, и падал, наверно
так долго и мерно, как слово *домой*
в устах Одиссея, прикрытых ладоною Гомера.

*

Ау, шалун, укравший Азиюпу!
Ау-ау... но каждому по вере.
Проходит август уст, идет пиберий
дождей. Куда ж нам плыть — к Синопу?
К синопу снов, да не сойти на берег.

В полоне волн тебе сверкать и меркнуть,
руно овцы, отбившейся от стада,
где море четное, в отличие от ветра,
делимо на два, на два, без остатка,
как все, где верховодит бог прибоа.

О эти сны, траншеи и окопы
пустынные! О это поле воя
и брызг! Куда ж нам плыть — к синопу
пщеть, перебирая плавниками
мерцающие водоросли туч?

Вот путь, где говорит лишь камень,
поет пепух и предается ключ.

г у р з у ф

Там, где время стоип во хмелю,
обхвативши остывшее древо,
оглянись: ты живешь за семью
золотыми печатями неба,
в кривоногом поселке о прех головах —

Обольщенья, Вины и Забвенья,
в голом гулком раю, на словах,
на развалинах стихотворенья,
где скала, в рот набравши воды,
в лунной пене сидит по-турецки —
от морской до небесной звезды
ей невмочь в эту ночь разговеться.
Оглянись: ты живешь, где коса
то и дело находит на камень
и, к утру проступая, роса
превращается в кровь под ногами —
там, где время стоит во хмелю,
обхвативши остывшее древо,
там, где море пригрело змею
побережья — косичку Эреба.

*

Говорливых надежд упишуют раскаты,
безъязыкая явь моросит,
оставляя белесый курсив.
Говорят лишь утраты.
Да и то — не о том. Лишь круги
на воде, где — как войско Мамай —
дождь прошел, напевая
мир, написанный от руки.

Ю ж н а я ш к о л а

1

Твоя походка неплохо смотрится,
у тебя меж ногами гуляет ветер.
Ты не похожа на дисциплинарную матрицу,
помнящую о смерти,
типа св. Варвары или Терешковой,
типа Кюхельбекера или Склодовской-Кюри.
Ты — дисциплинарная матрица Южной школы —
типа Шолом Алейхема минус Алишер Навои.
Я говорю тебе: уже написан Вертер, —
и снимаю с ресницы твоей стрекозу.

Ты не считаешь человека разминкой смерти
и сбрасываешь платье перед *ergo sum*.
Кожа твоя — цвета пленки на рыбьем жире,
ты окуриваешь себя травой;
стебли чуткие прядают на Кунашире,
и деревья на цыпочках обходят тебя спороной.
Ты — дисциплинарная матрица «+29»,
ты — температура падения алычи.
Когда я беру на руки твое библейское тело —
чувствую, как сквозь него преломляются лучи.
И язык твой у губ моих — как арбузная мякоть;
мякоть... сок... сахар... сон...
И в полях облетевшего черного мака
над тобой чуть дрожит указатель: *херсон*.

2

Мы ночуем на складе, где Мона Лиза
с подоконника смотрит на мохер и хурму.
Ты лежишь под знаменем лунатизма
и покусываешь бахрому.

Я принес тебе хлеб с маслом.
Съешь его как-нибудь.
Цель не имеет смысла,
важен путь.

В этих куцах отчизны я рад, что ты рядом,
что ты носишь оружие — звенящий шиш,
что лежишь на ящиках с денатуратом,
что, прижавшись ко мне, дрожишь,

что глаза твои — виноградины,
что ты волос ведешь к нулю,
что ты спишь, как изменник родины, —
я люблю тебя! Я тебя так люблю,

что мне кажется — я размножен,
и каждый хочет тебя одну,
и каждый рвется к тебе, как лошадь,
опережая других у губ.

Хляби разверзлись. Как жидкое олово.

Голос влекущий: «Иди!.. иди...»
Весь я в тебе уже, держишь за голову,
Юдифь!

...а наутро лежишь в дозоре,
цедишь цимес со дна «гымзы»
на язык, дурманящий как розарий.
Ты неперевода на другой язык.

Твоя речь похожа на лепрозорий.
Давай сформулируем твой закон:
третий день ты лежишь в зазоре
между жизнью и языком.

Я зубами скриплю, мне снится:
в белом лифе и галифе
между Джоулем тире Ленцем
ты распиливаешь тире.

Я бегу, я в поту — успеть бы!
Жизнь опрашивает язык,
язык становится совершеннолетним:
половозрелость, борода, усы..

Темень. Свернутая, как улипка,
ты постигаешь азы семьи.
Твой путь дрожит, как язык змеи.
У змей — джокоңдовские улыбки.

3

В зарослях сада с травой воскуренья
выгнуты к югу сухие деревья.
Эти деревья сидят, как даосы,
пишь нарушают лишь полоз да осы.
Ты приближаешься медленно, будто
здесь между нами не воздух, а Будда.
Простоволосая и в оголеньи
ты опускаешься на колени.
Волосы лютят и кутают камень,
ты упираешься в камень руками
и замираешь. Ты приняла морфий?
Ты в этой позе похожа на арфу,

белую арфу на плетущем порфире.
Звон твоих струн осторожно раздвину,
ты улыбнешься светло и невинно
и размагнитизишь ладонью округу:
в ней обнаружатся лес и овраги,
небо отпрянет и преобразится...
Как приземляется хищная птица
или как замерший взмах пианиста —
так твои руки над полем зависнут.
Это зовется «прощай, позвоночник!».
Как ты шупила нынешней ночью,
грудь щекоча мне: «Ты мой Секс Эмпирик!» —
и до утра ходуном ходил дворик.
Что ж, моя юная фурия, здравствуй!
Ты приготовила зелье и яства,
эрос и эпос да прочего малость.
Ближе! Уже я не слышу твой голос...
Медом янтарным фалуешь мой фаллос,
клюквенным соком дурманишь мой волос;
фаллос медвяный, клюквой омытый,
ты инкрустируешь белым бисквитом;
у основания положишь ты сласти,
а по краям — виноградные грозди,
и языком, чуть живым от ужимок,
приподнимаешь и дразнишь вершину,
воображая, как в сладостной щемии
бурный циклоп заползает в пещеру.
Жмурясь от буйного воображенья,
прядью щекочешь вулканическое жерло:
вздрагнет, качнется он влево и вправо, —
губ твоих жарких сомкнется оправа.
Сцилла с Харибдией, алчная амба!..
Но достаем еще лавр и амбру:
лавр и амбру втираешь в ключицы,
мускусом — ямочки на ягодницах.
Фаллос взвевается, как лань из лимана, —
губы скользнут и увязнут в медвяном,
гулом наполнит и вывернет уши,
но, погружаясь все ниже, все пуже, —
губы войдут в виноградные грозди,
фаллос забьется в пружинистом росте,
будто на цыпочках корчась и млея,
в жарком дыхании твоим сполбенея.

Встанешь, плеснешь из бутылки «кагором»:
ах как он валится тупо, как боров.

4

Твоя спальня обтянута темно-вишневым велюром.
Ты сидишь на полу, ты сегодня — глазок ювелира.
Твое тело прозрачно и пальцам моим неподвластно.
Горяча и тягуче-ветвиста стеклянная масса.
Ты — орудье труда, а зеркально — священная жертва.
Конспражуром навел на тебя я напольный прожектор.
Ты горишь по краям, как замочная щель. Ты — глазок неофита.
Я к тебе подобрал бирюзовый и ультрамариновый фильтр.
Утопая в тенях, ты качнулась назад и застыла.
Твоя роль — восходящий эфир. Ты легка и пустынна.
В твоей выгнутой шее под тонкой небесною пленкой
только жилка дрожит, как заело секундную спрелку.
Вокруг шеи твоей, не дыша, оберну полотенце.
Легкий ток заискрится в моих индивеющих пальцах.
Я продену их в кольца садовых заржавленных ножниц:
это икс, удлиняющий руку, он движется, множась,
это битва ножей — то отпрянут, то сходятся в клинче,
то — хрипенье и ляг, то — прильнувши — щебечут по-птичьи.
Я беру со стола костяной допотопнейший гребень.
Приближаясь к тебе, я гляжу на часы, я цежу твое время.
Полночь бьет. И под каждый удар от тебя отделяются пряди:
ты в кольчуге волос — твоя шея, спина, твои плечи и груди.
Твоя роль — послушанье. Ты ноги поджала. И губы. И годы.
Из-за всех плинтусов в кулачки свои прыщуп, на цыпочки встав, квазимоды.
Саблезубый храбрец на нас прет, хохоча, и пердип в упоеньи атаки.
И с мизинца ноги упавши твою прядь, замирает в объятьях вапаги.
Но теперь уже все, пригибаясь, бегут под прикрытием пряди на приступ.
Улюлюканье, лестницы, дым... Эту роль назовем приращением смысла.
Они влезли на голову, труд их бурлит, они вяжут инприги и шашни.
Ты в короне сидишь, на твоей голове — из фольги при дрожащие башни.
Я в огромной пиале развел нашатырь вместе с перекисью водорода;
с гомерическим хохотом в пену лепит саблезубый храбрец-воевода.
И пока остальные трясут кулачки над собой от смертельной обиды,
я над белой фольгой зажигаю пучки золотым «блондораном-ликвидом».
Я обвел твои формы каймой серебра, а за ухом довел до юродства.
Только челку твою благородная хна оптеняет надменным злорадством.
Упыри уползают, ропща на юдоль. Твой прибор углубляю я басмой.
Наконец, я даю тебе грим: твоя роль — арлекин в косметической маске.

И пока я готовлю последнюю смесь, обретая библейскую силу, —
изо всех пузырьков я сливаю пуда все, что ты не долила, Далила.
Тридцать лет миновало с тех пор. Твои губы, как прежде, душисты.
Я узнал тебя, дева! Теперь твоя роль — подо мной. А моя — реваншиста.

5

это узкая улочка в теле твоём,
это выход в астрал через спуск и подъём,
это трепет томленья, улики лакун,
это в перпкой ворсе чернослив и лукум,
это сонмы очнувшихся ангелов: «пить!»,
это кислый кизил, увлажняющий путь,
это южная ночь, это лунная печь,
это каплющий воск на запылок со свеч,
это воск, запекающий в грудь и споту,
это нож в животе, это жаркий спамбул,
это мир шпионажа, парад двойников,
это жмурки ужимок и цокот подков,
это спазмы соблазна, испуга и сна,
это тмин, и корица, и хвоя, и хна,
это гул механизма на выдох и вдох,
это в солнечных брызгах пульсирует мох,
это поршень, качающий пламя из пор;
через ноздри отводится кольцами пар,
это кузница уз, это козней разгул,
это праздник гримас, это лаз-вельзевул,
это стоны кувалд и кикиморный смех
ледяных молоточков с оглядкой на мех;
вдох — и прыгнул, и вскрикнул от жара меха,
и ангел забьется на гребне греха!

П О С К А Н А

Герои спят в чужих посмертных масках,
гримерным зеркальцем играет трывн-права,
России нет, оппелые подмости
разобраны на память и дрова.

Мне дела нет. С пустой сумою моря
сутулый Крым, прильнув щекой к луне,
бубнит во сне: верни дары Пандоре...

Дельфин порпняжит, шьет волну к волне.

Мой воздух-посошок — меж двух Медведиц
верложип обморок, ревнующий слюду
ко тьме. Сквозняк-шапун мой танец.
И хворост времени, щекочущий стопу.

Мне тела неп, которым в хоровод
уступчивый уйпи как в жили-были.
Ты спишь в венеции заговоренных вод,
на теплой паперти Салют Марии.

Венеция — бобок. Глухие голоса,
гробы гондол плывут, кругами ада
сжимая цепь домов, где на окне — оса:
песочные часы, наперсница возврата.

Мне дела неп до всплывших апландид:
одна — к луне лицом, другая — кверху брюхом.
Меж ними ты — как блажь, как карантин
Медведиц двух с хорошим сном и слухом.

*

Ты помнишь, был воздух наспоян на йоде
закапа с прививкою красной,
и трепет бежал по реке,
и вся ты — как стая фламинго на взлете,
и время с заминкой пространства,
как с ямочкой на щеке...

*

Так они уходили —
тихо, как секунданты:
в черном плаще — Вергилий
моря, и в белом — Данте
берега; только гири
ночи росли. «Человек конечен,
но не окончен» фразой
«мы не умнее речи
своей» зарастало. Сглазом

времени сглаживалось пространство
мысли. Стягивалась в узелок
жизнь и плыла сквозь кольца
света, как осьминог —
эпоп сальери солнца.

*

...если ты еще слышишь меня, налей,
не включая свет, по глотку мадеры.
Нет ничего пленительнее нулей
и сиропливей чисел с их чувством меры.

*

Небо, как сон Бапья. Мель на
море — вся в брызгах птиц.
Голо. Медуз голубые бельма,
вырванные из глазниц,
тычутся в лодку. Вдали мелькает
бред берегов. Где все, казалось,
уже сбылось — волнам оспалось
лишь пожимать плечами.

*

Как плывет белобрюхий дельфин,
белобрюхий дельфин-одиночка
к ледяным берегам от Афин
и обратно в Афины, как спрочка
от руки, с замиранием, где
он уходит в пучину и снова
возникает в прозрачной воде
силуэт чуть дрожащего слова,
и — прыжок, и, щепоткою брызг
присыпая слепое окошко
за собою, уносится вниз,
чтобы снова, и это похоже
на намет, холостые степжи,
холостые степжи Пенелопы,
и так долго она, что мешки
под глазами у неба Европы
набухали; плывет и плывет,
прошивая и дважды, и трижды

эту кромку меж бездною вод
и спящую бездной:
так спишь ты.

*

Вначале были сны, и Бог был сном,
и снилось сну, что все предрешено,
и он — звезда, и под звездой — Ясон
плывет за золотым руном;
и снился кораблю под мачтой луч,
как палец со сверкающим на нем
алмазным перстнем, озарявшим пуч
на резкость наводящийся проем;
и снилось сну, спекавшему с весла
в такую даль, где сладкий звук эол
неразличим и, неподвластна снам,
рыдает пена в голых люльках волн,
а волны, на ходули спановясь,
вокруг вьдут угрюмый хоровод, —
рука гребца; и сон, себе дивясь,
входил в нее, входил спиной вперед.

*

Черенки света подрагивают. Сиди пишком.
Превращаются в бабочек гусеницы-мысли.
Не даю нитку втянуть в ушко
ангелы, по ошибке привитые к жизни.

В ожидании глубинного взрыва
взгляд ветвился, блуждал по тебе,
проникая, как длинная рыба,
в непроглядный корабль, лежащий на дне.

И кружила Мария, сошедшая в ад
(я глаза закрывал удлинявшимся депям),
там, где лобное место, где жизнью казнят,
и всплывала. Томительный пептинг
затевали с побой семь реликтовых рыб,
исходя пузырями. И, сбивая с толку,
ты стояла под лампой и терлась о нимб,
все пытаясь продеть эту нитку в иголку.

*

Все мы до одного
вымерли, думал, еле
дыша у твоих ресниц.

Руки даны для того,
чтобы не роговели
губы, как у птиц.

*

Сопри эту лунную ветхость калитки,
по шпакетинам мягко ведя сверху вниз,
скрип задвижки, улипку на ней,
и пропинку в глубь мокрого сада,
и лошадь, сосущую воду, и желоб,
дрожь по холке, худые с опливом бока,
и — тихий испуг ее исчезновенья.

Вернись. Глаз моргает ее на ветру
(красная охра прожилок слезится,
и выше — ресничек пучок). Выпри.

Возьми отношения: память о лошади
и оседающий глиняный дом.
Чистая длительность и протяженность.
Выпри крест-накрест. Еще.
Свет из окна на тяжелую гнутую
яблони ветвь. Плоды. Покачнулась
тень от нее на крыльце и ступень
под ногою. Выпри.

Дверь в шелушащейся оспе,
и в глубине — изразцовая печь,
оползень жара, колкий рубин —
выпал, мигает, шипит на железном
поддоне. Выпри.

Зеркало. В зеркале — угол стола
и кровать. Человек на кровати: ступни
в зернах песка; выпнулся, опираясь на руки,

спруйка пота стекает вдоль позвоночника,
блики, брипый затылок. Вытри.

Начни под лопаткой: ребра, сердце, сосок;
и под ним, в этой скважине, видишь —
она (ее родинка между грудей).

Вытри спину его! (Муравей,
чуть придавленный их животами,
захромав, уползает к бедру.)

Вытри руки ее, обхватившие пустоту,
вытри чувство утраты. (Веки прикрыты,
губы дрожат. Вытри верхнюю, нижнюю,
вытри дыханье, вращеньем, до точки
сужая круги.) Вытри всю!

И под нею — горячую смятую простыню,
и под нею — матрац полосатый,
пружинную сетку и крохотных ангелов,
вниз головою глядящих во тьму,
и под ними — на липком холодном полу —
присевших на корточки, за руки взявшихся
бесов, их волосатые спины
в отблесках жара, их хоровод. Вытри.

Пол и трухлявые лаги, и погреб, и визг
взвившейся крысы, подгнивший картофель,
морковь и бульбы с вишнежкой; за ними,
в углу, два скелета сплетенных, лежащих
один на другом: сквозь паутину
чуть светятся, как голубой парафин.

Изморось. Выйди. Светает. Птица
вспорхнула. Вытри. Нет, впереди ее тела,
с опережением. Так.
И скажи: Хорошо!

И сотри пустоту.

И за ней — скрип калитки,
улитку на ржавом засове...

*

Сыпья, черный песочек.
Жизнь ничего не понимает.
В глазах темнеет.
Для совы — светлеет.
Кротам лафа.

Сыпья, черный цветочек,
никто тебе не указ.
Грязь — это зеленый,
смешанный с голубым
и прочим.

Я говорю:
когда я тебя целую —
идут ко дну алфавиты.

Альфа ли вита?
Вита ли альфа?

Оранжевый с голубым —
дым.

*

Память — золушка времени. Колобок
укапился в июль, во цветение лип.
Вещь на символ глядит, как на Фрейда Эдип.
Всё, где памяти нет, называется бог.

Пыль свивается, демон воркует, гроза
собирается быть. Хороша снедь Эльзаса:
с чернсливом тушеное мясо,
полбутыли вина и незримо Сезанн,
по стеклу барабанящий пальцами.
Мир, отройся слезам...
И сезам открывается.

Обольщается речь — молотьба
безымянного света. И тьма,
как снотворный бупон, распускается.

н е в о ш е д ш и е в с а д

Она жила в квартире треугольной,
как Индия. Меж спальней и гостиной
верблюжьи свастики в ушке игольном
вращались с полумесяцем на спинах.
В ушке меж черно-белым светом спальни
и тьмой цветной зажмуренной дневальни.

они во сне как амфоры на дне
вмурованные в ил по горловину
лежали непробудные о дне
не ведая который мят их глину
и в ночь как в печь вдвигал и жет
до упренней звезды и извлекал из печи
и в губы дул в полураскрытый шов
до протупившей измороси речи
которая цепочкой пузырьков
кривясь и восходя дрожащей нитью
со дна все отклонялась по наиптью
и отклоняла нисходящий кров
и свет сквозь занавески льнущий
к мерцающим садам висящих рыб
и круг плывущий по волнам как нимб
и в остинах кофейной гущи
узор стены хранящий немоту
и жилку бьющуюся в небе
и пальцев обожженных на лепу
незрячий мотыльковый лепет

Меж ними жизнь, над ними ложь и нежность,
друг к другу прикипевшие губами.
Тать я, тать ты. Так чувства, спешась,
ведут на поводу судьбу углами.
Звезда горит. И нет земли под ними.

с н ы б о г о м о л а

Каплюхие сны. Отлепившие души.
Две ладони забелены.
Две свечи. Ты повенчан с обеими.
Журавлям по дороге на Южный
Крест обещаны битвы с пигмеями.
Спесь страниц. Танец крови.
Взгляд младенца, глядящего на
мир насупленных кровель.
Сна
похрустывает вязанка.
Выворачивается наизнанку
ночь. Вдали
намечается пятый угол;
в виде машущих крыльями пугал
возвращаются журавли.
Каплюхий мешок
с ног отряхивает снежок.

2

Я докурю на балконе,
спи. Тебе снятся левкои
и счастьем гудящая самка,
как дымчато-сизый графин,
лежащий в траве, но осанку
хранящий, пока парафин,
отягощая брюшко,
жгучий, печет сквозь ушко.
Выгнулась в виде япя
и, с хрипловатым смешком,
пяпкой раздвинув репей,
вдруг отсекает, не глядя,
голову льнущего к ней,
лакомки-богомла;
поп, конвульсивно еще смеясь
и оседая, зеленый, голый,
встречает свой звездный час.
Она целует его в уста
и, выползая из-под куста,
оглядывается: небосвод тихий,
только на тонком нерве
вокруг Юдифи
вращается небольшая

мигающая звезда
Олоферна.

Спи, моя милая,
свет, наверно,
тебе мешает.

3

Золотой, серебристый, воздушный,
южный, дикий, сухой колорит.
Птица мечется в крыльях, ей чуждых,
и, теряя сознание, парит.
Отражаясь в осеннем лимане,
небо в буклях стоит. Без погон
путь бежит от себя.
Привлекает вниманье
поропливо задернутый фон:
выбор веры, судьбы и оружия,
положенья и времени лиц;
богомол, одинокий хорунжий,
в хороводе змеиных колец.
Разжимаются пальцев фаланги
узловатые, сыплется медь,
и сплетаются две лесбиянки
длинноногие — жизнь и смерть.

*

Запад — зрение, Восток — обоняние, а твоя игра —
тепло, горячо, холодно.
Вольно дышится у цветущего топора
сыну Волаңда.
Сын возлюбленный, мною посланный
в мир, Спасителем неопознанный.
Сядет горлица на плечо —
жечь прехперстьями: горячо.
У цветущего топора — пора
теплоты человеческого лица.
Облетает его пыльца.
Сын, открой ладонь, не ладонь — дыра.
Можешь всю открыть, как Америку.
Поцелуй меня, — молвит холодно.

Со спины смотреть — бедра мерина,
а приблизит взгляд — Гоголь с хоботом.

*

Рваный гром, ночь-каблук,
багровая папина.
Холм стоит впятером
лбом ко лбу,
спиной к наблюдателю.

Замер.
Как хоккеисты команды «Ад»
над шайбой света.
Так и стоят
с зажмуренными глазами
с лета.

Робко,
постскриптумом,
пока гроза не... —
тропка,
поскрипывая,
с бедра сползает.

Странно,
уже ноябрь,
дождь в окно.
Опустошенные страны
губ твоих я бы
наощупь... Но —
где вы?

Время шуршит шелками,
ветер знобит фрамугу.
Девы
меж облаками
летят к югу.

Видишь: рука
твоя, а пальцы на ней мои
по стене скребут.
Превращается в спарика

воздух, и
его глаз корунд
спружкой сыплется.
Значит, сон
в руку.
Не насытится колесо
кругом.

Край, где был мед
воева, —
гол. Оса
моих губ сосет
юнь твоего
голоса.

И — никаких волн.
Колдун
отряхивается внимательно.
Стоит холм,
лбом ко лбу,
спиной к наблюдателю.

*

Трепетание света периода полураспада.
Даль без неба, не даль, а снопворный альков.
И не море, а марево мора да глада.
И узилище взгляда вдали берегов.

Не окно в этом доме, а рекруп печали.
И не время в пространстве, а рыба в сетях.
И не ревность, — причал, и на дне янычары
до заката с кривыми ножами сидят.

О, не дева, не речь, я бы взял тебя в жены,
кабы ты не сложила другую судьбу —
этот вьющийся путь, словно волос прижженный
и сдуваемый с теплой ладони во тьму.

*

Небом спелената

скоропись бегства
мира вспыхнула как эпизод,
вырванный из контекста
сна про мальчика и колесо.

Моря, заправленного в горизонт,
сбившаяся простыня
приподнимается.
Воздух, поджавши ногу
в гипсе, разинув рот,
замер на костылях
деревьев. Улочка недопругой
прикинулась. Самолет
машет крыльями, как святой,
и, подняв воротник, уходит
восвояси иного — к той,
что ревнует его к природе.
Шаг становится невесом.
Из-за пазухи вынул кремни,
даль раскуривает деревню,
и глядит исподлобья сон
на тяжелое колесо,
наживившее путь домой.

Засыпаемый снегом, дремлет
мальчик с ппичьею головой.

*

Мир похож на записку в двери;
жизнь проходит, пока ты читаешь.
В этой краткой записке: НЕ ЖДИ
(дальше не разобрать)
ПОНИМАЕШЬ
(весь абзац заштрихован)
СЛОВА
(с переносом, внизу) ПРЕД-
ПОЛОЖИМ
(П — размыто, похоже на БРЕД).
Голова
отрешенно кивает прохожим.
ЖИЗНЬ (убористым почерком)
БЛИЗКО

(будто курица лапой).

Ничей

жаркий шепот, ладонь на плече:

передайте записку.

*

за речь бессвязную за так
тобой полученную в знак

взаимной склонности к ходьбе
по кругу замкнутому где

все что имел лишь мел пути
не прижимай меня к груди

как мир подобранный на слух
не предавай меня я глух

фольгой на форточке фонем
не открывай меня я нем

в двери забытые ключи
прокручиваются молчи

душа как мушка в янтаре
запекшаяся в янтаре

за речь бессвязную за так
возьми сожми ее в кулак

и прижди дунь теперь открой
свой пятипальный путь домой

поземка дней сугробы снов
безмолвные намазы слов

часть шестая

лежа на диване

п и с ь м о б у р а г е *

Первое мое пропаяженное воспоминание о Крыме (не считая детских фрагментарных) — пигры. Типры, полосатое золото, плывущее в глазах из стороны в сторону, а за ними — изглоданное до нестерпимой синевы море.

Судак, дом, сад, в саду — клетки: в одной — два пигра, в другой — лев, меж ними — пропинка к калипке, за ней — море. В глубине сада — вагончик на кирпичках, в нем — смотритель зверей, но его неп. Он, пока еще не приехали киношники, дни напролет проводит на набережной у автоматов с вином (20 коп) и пивом (10 коп), возвращаясь к исходу (исподу) ночи под близоруко светящим небом (а оно, — женщина, — куда возвращается в льняной, чуть просвечивающей ночной рубашке, — в чью постель?).

Мальчик сидит на жухлой траве, на расстоянии своей одиннадцатипилетней руки от клетки, где из угла в угол бродят эти двое, прутся о прутья, на миг замирая, чуть опустив голову, и тогда мальчик видит себя сидящим на жухлой траве в их зрачке, и вновь — из угла в угол, будто две золотые пятючие кисти мажут по прутьям, подмалевывая берег к морю, пока не сольются с ним на закапе.

А в доме — мать мальчика: легкая, босоногая, молодая, ее смех (и среди зимы — восходящий, до сердцекружения майский) доносится из распахнутых окон. Ее и зовут Майя. Она здесь в командировке. Она делает смету на реставрацию Генуэзской крепости.

Если отвести взгляд от клетки вправо и поднять голову к небу — поплывут призрачные в зернистом полуденном воздухе зубцы крепостной стены с проломом, в котором покачивается над пропастью крохотное скорпионье тельце экскаватора с оцепеневшим внутри водителем, — еще одна строчка типров, тонкой кистью сепии в небе.

А еще в доме двое москвичей: засекреченный физик и рыжий виолончелист, они выходят на крыльцо, на плече акваланг, ружье в руке, к вечеру будет кефаль, крохкая голова костра, его вздыбленные горящие волосы, искры, летящие к звездам, звезды, в стороны разлетающиеся от искр, пигры в отблесках, лев, уткнувший свою косматую голову эйнштейна в лапы. Начало 70-х. Первые рисунки Крыма — в стихах и акварелях.

А последний Крым — прошлогодний, 2004 год. Пятнадцать лет как я перебрался в Гурзуф и живу в верхней артековской пятиэтажке на улице 60-летия Пуруши СССР, для местных — Зеленая. За углом начинается скользящая к морю — вот уж ирония судьбы — улица Соловьева. В окне — за виноградниками — его лесные уголья, бывшие. А в парке я опыскал маленький бюст его, неприметно живущий под шелестящей юбкой дерева. Бюст размером с детскую дудьку (сравнительно с горько-чехово-пушкиным и др.). И не землевладельца, а Соловьёва другого, кажется, одного из наркомов.

Прописан, но бываю в Крыму все реже, а тут еще угораздило в августе, в самый махрово свиноматочный сезон. Жизни не хватил до моря дойти. Да и где оно, море? Мор, мара, и горы стоят оглоушенные над его бездыханным телом. И поселок в ногах их — как маленький детский ад, раскрась сам.

В квартире моей кроме книг мало что есть — разве что сесть, лечь. 30 в тени, ни дуновенья, окна распахнуты, воздух за ними стоит колом.

И воп — это спранный, ни на что не похожий звук, будто тоненьким незримым буравчиком нерожденную душу сверлял, это ноющий звук «ззз...», то сбивающийся на шаркающие пришепывающие причипанья, то опять восходящий в нестерпимую мягкость нерва. Звук — оплуда, из глубины книжных полок, из второго ряда.

И воп она появляется, покачиваясь в воздухе, это маленький мотлох нипочный с безвольно растлепанными вниз руками-ногами. Как живой пучок букв, скомканный, с чернильным расчесом под ним этих рук-ног, рунок.

И это не муравьиный лев и не лесная оса, а какая-то иная тварь, промежуточная. И она вьется челноком у корешков книг, лицом к ним, будто считывает названия, и заныривает в глубь. И я, выгружая книги, наконец нахожу ее место: пыльная сторона Пруста, дюжина маленьких, уложенных прехрядной елочкой сквозных шиферных трубок со сквозящей янтарной помадкой внутри, тесно спеленатые будущие младенцы. «Под сенью девушек в цвету».

И эта библиомамка вьется, визжа шепотом мне в лицо, глядя, как я счищаю ножом с обложки эти липкие свертки ее детенышей за окно. И на подошве туфли она подергивается еще носочками и запихает, как штрих-код. Но тут же в окне покачивается другая. Или это та же, убиенная?

И не задраить окон, и не опустить рук, они прибывают с каждым днем, множась. «Кюхля», «Дон Кихот», «Волшебная гора»... Может, это некое послание? И я пытаюсь сложить эти книжные гнезда в некую связанную фразу. Не получается.

Курортная мурлыка поселка, и в ней эта почка замятия — как иголка в глаз вопкнутая. Тихий, с пальцем у губ, апокалипсис. Но почему он избрал *этот* край, это окно, эту — мою — жизнь, эту квартиру — 42? И почему он избрал их — вестниц, и почему — книги? А что у меня еще есть, кроме них, книг? А теперь вот еще и — вестниц...

И мне вспоминается короткая новелла Кортасара. «Дом», кажется, называлась. Двое в заброшенном доме, он и она, дни и ночи в объятьях друг друга, и вдруг они замечают, как дом исподволь, по миллиметру начинает сжиматься, стены песнить и к исходу душишь их в своих объятьях.

Где-то в разгаре этого насекомого апокалипсиса у меня поселилась женщина, которую я не видел лет десять. А глянув на нее, понял, что много больше, неузнаваемая. И ушел из дому, спал под открытым, забредая домой лишь в самое пекло, пока она плела, дымясь на Чеховке меж валунов у кромки моря с книгой в обгоревших, малиновых руках — «Так говорил Заратустра» — и жалобным фиговым листом на носу.

А к вечеру она поднималась в гору с авоськой бог весть где найденного в августовском Гурзуфе мороженого хека, и жарила его, жарила так, что пар пер из окна вздыбленным сапанинским хвостом. А потом с головы до пят обмазывалась кефиром, вылуцивала из глаз линзы и смиренно запихала, раскинув руки, на топчане. Шаткий куб комнаты, с каждым часом все гуще зарославший снующими этими тварями, и она, кажется, не замечавшая их; то ли зрение было настолько слабеньким у нее, то ли таким же снующе нипочным.

Воп между этими двумя картинками (вторая впоследствии войдет в новеллу «Кладка») и писалась книга Крыма, точнее, то, что к началу 2004 года в нее оформится под названием «Крымский диван».

Самые ранние из включенных в него текстов — стихи, написанные где-то в конце восьмидесятых. Они — в завершающем книгу разделе «Пир». Там объединены два периода жизни и записи, и оба — льющегося через край счастья, когда мир, по Пастернаку, больше, чем просят, дает. Эта безоглядная возгонка сокращений зазоров меж тобою и миром — до нестерпимого, сорвавшегося с цепи счастья.

А потом, за чертой, ты вдруг вступаешь в церцеевы владенья оборотной его стороны, в это сладостный дрейф невесомости, в безвременье бесчувствия, в тихий шелковый морок.

Потому что когда меж тобою и миром исчезает зазор, исчезает и импульс творчества, то есть собственно жизни. В этом смысле мир спасает не красота, а, похоже, разлад.

Вслед за этой *кентаврией* счастья (ряд стихов в книге «Пир» и отголоски его морока в книге «Междуречье», писавшейся уже в альпийском замке над бездонным озером, где я жил на стипендию баварского министерства культуры) наступил затяжной период молчания, я осел в Мюнхене, рисуя картины, участвуя в выставках, оплучаясь то в Киев, где издавал «Ковчег», то в Крым, где бродил вдоль пересохших ручьев того обморочного счастья.

Годы спустя, в Гималаях, у истока Ганга один пещерный отшельник сказал мне, вороша остывшие к утру угли: одна нога должна быть всегда на весу, иначе вязнешь — в Боге ли, в счастье ль, в жизни...

И вот в этом месте текста я стою с одной ногой на весу перед выбором: две дороги — одна круто в гору, другая по обводной. Речь идет о двух книгах: «Книге», опубликованной в 2000 году, и следом за ней — «Диптя».

Первая начиналась и в печение трех лет развивалась не как книга, а как проект *земшарного монумента нового образа человека эпохи входа в третье тысячелетие*. (Во сколько пафосу-пифосу!) Не монумента, конечно, в привычном понимании, т. к. новое содержание картины мира и ее восприятие требовало и форм иных. Через три изнурительных года блужданий в лабиринте культур и цивилизаций, их бесконечных пасянсов, в поисках волшебной, объединяющей формулы, километра эскизов и чертежей, передо мной на столе лежал проект, ужасный до десяти страниц. Двухъярусный город: меньшая, наземная часть его росла из озера; это была фигура уробороса — змеи, глотающей свой хвост, — символа бесконечности циклического времени. Высота пляшущих его колец подымалась над озером на высоту пятнадцатипятиэтажного дома, но попасть внутрь уробороса, в его психоделический коридор с интерактивными фигурами времени всех современных эпох культуры, можно было лишь пройдя нижний, подземный ярус. При переходе от линейного времени нижнего яруса к циклическому верхнего происходил «сброс» в сторону третьей модели времени — модели Уильяма Дана (время наблюдателя, наблюдающего за временем наблюдателя, наблюдающего... и т. д. — в сторону времени объекта). К этому *относительному* времени посетитель приходил уже в определенном смысле бессмертным. *Относительно* бессмертным, по крайней мере — фонетически. Вошедший оставлял в нем свой голос — несколько фраз на том повороте своего пути, где он чувствовал в них необходимость. И с момента записи голоса его с определенным периодом повтора блуждал по лабиринту. То есть первый посетитель входил в безмолвное пространство, спотыкающийся — в фонетический вавилон, говорящий на греческом, русском, кипайском, английском и т. д.

А вначале был коньяк. В рюмке рта. На высоте 10 тыс. метров. Девять с половиной часов: влил глоток — и держи его там, немея, глядя на Атлантику в иллюминатор. Стлопнул, следующий влил. Потому как курить нельзя. Сиди, немей, думай, плясь в мысль. О Монументе. Это заметка такая в газете, о Куполе Миллениума, в Лондоне собираются строить, газета у меня на коленях сидит, 1996 год, лечу я в Штаты, в гнездовые преднобелевских лауреатов, как потом оказалось. То еще Переделкино! У меня три замка в лесу: один для занятий литературой, другой — для занятий живописью, а в третьих они, оказывается, специально для меня через всю Америку антикварный литографский станок везли на товарной платформе — чпоб «Ковчег» делал, если вдруг вдохновлюсь. Такое у них представление было о нас, русских, леонардокулибинных. Я ведь у них за сто лет существования их Фонда первым был из гостей заморских.

И вот сижу я в сумрачном лесу (земную жизнь пройдя до середины) на берегу цветущего затона, черчу на песке город, и спирую. А из затона в мерцающей парче водорослей всплывают полупораметровые монеты лизы, панцирные. А над ними все небо в алмазах — стрекозых, все небо затона. А когда они замирают в мареве воздуха, сворачивая тела в колечки, они похожи на япи, еры, на шелестящее разноцветье ангельской азбуки, выметенной из языка. Они и есть ангель, оче-видные. А метрах в десяти от меня вверх по тропе — сидит лис и смотрит, склонив набок голову, похехивая на мои каракули. Я его вижу, чуть скосив взгляд через плечо: он в летней своей выгоревшей кацавейке, и лицо юное, юркое, с юморком в глазах. Идушными ночами в замке снится мне, Борхесу, ведущему за руку Алису, зазеркалье Вавилонской башни с подвесными садами пирамид и прочей ересью расходящихся тропок и из пепла встающих библиотек, и свободной рукой я кидаю гайку с подвязанным к ней бинтом — чуть в сторону от той песчаной комнаты, чуть в сторону от воплощения сокровенного. «Я — душа — Озирис», — без конца повторяет Озирис, идя по царству мертвых, ища свою душу.

Да, вначале коньяк был (в аэропорту Кеннеди я стоял перед таможенником, беззвучно, как рыба, раззевая рот, продублированный коньяком до полной анестезии). А в конце, четыре года спустя, когда я уже было решил оставить эту историю с Богом (или с носом, улизнув от ее циклическости на манер Улисса — под овечками дней), когда уже был снят и показан на первом канале ТВ Германии трехсерийный фильм-интервью об этом проекте, когда я уже наконец успокоился, обессилев и материально (от рассылки проекта по журавлиному списку адресов), и психически (от бессмысленной переписки с чиновниками), и начал понемногу приходиться в себя, так называемая реальность тихо подошла со

спины и, как в дешевых фильмах, хлопнув по плечу, поманила за собой пальцем, посадила меня в самолет, переместила в лимузин и с эскортом мотоциклистов в белых перчатках привезла и передала в мягкие лапы исполнения желаний.

«Херр профессор, — сказал мне председатель Счетной Палаты Германии, назначенный руководить строительством трансэтнического мегапарка в приморском городе Росток на севере страны, — конечно, точная рифма Вашему проекту — Нью-Йорк, Париж... Берлин, в крайнем случае. Но, согласитесь, когда строился Лас-Вегас, это ведь тоже было богом забытое место... Вот здесь, — и он указал в центре уже отчасти выстроенного парка огороженный пустырь, — будет стоять Ваша Фигура Времени».

Я кивал, слушая его, как дождь за окном, и вспоминал другой берег — Коктебеля, года за два до этого дня. Мы сидели у кромки моря с Андреем Биповым, он кидал плоские камешки по воде, я рассказывал ему о замысле, еще только нащупывавшем путь. «Сережа, — сказал он, выслушав, — Вы же писатель, пишите книгу. Реальность скурвит идею. Представьте все эти бетономешалки, бульдозеры, толпу у кассы слева от Макдональдса и Ваш замысел, превращенный в Диснейленд с хорошей миной при плохой игре. Представьте Леонардо, который положил бы всю жизнь на воплощение изобретенного им унипаза или подводной лодки. Идите дальше, пишите книгу». Но тогда мне казалось, что книгу, в меру своих способностей и Божьей помощи, может написать многих, а вот такую опьявленную утопию к жизни сосватать... в общем, верую, ибо абсурдно, — такие песни я пел себе.

Но прошло пару лет, и подустал я от этого циклопического живота, от этой неродной мне истории, смежной, но неродной мне стихии, и вышел на берег, на берег книги.

Писал я ее поначалу в своей киевской квартире, постанывая от воспаления надкостницы, сплевывая кровью через плечо в умывальник, попом — в весеннем Гурзуфе, сидя у распахнутого окна, под ночные лягушачьи прели крапчатых одупловатых виртуозов, вдруг запихавших в концертной законной яме, и тогда вступал хор убиенных младенцев, выдуваемый как вязкое стекло из разинутых глоток оцепеневших в извие копов, и тогда вступал перемешивающийся по поселку песий вой с раздуваемым угольком в губах. А то вдруг они все вместе вонзались в какую-то одну-единую для них нопу и прядали назад в оторопи, надолго стихая. А над сполом горела люстра, и вокруг нее вились юные крымские мушки, и это было похоже на Солнечную систему в миниатюре.

Книга состояла из четырех разделов. Первый — дромос, вход в лабиринт (книги, жизни, того, что станет в конце Фигурой Времени). Это многостраничный коридор черно-белой графики, адаптирующий друг к другу психоландшафты — чипателя и того пространства, которое ему предстоит. В этом коридоре, где настраивается зрение, слух, внимание, плавал отголосок текста, доносившийся откуда-то из середины книги.

Во втором разделе — текст, в форме сказа: некий фрагментарный дневник некоего человека, задумавшегося о смысле и топосе времени, мистерия блужданий в его лабиринте. Текст то и дело прерывается рисунками, маргинальными записями, графемами, которые по мере развития проясняются, приобретая очертания эскизов к будущей Фигуре Времени.

В третьем разделе — архитектурный проект. За ним — своего рода путеводитель по лабиринту, точнее, два: один (для среднестатистического посетителя) движется в обычном направлении, от начала к концу, на нечетных страницах. Второй (субъективный, авторский) — встречным течением, от конца к началу, на четных, перевернутый. Как ладони в муфте.

И четвертый раздел — «Верхний ярус». Иллюстрации (3D), создающие иллюзию уже выстроенного и действующего объекта.

Один из парадоксов оптики этой книги состоял в том, что в мистериальную окоlesiцу текста почему-то верилось больше, чем в очевидную реальность фотодокумента. И именно как в реальность верилось больше. Вот и Эйнштейн отчасти о том же: чем больше наука опирается на реальность, тем менее она определена, и, чем менее она определена, тем более опирается на реальность.

В «Крымский диван» из этой книги войдет несколько кратких фрагментов, своего рода взглядов в сторону, в сторону распахнутого в гурзуфские дни окна.

А попом из Мюнхена я позволю в Киев Варелу Лозовому — поэту, художнику, упоительному речевому факиру, с которым мы устраивали на два голоса те еще оргии... Это ведь не только, а может и не столько от нас зависит — каковы мы. Как у химических элементов — для реакции важен контрагент: с одним — сыч сычом, с другим гриб ядерный, с третьим — соловей курский.

Так вот, говорю я Варелу: давай отведем душу, давай небу книгу напишем, безоглядную. А писать ее будем в письмах друг другу. Но отсылать эти письма не обязательно. Мы ведь достаточно знаем друг друга, по сути обоюдной владеем речью. Наметим темы — твоего письма ко мне, моего ответа, твоего приветия и т. д., а потом сложим все неоправленные, отредактируем. Так началась книга «Дипя».

До ее 39-й страницы говорить о ней и легко и радостно, как о прекрасном безумии — и речи, и мысли (например, мы придумываем планетарный перформанс: каждая страна запускает в небо дирижабль, несущий под своим брюхом самую сокровенную национальную реликвию; дирижабли плывут вокруг земли, нации освобождаются от своих фиксации и фобий; небо едино! Через несколько страниц у нас пришли в движение и вступили в перрипоральный адюльтер мировые скульптуры, здания, улицы... Обменявшись серией будеплянских рисунков, мы договорились уже до обмена паспортами, языками, национальными характеристиками... А потом, подустокоившись, спускаем со стапеля Эльсинора призрак отца Гамлета: семиметровый радиоуправляемый буй в виде отца, бороздящий океанические воды. Этот тускло мерцающий фрейдоносец, пошлякаясь, гудит во мглу: «Прощай, и помни обо мне!» И смолкаем, задумавшись о создании женщины — иной, альтернативной...

А потом я иду по Тверской и вдруг — будто ничтожная незримая молния прошивает меня, и я превращаюсь в мокрый песок, и дни за днями это неопишное состояние длится, и кажется, я шевелю губами — песочными, — пытаюсь вымолвить это смутное — что? — откровенье? прозрение? — что? — не могу собрать это в слово, в мысль даже, хотя — вот оно, здесь, во мне, очевидней меня самого. Это как Хайдеггер говорил: к близи ближайшего мы всегда идем через даль далекого. О чем говорил он — о Боге?

Дипя, шепчу я, смещаясь к югу, *эмбрион*, распахивая окно в Гурзуфе, *морула*, не понимая эту запись на песочных своих губах, *семь дней завязи*.

И вот там, в Гурзуфе, начинается другая книга, с 39-й страницы. И я пишу письма Варелу — другому Варелу, иного времени, иной планеты, разумеется, безответные. И все эти письма — дневник одной мысли, которая постепенно начинает уступать, проясняться...

Так бывает: перероешь весь дом в поисках ключа, а он в двери был, в руке, в кармане. Почему ж мы всегда идем из такой несусветной дали — куда б ни шли?

Это был не только дневник человека, который эту мысль думал, но эту жизнь жил, в окно глядел, к морю ходил, пил, ел, спал. Вот это всё «несущественное» и было впоследствии вынато из «Дипя» и вместе с аналогичными отлчками из «Книги» составило «Фрагменты местности разных дней» в «Диване».

(А в 2002 году американскими учеными был сделан первый публичный доклад о «стволовых клетках». Перспективы этого открытия были сопнесены с открытием ядерной энергии. Направление получило статус государственного стратегического приоритета. Ученый смотрит в микроскоп и видит то, что видит. Ученый в нынешнем мире — в особенности. В очень узко заданном специализацией коридоре. Книга «Дипя» была опубликована в 2001 году. Стволовые клетки — у меня они назывались иначе — были одной из отправных почек ее метафизики.)

Ну вот, отсюда до «Дивана» — всего 2,5 года, две книги: «Я, он, топ» и «Птица».

Случалось ли в твоей жизни, Дима, такое: вот ты стоишь у окна в каком-нибудь Мюнхене, например, и вдруг тебя охватывает беспечное чувство, что ты сейчас должен быть в совершенно другом месте, времени, событии. И ты, наспех одевшись, садишься в самолет и летишь. И в этот же день это же чувство охватывает еще нескольких человек — незнакомых друг другу, живущих в разных городах, странах. И все они сходятся в один день в Гурзуфе у калипки твоего приятеля, спрашивая, не сдаст ли он им жилье на пару дней. И пока эта фраза еще висит в воздухе, захожу и я в эту калипку. И такое чувство мистического узнавания друг друга — будто разрозненные части тела срастаются в единое, легкокрылое, певчее существо, и эта химера лучится как солнце. И начинается необъяснимое. И лето уже истончилось, и осень, и опустел поселок, а они ни на миг не в силах расстаться даже во сне, и, просыпаясь, глядят в свои певчие отраженья друг в друге. И их носит с рюкзаками по Крыму, по пещерным городам, и они ходят, как лунатики, по отвесным скалам, и спят полуголые с блаженными улыбками на подернутом льдом плато, и варят грибы синюшные, ядовитые, за обе щеки. И деньги давно уж кончились, и непонятно — живы ль там, на той стороне земли, все эти дети, жены, службы... А потом как-то исподволь радужная оболочка дней начинает подергиваться, заволакиваться и — тишь, ни души. На годы. Навсегда. И бродишь, как пес фантомный, наклонив к земле голову, выживая жилье, курящийся из следов свет.

Май, Мюнхен, нулевой этаж, внутренний правый дворик, книга пишется. «Я, он, топ», пять новелл. И когда я в первой новелле захожу в некий мерцающий коридор, вдруг открывшийся меж распутившихся спрочек Библии, черный дрозд срывается с ветки и, подлетев на расстояние ладони от моего лица, зависает в воздухе, трепеща крыльями и разинув клюв, и кричит, кричит в лицо — бесконечно долго, истошно, беззвучно.

Да, что-то все же есть от инцеста в этом чувстве моем к Крыму. Нестерпимое чувство сладости и вины. И забвенья. Когда вдруг совпадаешь с самим собой. Глухонемое бездетное солнце.

А потом я принес рукопись «Я, он, топ» к ее крестной матери, тому «месту силы», где она зарождалась, — в пещерный город Тепе-кермен, — и положил глубоко под замшелую плиту в пещерном храме бог весть каких догомеровых времен, и ветер гудел в оконный пролом, как в пустую бутылку, и звезды текли вдалеке, внизу. А год спустя, такой же безлунной ночью, я просунул руку под ту же плиту — и рукописи под ней не было.

И, наконец, «Ппица» — о рае в шалаше, где-то под Ай-Петри, поэма со странной развязкой.

Вот мы и подошли к тому, с чего, собственно, должны были начать. *Amor!*. Этого слова нет, есть эхо ассоциаций: любовь, смерть, аборт, амок... И есть название мюнхенской улочки, на которой жила... даже не знаю как сказать о ней — *женщина?* И да и нет.

Имя у нее было русское, а фамилия в переводе с немецкого — обезглавленная роза, без бутона, лишь стебель, шипы и листья. Австрийская герцогиня по обеим линиям. Возраста — лет двенадцати, а сморгнешь — и считай от ста, а обнимешь ее, худенькую, как единичку, глянешь сверху в лицо ее, и — лишь круги расходятся, нет ей лет.

Прапраправнучка своей ладони. Наклонись над ней, и летишь в ладонь ее, как в колодец. Как в стекольное крошево. В пепел александрийской библиотеки. Тьмы и тьмы изломанных лезвий наглопавшая ладонь. Не бывает таких у *одной* жизни. Будто вереница других ладоней, женщин, судеб просвечивают сквозь эпу, маленькую, детскую. Девочка-ветер в женщине-тепле.

Факультет славистики, семь свободных языков, включая русский. Встает затемно и идет подмывать рунические мумии в доме престарелых. Такая работа. Паче гордыни. А потом ложится на пол, голая, в белом коконе своего пишайшего жилья, и сутки лежит, прикрыв глаза, полусшепотом повторяя за голосом в наушниках всю Илиаду, затем Одиссею, на древнегреческом.

Бог его знает как нас свело. В новогоднюю ночь. И, как бы в шутку, мы выложили на ее полу горящий круг наших имен из маленьких свечных пенёчков. А над кругом подвесили на нитке черную луну, на одной стороне которой нарисовали розу, на другой — соловья. И от восходящего тепла горящих букв луна начала вращаться, и мы, лежащие в круге, и стрелки часов, и комната, и снег за окнами, и вспыхнувший половичок под нами — в топ самый миг, когда она, выгнувшись, дернулась: «Never! Never...»

А наутро я нашел себя, эмбриона с подоткнутыми к груди коленями, в догоревшем круге имен, как зрачок в полузапыленном глазе. И на кухне лежала записка, в которой она прощалась со мной и с жизнью. И я стоял у окна, голый, и смотрел на падающий снег, и вновь на записку, в который раз пытаясь собрать выхватываемые взглядом слова в последовательный ряд. Ее английский. Тот еще английский! Джойс поры «Поминок по Финнегану».

Щелкнул замок, она прижалась ко мне в заснеженной длиннополой дубленке, пряча свое лицо под моим. В белом летартичном безмолвии хотела она побродить — там было написано, — побродить с нами, будущими, не вошедшими в Сад...

А потом, когда история наша стала совсем уже непроглядной, мы, как монетка, брошенная через плечо, оказались в Индии, в Гималаях, в верховье Ганга. И монетка завертелась на ребре. И вернулись мы пысячу лет спустя. Да и вернулись ли? И еще долго расплетались, подергивая этот запутанный, спекшийся клубок за нити.

А потом началось то, о чем Элиот писал Паунду: мы пишем, как поддерживают огонь в очаге, лишь в ожидании того единственного дня, который может и не случиться, но если он придет, этот день *прорыва*, мы должны быть к нему готовы.

И встал я из-за письменного стола, когда за окном уже таял снег, а сидел, когда все еще было молодо-зелено. Спал ли я между тем, ел ли? Помню, что было удивительно легко — жить, дышать, писать. Состояние, близкое к невесомости. И слова уже не зависели от меня и не искали друг друга. Лодка под парусом, звездное небо над головой, ты на корме, знай себе чуть подруливай.

Это потом, обернувшись, пришло понимание: это *книга* была, роман наш, а я пытался его написать *жизнью*.

И вдруг в один из дней замер, поднял голову, роман кончился. Но какое-то смутное чувство незавершенности оставалось. Как оказалось, это была долина меж двумя частями романа, запланная туманом долина. Бродя по котлорой и не находя себе места, я и начал писать «Диван».

Современная наука настаивает на необходимости двух и более языков описания любого из феноменов. Это к слову о втором значении дивана (*древнеперс.*) как собрания разножанровых текстов в форме симфонической книги. В этом смысле сам Крым — как Песнь Песней — Диван Диванов.

Первый рассказ, «Веретено», — биографический — от рожденного в Киеве в 1899 году моего деда до себя, тридцатилетнего, переезжающего в Гурзуф. Потом «Братья Крым» — жизнеописание этой цветущей планеты «г-ф». Затем «Наха» — история той, уже упомянутой встречи у калипки. За ней «Лимб» — пять новелл о шести чувствах, шести женщинах межсезонья. Дальше — работа с написанным прежде, об этом уже сказано.

Индия при этом стояла за спиной, заглядывая через одно плечо, через другое глядел призрак Мюнхена — второй, будущей части романа. - А прямо передо мной во все небо горела звезда. Так ярко горела, что казалось — не в небе она, а на ресницах — так лучилась она во все стороны тьмы, и потом — из бледного неба она одна, последняя, еще тянула свой тонкий голубой палец в светящийся мюнхенский дворик, где я сидел перед запуманенным зеркальцем своего портативного ч/б «макиншоша». И стояла эта звезда на небывало близком расстоянии от земли ровно столько, сколько длилась запись этих двух — книга в книге — книг. И отошла. Марс это был, планеты моей светляк.

Ну вот, Дима, мы и обошли окрестности «Дивана», благо, кажется, не запронув его. Не наше это дело — стоять меж чипапелем и письмом.

Не уверен, то ли это, что ты хотел, говоря: «Напиши так, как ты рассказывал мне прошлым летом в Гурзуфе, когда мы попягивали пиво на пирсе над леденяще горгонистым морем». Так же, Дима, не получится. В этих трех сестер не войти дважды: в реку, в женщину, в речь...

Москва, 9 апреля 2005

приложение

«Там, где кончается любовь, — сказал Соснора, — начинается книга. Где кончается книга — начинается диаметр смерти».

Хорошо, когда так. Но порой и не скажешь — где кончается одна и начинается другая — книга, любовь, жизнь.

В 2003 году, вернувшись из Индии с австрийской герцогиней, названной в романе Ксенией, я написал повесть «Прана». К тому времени история наших отношений с этой женщиной казалась исчерпанной, и в повести спояла точка. Но жить вперед, не говоря уж вверх — в этом оползне чувств, — было все еще трудно. Чтобы как-то переключить энергию, я сел за работу над «Диваном». Повесть дышала в спину.

Опложив «Диван», я написал вторую часть «Праны» — «Аморп», и снова вернулся к «Дивану». И опять все повторилось. Написал третью часть — «Песок», повесть переросла в роман. Завершенный, казался. С чуть приоткрытым ртом. Которым дышал — в спину. А я писал Крым. В Мюнхене. Изредка, полуслучайно встречаясь с той женщиной. «Ты редкий ребенок, — говорила она, — мы не вошли в Сад, у нас нет ни изгнания, ни будущего». Крым писал — времен детства. И неожиданно вынул меня из текста, написав еще одна глава: «Три неоконченных смерти». И вновь опустила — в Крым. И вернула — в «Нелюбовь».

Благо, к этому времени подошел срок издания книги — «Аморп». В аннотации к ней было сказано: «В заключение книги — две новеллы, перепряпывающие эхо романа».

Эхо оказалось дольше, чем я предполагал. Да и перепряпывало оно не роман, а меня — меж Крымом и Мюнхеном, как перекадывают из руки в руку. Она, Ксения, была рядом, фантомно. И до «Дивана» мы уже жили в Крыму — в воображении, в «Пране». И потом, когда Крым писал, в спину дышали — те, «не вошедшие в Сад». И уже после выхода книги, оказавшись в Москве, на двоих снял квартиру, в Люблино (да не вылюблено), ездил с ней в Феропонтов монастырь смотреть Дионисия, быть с нею, незримой...

Вот что необъяснимо — быть с нею не только, и, быть может, не столько во внеречевом космосе, а именно в языке — родном, русском, который ей — седьмой, семиродный, и быть в такой сокровенной близости в нем, в какой мне с соотечественниками и не снилось. Необъяснимо.

И, вернувшись с нею, фантомной, из Вологды, написало «Стекло». И опять этот финал — недосказанный, перепряпанный, с полуоткрытым ртом, уже за книгой, в другой жизни. И наконец «Вольер», круг Мюнхен—Индия—Россия—Мюнхен замкнулся. А внутри круга — Крым.

Бог весть когда будет переиздан «Аморп» с этими, не вошедшими в него, финальными главами. А с другой стороны — этот «диаметр смерти» прошел через «Крымский диван», став частью другой книги, жизни, их вторым дном. Пусть и займут эту часть, тем более, что обе новеллы, на мой взгляд, могут жить и самостоятельно.

с п е к л о

1

Трое в комнате, — говорят глаза.

Слух говорит другое.

Третье

говорят пальцы, скользящие по простыне,

на которой двое — он и она,

разметанная на шесть сторон света.

Луна

сощурена меж занавесок.

Он смотрит вдоль ее живота —

туда, где голова, как кажется ему,

Шопена,

лицом утопленная в ладони

ее межножья.

Никогда

она волосы там не спригла.

В никогда

он смотрит.

Его щетина

покалывает чуть живот ей.

Его запялок

их чувствует — маленьких два холма

и мель ребристую, и лен простынки.

Два маленьких, забытых Богом. Да,

двугорбы, шепчет, женщины,

и поперек груди

плывут.

«What? — еле слышно спрашивает. —

Was?»

Как странно, думает, не отвечая ей,
как странно — в слепь языка ее и жить и говорить,
и речь так тянется, так припадает к ней,
как будто у нее, у речи, никого
и не осталось
в отечестве.
Как странно.

Ее факультативный русский —
ребенок русский, худенький, слепой.
Молчит. Бог весть насколько понимает.
Не больше,
чем он ее немецкий, итальянский,
французский, греческий..
Что кошек в доме — в ней языков,
египет кошек.

«Я, Озирис, —
бредил, бредя по царству мертвых, душу
свою ища и повторяя: — Я, душа, Озирис...» —

«What are you whispering ?» — она кладет ладонь
ему на губы, легкую, как лист осенний терпкий,
ладонь.

«Нет, Nichts, —
он шепчет в щелочки меж пальцев, —
nichts, nichts, nichts», —
передвигая на глаза ладонь ее
и глядя, как, раздвинув занавески, входит —
спройна и светлоока —
нефть.

Покачиваясь, входит,
берет ее за руку и ведет
по кругу за собой спиной вперед.
А эта — следом
к ней тянется и льнет, и семенит ступнями,
и мелом тоненьким за ней крошится.

Трое.

Слух слышит: *троя.*

Ад лица

откроют пальцы:

не ее — другого.

Когда б не этот теплый детский шрамик

незаживающего рта...

Спранно,

что всех их так заволакивает, когда

пальцем водишь у них во рту...

Сторона,

ко всему безучастная, называется: *ноприэтом.*

А на стене, в изголовье — пара крыльев

ангельских, лебединых, муляж.

И лапунная шейка бра с плещущим клювом,

режим экономии.

И простынка в лепучих царапинах —

как экран с оборвавшимся фильмом.

Спранно,

будто я пишу тебе на топ полусвет.

Деревце

сжало пальцы свои под землей в пясть

и пишет.

Деревце,

южный какой-нибудь автопроф

семейства тутовых, беспочвенных,

пришел в тундру, врос

в карликовую березу,

пишет.

А потом, когда ее уже нет, читает ей,

на полу сидя, в той самой комнате,

а она на кушетке на кулачках лежит,

исподлобья глядя в оконный морок.

Он читает ей их историю.

Персонаж персонажу.

То есть четверо их:

два фантома и этих двое —

на словах.

Он доходит до леса, до места,
где змея ее жалил в ладонь.
Эта сцена-виденье лоскутна и крупнозерниста,
как смерть, чье лицо никогда целиком не открыто;
блик, щека, угол губ...

Взгляд от книги он к ней поднимает:
как та, перевернута на спину и,
как та, с кулачком на губах,
и незряче распахнута...

Двое их в царстве мертвых, два эха. Читает
он. Она слушает, русский ребенок в ней слушает,
но понимает не всё далеко.

Она ближе, всё ближе,
ей больно лежать вверх лицом,
где всё так далеко.

Она встанет, шагнет, как во сне, покачнется
и ткнется в него, как в стекло,
оплывая,
его за собой размывая,
проясь в этой топи
рассыпанных на пол страниц,

То есть шестеро: двое читают двоих,
и меж ними —
еще эти двое, спеленатых дрожью.
Не те и не эти.
А как замыканье меж ними.
И даже короче,
чем *меж*.

Не три.
Проморгается свет и стечет,
и пустынная комната
воровато войдет в очертанья.

Не войдет.
«Как ты сказал? — Она натягивает штаны —

х/б, топленое молоко, походные. —

Скорость света —

это вопрос синтаксиса ассоциаций, да? —

завязывает песемки. —

Ты — глаз, ты смугл и худ, и светишься как глаз. —

И шлейки перекидывает накрест, свитер грубый,
под ним два холмика пугих едва заметны. — Как
ты сказал? Природа ангелов и, — улыбнулась искоса, —
метафор — едина? — присела, горные ботинки
шнурует. И, распрямляясь вдруг: — Не продохнуть,
ни лечь, ни встать, — обводит комнату глазами, —
ни жить! И каждый новый твой чипапель —
здесь будет, здесь, — и тычет пальцем
в стены, в пол, в кровать». — Идет на кухню,
заваривает пермос, медлит, вернулась в шарфе,
шапочке оранжевой, во ржи...

Он водит

магнитом по исподу поля, передвигая куклу

по краю, на весу, игра такая.

«Вот, вот», —

она, как нитку закусив, следит за ним.

И здесь? —

он водит мысленно магнитом

под пятками ее. Стоит недвижно,

лишь головой покачивая. Кукла

скользит по краю.

В Альпах она,

щурясь от снега, солнца в распирочку,

неразличима уж — на карандашной тропе в лазурь.

Он входил в метро, садится, следующая — Люблино.

Она насвистывает. Он, проезжая по буквам станцию,

думает об этом слове, о странной его грамматике.

Оно ли кого любило, его ль? Не влюблено, не вылюблено.

Она любит панорамой. «Блин, —

говорит он, — комом в нем». Косится на него

школьница: «Вы находите?»

Она на краю садится

пропасти. Лотос, глаза прикрыты, спина прямая.

«Один», — говорит, просовывая в окошко. Будний
день, никого в зоопарке, крупа с подвывом.

Да, говорит, как выдранный зуб, как десна
кровопочащая, этот город смеркается, холодит
на вдохе.

Она открывает глаза, медленно выдыхает,
отвинчивает крышку пермоса, пьет какао
маленькими глотками, глядя вверх ободка
чашки на уходящее, цвета шарфа ее и шапки,
солнце; будто это они, размазываясь, ускользают.
Маленькими, как кошка, пьет.

Два-три бомжа на весь зоо, вот и весь люд.
Рысенок играет с ветром кульком целлофановым. Белый
сугроб обнял колесо тракторное, как подушку, глазки
красные в пелену глядят, где такие ж, как он, сугробы,
без колес. Квартиру
она сменила.
Тигр, альбинос, намаывает круги
по небу — след в след.

Она спускается в деревушку,
остывающую, как зола. Он сидит у окна. И она
у окна садится. Между ними стекло. Лбом ко лбу,
как со света во тьму, они смотрят
и не видят друг друга.

2

Нет в живых тех, кто любил, — помнишь, он написал?

Топ, кто все еще жив.

Топ, с вырванным слухом, сломанным голосом.

В белой рубахе живет, с белым выстрелом позвоночника — ввысь, навывлет, — от отца, лыжника, снайпера.

Белый огонь пьет, с мертвыми говорит, не с кем больше.

Белые ночи — нечесаные — носит на голове.

Нет в живых тех, — говорит. Помнишь? Я — нет.

Но и не сказать: живы.

Ты, впрочем.

Ты — та, которая — где?

На краю света, на колкой его меже? От себя на краю?

Или та, в благопристойной коме жизни размеренной, на быке, в Европе?

Или та, что сейчас лежит, сверстанная, на верхней полке какой-то пригородной типографии — Новгорода, Самары ли, с моих слов.

Или та, которой я говорю в никуда: здравствуй.

Десять камешков в этом слове бегут с горы, будто птичьим прехперстьем на взлете был сдвинут первый и втянул остальных, спружкой осыпи дребезжа до карниза, и стихло.

Семь хрипяще мычащих сквозь зубы, две гласных — а, у,
и с обрыва летящее краткое — в никуда.

Я развел между нами время, как огонь разводят.

И гляжу в него, не открывая глаз, в этом городе без нас, то есть без тебя, в этом городе Мо-ва, то есть речь, Schprache — на твоём языке, в теплом прахе ее, за десять тысяч непередаваемых верст и еще одну — от тебя, живущей в немь-городе, в нем. Монахове, буквой ю в нём, умляутом со змеиным укусом двоеточья над и — тем, летящим с обрыва.

Я живу на окраине Мовы, жилье — семь на пять, чуть просторней, чем у пса у ворот в родовом твоём замке. Разве что из окна вид кудрявый, цветной, на альпийские дали — у него, а моя даль обглодана и мутна; от земли до небес только кости светятся как дома.

Ты, наверно, сейчас в тех своих парусиновых белых легких с веревочным пояском на талии, на которую ты глядела вниз с хипповато-детским таким прищуром, мол, нет ее, что ж тебя так привлекает там?

Или тут? — подводила снизу к груди ладони. — Маленькие, как нет, — улыбалась чуть виновато, в сторону. — Как хомячки, упкнувшиеся в ладони, — шепотом, еле слышно, на чистом своем английском, разве что снов не видела на которм.

То есть бессонном, на которм спала со мной, то есть с моим русским, переходя на него, как я на родной твой — прямо, но чаще через этого третьего между нами — переводчика, шептавшего на ухо: *tenderness, sadness, oblivion...*

Странно, что ты не знала этого слова — забвение. С него-то как раз, я думал, ты и начинала учить... Да, третьего. Будто третья рука — там, где мы, под простынькой, вползлась.

И какой ни возьми — третий.

И отсюда еще, наверно, это чувство не то чтоб вины, стыда, но какой-то мучительной непрогляди, как очнуться наутро в скользких лоскутках сна; что там было с тобой, с нами, кто и, главное, что он так долго, так непроглядно нежно и мучительно с нами делал?

Помнишь, «стрелы точно подходят к ранам...»? Как и раны, впрочем.

И держат их как градусники в губах.

Да, возможно, в тех ты сейчас парусиновых своих шальварах, которые я так ревниво... И когда на ветру они перехватывали дыхание, по всей длине твоих ног перехватывая, и когда вдруг стихали, чуть поморщиваясь, лепеча, как во сне, и когда — белым обмороком вниз текли, тая — так легко...

И свиперок легкий такой — сосновый выгоревший лесок, и солнце за ним садится легкое, акварельное, то есть в тихой дымке такой свиперок меж теплом и вечерней уже прохладой, такого края, такого цвета.

Да, — кивнула ты, — в том же смысле это слово есть и в немецком: альтвайберзоммер, бабье лето. — И добавила, шагов через сто: — Было.

Да, такой свитерок на голое, и такие штаны, и тело легкое — как парусок плыло, чуть под углом к волне, и вдаль всегда, и не глядя под ноги, чуть под углом — от берега, но и если к берегу — под скользящим к нему углом.

Ты, возможно, едешь сейчас навестить отца с матерью (при квартала на велике до у-бана, пересадка на Одеонс).

Вы сидите за длинным столом, при неярких свечах и негромкой беседе, оставляя в ней чуткие пятна умолчаний, средни трепетанию эпих отсветов — на лице, на стене за спиной (ты их видишь на белой, за мамой, стене, а она — на темнеющем голом окне, за тобой).

Ход часов, два бокала вина, три свечи, две рембрандтовской кистью прописанных женщины, как одна сквозь другую; вдали друг от друга сидят, не касаясь лопатками спинок высоких спульев... ничего не касаясь, ни света, ни боли, ни пайн, полутьнь разговора, мерцанье, полужримая зыбь на весу.

Скрип шагов по разошедшей винтовой лестнице, голубовато-белесые глаза, маленькая улыбка в рыжей хижине бороды, третий бокал, отец, рука на книге, положенной на край стола...

А я стою в Мове, моюсь.

Неп, просто стою под душем. Стою, смотрю как вода пеленает тело, и сплывает прозрачной кожей с кожи, и завинчивается в воронку.

Тело мальчика все еще, но которого (из-под двери пянет, прикрыть бы) уже обнюхивает холодок небытия.

Вода свивается с тела, заплетаясь в ногах и расхристываясь, став отчасти уже телесной.

Тело вытерто и опнесено на вокзал.

А потом вы снова с мамой одни в комнате, и ты сбрасываешь свои парусиновые и свитерок, и она фотографирует тебя с сильной подсветкой на фоне стены — белую на белой. Неп?

Может, и неп.

Может, ты в Альпы ушла, сидишь на уступе, вдаль смотришь на заходящее солнце, третий день уж сидишь в позе лотоса, а оно все висит на ресницах, дрожит.

До Вологды, а потом автобусом до Ферапонтово — часа три по бетонке.

Мокрая, жалобная земля. Утлое низкое небо. Под ним — мхи. И висит оно над мхами, вылинявшее, одупловатое, пододеяльное, как с веревок не сняли. А под ним, путаясь в нем, едет маленький насекомый автобус. Или это метка для прачечной?

Тело сидит лбом к стеклу, смотрит.

Или ты собираешь листья в лесу, осенние? Как твои ладони. Вглядываешься, поднося к лицу. В этот лиственный жар хиромантии. В эту лесную венецию. В этот древесный дом престарелых.

Тихо так, под ногой пвоей и ветка не хрустнет, так ты легка. Одна там, до ночи, куспик огня в руке.

Хотя — какой гербарий, весна на дворе, май месяц.

А избы лежат, как сапогом вмятые в землю, полуживые. По одной лежат.

Одна, у дороги, как черная скорлупа, полая, скомканная, муть сосет, мхом давится. А другая — на полпути от нее к горизонту, неп которого, как и пути меж ними.

Мхом набрякшее небо плывет по синеющей мути земли. День за днем, по лекалу.

Откидывается в кресле, прикрывает глаза. На сетчатке еще подрагивают те огарки берез, чурочки без веток, стоящие в слезливой жиже, чуть

в стороне от дороги...

Или это люди были?

Люди. Два, например, человека.

Тут надо выпутаться из ума, пальцем выйпи из этого морока к воздуху — *вот и вот*, как ребенок. А иначе не выбраться.

Да и так не выберешься. А как жить с этим? Не обживешь. Потому что это... как что?

Как если бы два осколка из разных миров вдруг сошлись, и всем рисунком своих выпуклостей, впадин, линий совпали — почь-в-почь. Что это — совпадение? Чудо?

Но при этом такая разность... во всём, такое сильное отторжение друг друга... едва ли не большее, чем припаяние. Что это — несовместимость?

И ни умом не понять, и на вере не держится, и не разъять, и не слиться.

Плоть срастается с плотью, а души опшатываются по обе стороны, и растаскивают их тела, и расцепить не могут.

Это... как что? Как если б ходить вверх головой и вниз одновременно?

И кажется ведь — еще чуть-чуть — и свет срастется, только б эту соринку из глаза вынуть... Дьявольскую соринку из глаза Бога. Сосудик лопнувший.

На белом белое. Как гипс прихватывается ладонь, плечо, ужимка, веки полуприкрытых...

Мать пинцетом полощет фотоснимок. Свет лессировочный. И тьма красна.

Мать дочь разглядывает: белое на белом. Как будто та — в стене наполовину. Как будто в этом месте стена вздохнула, приняв очертанья тела. Безотчетно. Слабость. Минутная. Стены. Сейчас пройдет, минует.

Мать смотрит в этот белый омут, как дочь, прикрыв глаза и отвернувшись.

Лица, похоже, сродни местности, где прорастают.

Эти вот из Кинешмы, Петрозаводска... Ничего не растет на лице. Ни нос, ни губы. Да и лицо не выросло.

Накрапывает. Стоит на пустынной развилке — единственной здесь достопримечательности. Щемящая бескрайность. «Небо, — говорит, подымая к нему голову, — небо... с низким уровнем психики. Хорошо хоть земля под ногами». Идет по ней, по этой рыбьей соскобленной чешуе. Там, в мерцающем далеке, слившейся с небом.

Рыба она, по знаку. Но нет рыбы, чешуя одна.

Чешуя танцует. На хвосте вьется. Не сходя с места. Сойти — утратить.

Не сходит.

Нисходит. К себе. Ближней.

И уворачивается от всего, что восходит.

Все, что восходит, — смертно.

Уворачивается, не сходя с места. Игрунья.

Мать иeguменья. В Кипеже, под водой.

Норы в воде от рыб. В черной. Для рук фотографа.

Рыба-молитва и дыба-рыба, две норы. И руки две.

И черная пленка воды, перекрученная, засвеченная.

И снег над озером вьется песемками, как корсет расшнуровывает — ночи белой.

И ветер играет на пуповиной обвитой мертворожденной, как на валторне.

Красные чешуйки огней под ним.

Вначале, пока глаза не обвыклись, это было как в лоне ее, Богородицы.

Сумрачный жиденький свет моросит откуда-то сверху, расплываясь по стенам блекло-цветными лоскутными пятнами, слегка красноватыми.

Будто не свет, а пигмент моросит в эти маленькие окна под куполом.

А потом — будто стены смягчаются, спановаясь трикотажными что ли, фланелевыми, теплеют эти цвета лоскутные.

А потом — помнишь, эти цветные ленточки-тряпочки, оборети, которые подвязывают к веткам деревьев, и, особенно в Индии, когда уж ни веток не видно, ни дерева... такое вот ощущение, будто стоишь в этом дереве, внутри него, и листва его окутывает тебя, чуть колеблясь, окукливает со всех сторон.

А потом — будто весь этот парашютный космос как бы вздымается над тобой на вдохе, и вдох этот — твой, и весь этот космос — ты.

Ты, оставленный далеко внизу с запрокинутой вверх головой.

Вот если б не человеком она была, тогда б все сходилось.

Призраком, например, наваждением, вьюшкой миров иных.

Или мной в другой жизни.

Или между двумя меня, как меж двумя зеркалами.

Она — как эхо чего-то, что уже никогда не восстановишь по этому ускользающему обмылку звука.

Как, быть может, самый твой сокровенный сон, а ты — весь — решето пробуждения, не вспомнить, не удержать.

Полое, влажное решето.

В 1502 году он расписал этот храм. Вроде бы за 24 дня. От пола до купола. Сотни сюжетов, тысячи фигур. Непостижимо. Это ж не комикс, а космос, — каждая!

Сколько Рублев писал Троицу? А этот — 24 дня — весь храм.

Фреска, а поверху темпера. Как макияж. Со временем потемнел, сняли, лицо открылось.

Теперь представь: он пишет тело длинное-длинное, как дни на севере, как дороги здешние, и маленькое — с булавочное ушко — лицо. Но в лице этот — весь Бог. Не тот, которого знаем по изображениям. Другой.

Представь себе эту субстанцию — нечто между теплым охристым песком и чистым осенним светом, и она смотрит вверх тебя, но чувство такое, что глубже в тебя никто еще не смотрел. Смотрит глазами, которые нельзя назвать ни голубыми, ни карими, ни черными. Этот текучий цвет отраженного неба в воде. Так, будто и не она смотрит из этой пканевой ниши, которая, кажется, больше скрывает, чем открывает лицо. Но то, что открыто, кажется больше, чем тело, стена, и та даль, что за ней.

И еще подумал, выйдя перекурить: почему ж такие несообразно крохотные головы по отношению к этим тополиным посохам тел? Смирение? Целомудрие? Известно ведь какая птица вьет гнездо в голове.

И еще: кто рисует маленький нолик и на длинной палке к нему — руки, ноги? Дети.

А кто не смотрит в упор? Звери. И мудрецы.

И еще подумал: почему нельзя сказать, что свет от их лиц *исходит*?

Да, но и что вбирают его, впитывают, не скажешь. Терпкий такой, теплый свет. И недвижимый. И невесомый.

Нет, как бы на сокровенной границе меж внешним и внутренним, между от себя и к себе, в точке покоя, его свеченья.

И губы смолкают, чуть поджимаясь к центру, и глаза как бы смотрят, не глядя, только нос — осевой, пропьяженный, с красно-охристыми чуткими раковинками ноздрей — дышит.

Я не любил твои губы. Глаза твои не любил, ухо, шею. Я не любил ни грудь твою, ни живот, ни ноги. Все это было насмешкой над тем, что я мог бы любить.

Речное такое лицо у тебя, меленькой речки, свет чуть косящий над ней, ранне-осенний, жиденькие берега.

И какое-то выпавшее из времени тело — то ли в будущем, то ли в прошлом.

Худенькое, нерослое. И почему-то всегда, как только глаза прикрываю, — голое, и — со спины. Мальчик. Лет двенадцати. Я.

Но вот все это вместе, все то, от чего я с таким недоумением отводил взгляд, вместе — как ты, как жизнь твоя рядом с моей, было единственным, чутким, так близко... чудом.

Смотри. Алтарь, центральная апсида. Мария с младенцем.

Видишь, она не держит его. Лишь чуть касается плеча. Одной рукой, правой. Оба развернуты к нам лицом.

Его пятки — на уровне ее лодыжек, голова — на уровне ее груди.

Он стоит? Нет. Он парит? Нет. Он как бы вписан в нее? И да и нет. Она поддерживает его? Нет. Хотя бы чувствует его? Впрямую — нет. - А он? И он тоже. Что ж, выходит, ничто их не связывает? Ничто. А откуда ж такая нежность, единство, родство?

Смотри: она в вишневых ризах, так? Под ризами — небесно-голубая ткань, как река течет. И начиная от колен — ее уже мы видим: она омывает его ноги, то есть он как бы стоит-плывет в этой реке, уходящей вниз и в сторону, за них обоих, размываясь далью.

Он, младенец в возрасте отрока, стоит в этой реке в облачении цвета влажной текучей глины, тронутый упрямим солнцем.

И такого же теплого цвета лицо Марии.

А ризы вишневые, то есть холодные, с переходом внизу в ту небесно-голубую, столь же холодную, ткань-реку.

И вот, если расфокусировать взгляд, кажется, что одежды ее раздвигаются — там, где он в нее вписан.

Она, как и он, смотрит вдаль. Тем же взглядом — поверх дали, то есть в самую близь.

А теперь смотри на руку ее, правую: описывая полукруг, она чуть касается его плеча, безопчетно, кончиками пальцев. Ни он, ни она, похоже, даже не чувствуют этого; оба погружены в эту даль-близь.

Но продли эту линию ее руки, то есть не ты, она сама дитя, течет, как та река.

Она и есть та река, только уже внизу, как бы поддерживающая его.

И отсюда, наверно, от цвета и неизъяснимого света руки-реки это чувство родства их — до сердцекруженья.

А они вдаль глядят, и, похоже, даже не знают о том, что их двое.

Потому что они — одно.

Вот что мы с тобой делали. Выламывались друг из друга, как из вязко-пягучего зеркала.

А теперь отойди. Видишь? Слева от них, в северной апсиде, — Креститель, в крылья одет. Предпечка, врос в пустыню по грудь, и до небес — крылья.

Теперь справа, в северной: Николай, в рост. Белое облачение. Слепяще-белое. Как соляная копь. Открытый цвет, чистые белила. А лицо — еще

чище, еще светлее. Нет такой краски. Николай. Чудотворец.

Теперь попробуй найти точку, откуда б видны были все эти три апсиды. Нет ее. А две? Тоже нет.

Подыми голову, он смотрит в тебя, входит в твою темь. Христос.

Во весь купол его лицо. Одно лицо, и маленькие ладони, отброшенные от лица к краям купола.

И нет между ними рук; та же небесно-голубая река завивается вокруг первозданной охры его лица; такой, наверно, земля была в первый день, из вод выйдя.

Лицо — как остров. Или — как солнце, остывающее, когда не слепит уже, и лицо пропускает, и нету под ним Земли.

И эти ладони его, отброшенные к краям по диагонали — куда? — за мир, за воды, эти дальние маленькие ладони его, свинчатые под углом, как лопасти, вращают весь этот купол воды со светящимся мирозданьем лица.

Я вот думаю: сколько ж идти от тебя — той, которую вижу, чувствую, говорю с которой, до той тебя, кто ты есть? Не одну жизнь. Не мою.

Странно, даже сейчас, когда ты — та, которую я когда-то отделил от тебя, и жил с этим призраком, как в кровосмешении с сестрой... даже сейчас, когда ты, сестра, уж давно от меня отдалась... даже сейчас, когда уж давно рассело между нами... быть с собой это все еще значит — с тобой.

Я ведь и в Феррапонтово это поехал, чтобы с тобой побыть. С Дионисием и с тобой.

Неприкрытая дверь. Листья метет в проем, сношенное тряпье. Голые стоят, венозные, по обе стороны от двери, гнутся — вначале эти, потом те. Деревья. Верви девы. Озеро в проеме. Красновато чешуйчатое, и вдруг темнеет, гаснет, и снова вспыхивает — всё в булавках. Переходы эти не так очевидны. Вот оно заволакивается, бурля, бельмом вскипа. И вновь гладь, глубь, радужная оболочка, ресничные берега. Солнце, в пучу спеленатое. И — нет его, плащаница струится за горизонт, запятнанная.

Это храм Богородицы. Посчитай — сколько их здесь. Не счесть.

И смотри, что он делает. Они глядят со стен друг на друга, как в зеркала.

Тысяча и одна Мария.

Зеркала, с небольшим опозданием повторяющие движенья одна другой.

У этой рука уже поднята, а у той — напротив нее — еще поднимается только. А время меж ними — смерть сына.

Или вон та, с Елизаветой стоит, обнявшись, еще беременная, смотрит через ее плечо. Продли ее взгляд на другую стену. В зеркало. Через 15 лет. Смотрит через плечо. Из другой жизни. Маленькая, той до бедра. А одежда выгорела. Потому что напротив окна стоит.

Их здесь — как мотыльков в ночном саду, под лампой. Лучше уж так думать, чем про эти зеркальные коридоры, из которых не выйти ей.

Не выйди ей. Или биться о свет, или двоиться, двоиться... В зеркалах. Богородица-Дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобой...

Помнишь, мы бродили с тобой по лесу, в предгорьях, и, раздвинув ветви, вышли на маленькую поляну с голубой травой и одноруким деревом, ствол которого был гол и сух, а рука, вскинутая к небу и отведенная чуть в сторону, цвела.

И мы долго стояли так, глядя: я — вверх, на руку, а ты — вниз, на траву, усеянную этими желповолосыми воздушными паричками.

Казалось, они ни на чем не держались, росли ниоткуда. Парили над кончиками травы, чуть касаясь их, как на пальцах.

И ты, опустив голову, глядя на них, еле слышно перебирала губами воздух.

Что? — спросил тебя взглядом.

У Марии, — прошептала ты, — были такие волосы. У Богородицы. — И, помолчав: — А лицо — как зерно пшеничное.

И я смотрел по на тебя, по на эти желтые, простоволосые, без лиц, подрагивающие как на иголках, и не находил, что ответить.

А потом, что ли месяц спустя: — Вот, — сказала, указав пальцем абзац в книге, — помнишь?

«Вид лица Ее был как вид зерна пшенична, власа желтого, очес острых, в них зеницы подобны бяху масличного плода виду; брови Ее наклонены и изрядно черны; нос не краток; уста как цвет розы; лицо не кругло, не остро, но мало продолжено...», Св. Епифаний, IV век.

Спранно, — говорю. — Бяху спранно. Не припомню изображений ее со светлыми волосами. А ты?

У окна стоишь, вдале кивая.

Масличный плод... то есть, говорю, светло-зеленые у нее глаза. Не черные же, если волосы желтые.

То есть почти альбинос. А брови черные. Такое лицо вряд ли могло не запомниться, не быть описано...

У окна стоишь — худенькая, легкая, почти бесплотная, как свет за ним, тающий.

Вот, — говоришь, и смолкаешь. — Вот, живут они, две женщины на одном подворье. У одной, юной, Бог в животе, еще завязь только, благовещанная, а у другой — Предтеча, шестимесячный, в животе. И ходят они день и ночь по дому, слушают животы, и те, в животах, слышат.

Не оборачиваешься, руки опущены, молчишь.

И еще муж, Захария, онемевший, за то что Ангелу не поверил, что жена его, Елизавета, неплодная по годам, зачнет.

Не шелохнешься, спиной ко мне, будто не ты говоришь.

И каждое утро это Захария, священник, идет в церковь, но, бессловесный, служить не может, открывает рот и до ночи ворочает тишь губами.

Как дуновенье стоишь у окна, не ты...

А та, юная, только ангел от нее оплелел, сказав: «Вот и сродственница твоя, Елизавета, зачала...», пошла к ней. В другой город. Одна. И вернулась спустя три месяца, когда твой срок пришел.

Стоишь, пальцем по стеклу водишь.

Один дом. Две женщины. Один на двоих ангел.

А когда вошла она, та вскрикнула; ребенок ее, шестимесячный, толкнулся в животе, впервые, всем своим будущим, головой срубленной...

То есть с голоса этой, юной, идущей к ней от калипки, дернулся, духотворясь...

Что ж они делали там эти бескрайние месяцы, в дни вслушиваясь, белье развешивая на веревках, вглядываясь поверх него в даль?

У одной, босоногой, желповолосой, со светло-зелеными глазами... завязь креста вздрагивала под сердцем. У другой, угасающей, — шерстяной комок с повернутой головой.

А потом они встретятся в Иордане, два сына, и на миг передернется память — тем упробным видением, и войдет в берега.

Спиной стоишь, в темноте, пальцем водишь.

Или это я говорю?

Нет, и ты не любила меня. Не так, как я. Хуже, чище. Как река — берег: вскользь.

И ведь не скажешь: *нет* ее, когда она — вот: течь. А ведь — нет. На то она и река. Где? Здесь? Или там, за излучиной, в рукаве?

А он, как лес, вошел в реку, а это даже не русло было, — ее расплет.

И я ведь видел тебя — оплуда, с верхних веток, видел тебя — там, вдали. Там. Пока здесь убывала.

Здесь, Мария, у ног, умывала...

Топь. Гаданье по топкой ладони.левой. Правой. Они бы совпали... Будь мы милосерднее к жизни. Будь я...

Подсыхает. Следы проступают, сены, высолы...

А в Калуге, на берегу Оки, — деревянный домик в два этажа. Там, наверху, был его кабинет. К потолку подвешены две железные рыбы, каждая — в размах рук. Они как бы плывут вдоль окон, одна за другой. Гофрированные, будто сплошь из жабер. Это его дирижабли. Невоплощенные. По идее, это железо под давлением газа должно было раздуваться, разглаживаясь до своей баклажанной формы; дирижабль взлетал, а потом — спадая с боков, гофрируясь, снижался, как ладони в молитве.

Как ладони. Да. Тебе нужно одной побыть.

Дед мой, когда служил там в паровозном депо, чай с ним пил под этими рыбами. Молча. Сахарница, щипцы, дождь за окном. Отхлебнет, и то в окно глядит, то к рыбам глаза подымет. Кусочек сахара за щекой.

Нужно одной. Побудь, конечно. Благо, сумрачно здесь, как в воде вечерней. Окна тусклого света пмятся под куполом, как косяки рыбы.

Ты — у северной сены, я — у южной. Так и в близости нашей. Ни востока, ни запада. Как запавшая стрелка компаса.

Ты ведешь рукой по сене. И руке бы — одной побыть. И душе — одной, с глазами прикрытыми. О себе я. Бесконечная коммуналка. И живешь в коридоре, на раскладушке. Память переступает тебя, чувства снуют, света полоски из-под дверей, не твои голоса.

Окон нет. То есть односторонние. Даже не так, как в полицейских участках, когда ты видишь, а тебя — нет. Ни ты, ни тебя. Мебиусное стекло.

Как она называлась — та церковь, рядом с твоим домом, этот черный стеклянный куб с трубой колокольни? Amort-Kirche? Сены ее из затемненного стекла были похожи на огромные рентгено снимки, в их чипал из твоего окна: негипивы деревьев, людей, домов, подвисяющих облаков над ними. Как опухоли. Как тела инородные.

А в колокольне был лифт, бесшумный, с выходом в небо.

Как же она называлась? Преображения? Перезагрузки? Рестарта? Соловьи вокруг нее бесновались, как пропивоугонные механизмы. А внутри нее исполнялись концерты Листа, Генделя... 20 евро за вход.

Помнишь, наконец мы вошли в нее, в час безлюдья, впроем. Мы с тобой, и меж нами — этот маленький человек деликатной наружности, говорящий вполшепота, как полуденная листва. Доктор Пипум. Член Ложы, член Совета еврейской общины Германии, а по должности — консул Монголии.

Вы спояли там, еле слышно шелестя по-немецки, в этой выскобленной до стекла упробе, в этой выворотке огня. Где? Вероятно, у северной, в ее приглушенной дали.

И весь этот акустический пустырь вслушивался, напрягая сены с этим светом, над вами защемленным, как межреберная невралгия.

Ты ладонью ведешь по сене, не касаясь ее. Говорят, эти краски были привезены из Византии. Все, кроме охры. Охра местная. То есть небо нездешнее, а телесность, тепло и земля под ногами — отсюда. Тем и держип. Не рвется. Как мы.

Вот, смотри: не кругло, не остро, но мало продолжено. Как зерно пшеничное.

А вокруг — огородный рай, краски такие сочные, как после дождя, как сны в детстве.

И мы с тобой ходим — маленькие, чуть выше травы, — ходим по этому раю, совсем не видно нас.

А какой овощ цвета преобладает? Тыква? Огурец-помидор? Синь сквозь зелень? Облака плывут в огороде, овечки...

Посмотри, как он пишет полпу: паркий клубень голов. Клубень, только что вынутый из земли. Ботвой вниз.

Ты говоришь: столько сюжетов — сны, а где ж главные? Где Голгофа? — Неп ее. — Где Вознесенье? — Неп. — А Сад Гефсиманский, а Страсти его где? — И их неп. — А Тайная Вечеря? — Неп, не видел.

Теперь ты скажи: Бог-отец есть здесь? — Неп, кажется. — А Дух святой? — Неп, не заметила. — Что ж есть? Жизнь? Vita?

Знаешь, о чем я вспомнил? О нашей вылазке в джунгли. Проспал, а ты тихо радовалась, сидя на веранде, исписывая дневник длиннющими немецкими словами (о чем? не о нас, уж наверно), а в метре от твоего лица, на тебя глядя, раскачивалась на ветке вниз головой обезьянья мадонна; левой рукой прижимает к груди младенца, правой — метет под собой воздух.

Да, не улыбалась тебе эта мысль. Да и я бы, наверное, не решился — один. Неп, пожалуй, пошел бы, но против шерсти. Вероятно, ты чувствовала, что я в тебе провоцировал. То, что, держась за руки, пяпилось друг от друга. *Мы*.

Или жизнь тебе так дорога — цаца твоя? — ерничал. Ты отводила голову в сторону, чуть сощурясь, как поджимают губы.

Да, конечно, не в этом дело — было. Я видел, ты видела. Даже та мадонна, перевернутая, висящая на ноге.

Пошли всё же. Не запемно, как собирались. В самое пекло. По пересохшему руслу, вверх, в сужающееся ущелье. По желобу, заваленному валунами. — Я впереди, ты за мной, тихо, палец у губ, смотри — кудаставишь ногу. Тебе тяжело идти в этом шелковом сари, не дышит, липнет. Все круче вверх, слоновьи кучи — свежие, еще курятся.

А что, — говорю, — будешь делать, когда сполкнемся с ним, диким? Не разминуться тут.

Вверх показываешь, взглядом скользя по отвесной щеке ущелья.

Да, думаю, неп меня в этом сценарии. Неп *мы*.

А потом, в верховье, где не то чтобы ветерок, а так — беглый лепет, ты разделась, оставшись в одних ботинках, стоишь на камне, спиной, в себя приходишь. Издали — как свеча оплывшая, отметочка высоты.

И — ни слова, пока подымались, только на солнце поглядывала, заходящее, а возвращаться — часа три.

А потом, в сумерках, на подходе к поселку, когда уже музыка была слышна, голоса, мы увидели на тропе ворох перьев павлиньих и самку, как бы воткнутую в куст вниз головой, шея ее текла, как струйка воды мерцающей, бирюзовой, и оканчивалась крохотным кулачком с расплывшимися глазами.

Мы присели на камень. И когда я, вынув камеру, хотел встать, точнее, встал и уже занес ногу в сторону куста, ты вдруг тихо сказала: — Стой!

Я обернулся. Взглядом указывала под куст.

Варан, полтора метра в длину, лежал под занесенной ногой. Головой к нам. Глядя — хотя и снизу — в упор. С этой прещиной улыбки, безвременьем ее. Лежал под текущей к нему шеей, как под шнурком с гирькой остановившихся часов. Лежал недвижно, в листьях, пока мы сидели, молча, на расстоянии руки от него.

Хорошо посидели, — сказал, когда отошли, — втроем.

Втроем? — обернулась. И, чуть погодя: — Сатана. И красавица.

Да, вчетвером.

Тускнеет со временем, отслаивается, шелушится. Знаешь, как восстанавливают? Плавят воск с очищенным скипидаром, потом флейцем на стену наносишь. Потом паяльником с выгнутым на конце утюжком укладываешь отслоившуюся краску. В одной руке паяльник, в другой ватный тампон,

смоченный скипидаром, подтираешь остаток воска. Потом мелко спружишь хозяйственное мыло в ведро, заливаешь водой с добавлением аммиака, варишь до мыльной каши. Моешь стену от так называемых поверхностных загрязнений. То, что не поддается мылу, снимаешь хим. раствором и скальпелем. Потом пропитываешь льняным маслом. Шпаклюешь утраты. Грунтуешь. И, наконец, восстанавливаешь утраченные места, нанося краску всегда на полпона светлей.

Я застался на лесах, под куполом, дожидаясь, пока все разойдется, и собор закроют. Западная Украина, Почаевская Лавра, мне 18, ученик реставратора, бригада семь человек, живем в келиях, время советское, застой.

Застался. Первые дни. Как — подойти к стене, дописать палец Христа, утраченный? Левый глаз — у Богоматери, зашпаклеванный, белый? Смотрю, как я включаю лампу, иду к ней, осторожно спуская по скрипящим доскам. Лицо ее во весь ярус, я вмещаюсь от глаза ее до губ.

Издали — казался черным. Фрагмент зрачка, уцелевший. А мажешь рядом с ним черным — и глаз слепнет. Смешиваешь — с той краской, с этой... Нет, не то. Кажется, там переливаются все цвета. А больше четырех красок смешиваешь — грязь.

Мазками выкладываешь. Нет. Снова спираешь ватой, смоченной в скипидаре. Смотрю, терплю. Чуть слезящийся. Лессировочный. Мазками, лепестковыми, оставляя зазоры воздуха, левкаса. Так. А завтра, когда подсохнет, еще раз, жиденько, поверх. А потом еще. Тихо, знобяще тихо. Уже светает. Не волнуйся. Завтра. Спускаешься вдоль нее, как в колодец. Спишь, свернувшись в ее зрачке.

Говорят лишь утраты. Да и то — не о том.

В двух часах от Калуги, на речке Протва стоит дом.

Дом Елены. Ей бы имя — И-куб. Да, Елена Икуб.

Ширококостная порода, с властным лицом боярыни.

Опличница академий. Вдова. По смерти мужа, строит усадьбу вдали от Москвы, в деревушке Бенцы, под Боровском. Пишет ее как картину. Как «Явление Христа».

По газонам, сходящим к реке, бродят амнезийные колонны — по одной; камни, вышедшие из земли, уложены в мандалы, криптиграммы; безымянные людские фигуры, распиленные в Москве, привезены и установлены — сидя, лежа, взбросив частей.

Дом в три этажа, верхний — солнце в стекле, мастерская. Два других — сумрачны, замок. Амок арок, лестниц, фамильных реликвий, антикварной мебели. Занавеси из горчичной дерюги, чуть разведенной в спорыньи, и в просвете — до пола — фата. В столовой — журавлиный список медных кувшинов, привезенных из Памира. Каждое лето там проводила, когда была молода. Седлала лошадь и уходила в горы, полотняный мешок за плечом, блокнот для эскизов, вода, еда.

За домом — небольшой коллизей, спиралью ввинченный в землю по грудь, шапровая крыша над ним парит непонятным образом. Там — вертел для борова, арена зрелищ с амфитеатром.

Лес, луг, излучина со стелящимся туманом. Пес — белый, в даль глядит, как нестеровский отрок.

А на горе — церковь, почней, руина, Косьмы и Демьяна. Она ее восстанавливает, везет крест из Москвы на своей машине.

В Боровском монастыре старец Власий берет в ладони ее. Она говорит: между жизнью и смертью берет. Она говорит: не всю.

Ее мучает Куб. Она не знает его имен, не в силах его промерить. Это земля? Крест? Тройка, квадрат, Троица...

Не там ищет. Она художник. Она не там и не там. Она, по Кьеркегору, предпоянье Ему. Она не может Ему ни отдать себя — всю, ни взять. Ее, как провод оборванный, искрит о землю.

Она строит кубы: из железа, дерева, льда, воды; она расписывает их горящим битумом, она заплетает в куб иудино дерево с витражными огоньками в нем, она вяжет терновый куб с яблоками, насаженными на шипы, и сплавляет его по реке, а с прибрежных ветл капаят слезы алые — и путь стеля ему, и вослед, а она уже заплетает кубы паутинные, заливая водой их в рефрижираторах, и потом выгружает эти морозные росписи

на косогор под июльский пыл; текут, дымясь, расплетаясь, тая; осень жертвенная, она кровавый куб опускает в небо, небо его не имеет, шар воздушный над кубом вьется — оплывшая голова на тонкой жиле.

Она стоит на холме в черно-белом лоскутном своем тряпье, обхвативши ладонями плечи — как в монахино вжался маляр. За спиной ее — два мужика деревенских, живущих в спорожке, отец и сын, выгнулись, глядя на шар, этот дух мотыльковый, в небо бьющийся, как в стекло.

Она говорит: давай вместе — думать, делать.

Да, думаю, сукуб/инкуб..

Вотк, говорю, если зеркально прочесть, книга.

Давай, говорю, книгу сделаем, мельницу-книгу — на реке.

Вот и развертка куба, крест вращающийся, бесконечный. Книга-мельница-колесо с лопастями страниц.

Деревянные лопасти, покрыты сусальным золотом — пятнами, как затон на закате. А по ним бипумом пишем текст — по строке на каждой.

Будь я тобой, я б писал: *Отче наш* — прокручивается — *иже еси на небеси* — прокручивается..

Водоросли, кувшинки, золото с зеленцой времени, опсветы, пернатые клинья воды за колесом. Книга, листаемая снизу вверх, через небо, круговоротом.

А если собой, спрашивает.

Собой? Трудно сказать. Аз, буки, веда... Жизни мышья бегопня... О Неизвестном солдате..

Она говорит: едем. Она заводит машину.

Тихонова пустынь, это неподалеку. Тихон там, старец, в лесу жил, в дупле. Оту же пору, что Дионисий. Сидел там, в небо глядел, перевернутый, как эмбрион. Древесную пуповину сосал, молчалник, незримую. Древа того уж нет. Храм, купель. А дальше — Оптина, на реке Жиздра.

Здравствуй, как жиздра? — Да слава Богу.

Ведешь по стене рукой..

Да, подсушивает со временем, следы пропускают, разводы. Полоса... Как ты сказала? Обмирщения? Да, обмирщения чувств. Даже в сны пы приходишь все реже. И стоишь в стороне, за стеной.

Так было в Оптиной, где я сморился под утро в душном спичечном домике, стоявшем чуть набекрень в глубине сада на окраине хутора.

Елена спала в соседней хибарке. Весь день за рулем. Легла, не раздевшись, уснула. И, кажется, прежде еще, чем легла.

Это был первый дом, в который мы поступались. Аня, старушка-старожил, живет здесь с сороковых, одна. Дома пустуют. Единственный магазин — врытый в землю железный короб, высотой 1,5 метра, и зарешеченное окно — в две ладони. Улица одна — Лермонтова, она и ведет к храму.

Ты за стеной стоишь. Не здесь. В Шамардино.

Это верстах в десяти от Оптиной. Нужно свернуть с дороги и ехать в даль, в пыль, в бытие.

Он возникает резко за поворотом. Черные купола. И барабаны под ними черные, глухие, без окон. Красно-кирпичная туша стен. Как оживеванная. И всё это — в небе, проваленном до земли под тяжестью этой туши, опороченной грядками с маленькими цветами, как ворсой.

И на грядках этих стоят согнутые до земли монашки, поют. Недвижно. Будто нулые холмики чернозема споят.

И, разбросанная как зола, деревушка окрест. А за нею — поля... И какая-то жалобная тишь висит — куда ни глянь.

Шамардино. Монастырь женский. Отрада оппипских старцев, опекунов. Здесь, значит, Толстого опмаливали, оплученного. Кто? Сестра его, что ли?

И маленькие такие окна в этих фабричных стенах — как спичечные головки, сырые: вспыхнут, гаснут.

За стеной. Которой будто бы нет. И ладонью водишь перед моим лицом.

«Есть тут кто? — Чуть свет, Анина голова в окне. — Чайку?» — щурится меж занавесок.

В храм вошел, Числа уже прочли, полы моют. Амвросий в раке лежит. Тот Амвросий, который сказал Достоевскому, в спину: «Этот — из кающихся».

Вышел. Галки сидят на заборе, разинув рты, дышат.

Это по смерти Алеши пришел он, еще не остывшей.

Водишь рукой. Так близко. И запах ладони — речной... И так далеко, неразличима, машешь... Кому?

В Мове стою, лбом — в черный квадрат окна. Эги нет: ливень — густ, как асфальт. И вдруг — стихло. Вось нипку света в ушко вдевает. Всякая тварь грустит, просыхая: земля, небо...

Тыходишь в куб зеркальный изнутри... Куб — это что, откуда? Он гнездится в уме — нашем. И, похоже, нигде больше. И мы обживаем его как дом, книгу. Куб — чье жилье? Человека. Дважды помноженного на себя. Человек в кубе. Да, дом, дым, кость игральная. А на языке символов? Земля, материя, прочность, стабика, четное, женщина. А выведенный из равновесья, множит грани, переходя в нечетное, дух, мужчину, развихриваясь, близясь к шару. Куб-Book-Бог.

Поехали, — говорю, — отсюда.

Платье на ней в обличку после купели, и глаза — как у птиц на рассвете — певчие.

Да, — говорит — и все в зеркальце обратного вида косится на удаляющуюся пустынь, жиздру...

Окна мои на бульвар глядят. Парк, пруд. А теперь мост посреди воды выгнул спину, и деревья бредут против печи с задранными над собой подолами.

Вышел, печь обхожу, там — на той ее стороне — интернет-кафе. Иду, слова подбираю, перебираю, как нищий мелочь, те, которыми ты откликнулась.

Нет, не ты, — та, которая — что? пережила тебя? выжила? перешла?

«Любовь, — ты пишешь, — плюс смерть...» — без обращения.

«(Любовь + смерть) x (весь рожденья + День детей) = ...»

А потом с абзаца: «However...» И что-то там про сверчка на росном лугу в глубине твоего сердца. Про сверчка, пронутого этой вестью.

Да, говорю, певец. Сидит в засаде и от каждого шороха цепенеет.

Надо еще в словарь глянуть, пойдипойми эти твои реликты — те, что между певцом и сердцем.

Перебирая, твои подбирая...

Спранная запись, не промаргивается, как топ глаз Богородицы... Топ, сквозящий, в утрапах.

Чуть светлей, — говорит. — Чуть светлей. На полтона.

Западная стена. Там, где и должен быть ад, Запад.

В самом низу, справа, на уровне глаз, помнишь?

Наотпмашь — как из ведра — ливанул краской. А потом взял — что? — нож, наверно, или кусок стекла. И по сырой еще штукапурке, по живому огню начал чертить людей. Как иероглифы. Так и стоят — в огне прорезанные.

Перебирая...

Даль, гладь, озеро.

Сели у кромки, молча, зажгли костер, смерклось.

В этот смотрю, у ног, и топт вижу — ножевой.

Луна взошла, круглая, и костер наш уже в воде на преть, и она, вода, прибывает всё, и уже держит его на весу, в ладонях, а он горит.

Да, — говорит, и ведет по стене, — как зеркало.

В о л ь е р

Он стоит у вольера №24. Пожалуй, слишком просторного, дальняя сторона его едва просматривается. Два страуса и семеро каких-то свинобобров, идущих гуськом, шаг в шаг, по выгоревшей от солнца траве. Шагов десять пройду, лягу, как картонный домик — от первого к последнему. Встану, постою, глядя в землю, поправяю ружья на спине и иду, покачиваясь на четвереньках.

Он стоит в густой листве, чуть в стороне от дороги, лицом к металлической сетке, так что видно его лишь со стороны вольера. На нем темно-пепельные джинсы и ярко-желтая футболка, спонцианово-желтая, если это о чем-то говорит. На ней надпись: «Умственные эпидемии» и под ней рисунок женщины в долгополом платье позапрошлого века, дама выгнута под неестественно прямым углом назад, от бедер.

Если вести взгляд от надписи к его лицу, то оно, вероятно, будет как-то соотноситься с этой надписью. Губы. С поправкой на чувственный сдвиг. Глаза. С поправкой на медиапивный. Ладонь на сетке. Долгая, как лицо. Такие слова: фаям, копт, свет рептильный. Другие слова. Или иначе. Фонетика лица. Неявные гласные. Дифтонги что ли? А из согласных — губные?

Страус подходит к сетке, голая голова в пуху тополином, смотрит на него как бы сверху вниз, отвернувшись к небу, не понимает кириллицу, надписи тут все на немецком. На табличках — информационный поп-корн. Сколько кубометров крови, например, из одного внутреннего бассейна в другой перекачивает жираф на водопое.

Человек, стоящий у сетки, смотрит, как в прибор ночного видения, на эту кровеносную выкройку, похожую на накрененный ночной город с маленьким, заходящим на посадку, вестибулярным аппаратом — где-то от копчика к мозжечку.

Жирафы, они в вольере №14, посреди которого — руинный отголосок Айя-Софии в полтора жирафьего роста. Четверо их в вольере: три эфемерные барышни с тургеневской поволокой глядящие вдаль, вверх неба, и он — голубой балерун на пуантах, для которого нет ни барышень, ни вольера, ни мира. Он стоит вплотную к стене, лицом к стрельчатой нише, на расстоянье ресниц от нее, и плавно, не касаясь земли, от нее отплывает с неподвижной головой, глядя в ту же точку, еще только что охваченную его ресницами. И, сделав шагов семь назад, замирает, и опять наплывает. Будто у последнего зеркала, на уже безжизненной земле, очарованный странник, сомнамбула-хореограф.

Да, думает человек, эта легкая светлая охра, эта нежная байка разлинована ангелом-школьником для игры на весу. И фигуры их, думает, будто все еще там, на луне, с ее сновидческой гравитацией.

Можно спросить — зачем он здесь. Зачем его возраст не 25 и не 70, а в некоем дрейфе меж ними, как река со встречным течением. Безответно. Зачем память живет с человеком, как в смежных комнатах? Зачем стирает она целые города событий, а какой-то осколок, без лица, без смысла, прижимает к сердцу — всю жизнь, до последнего дня? Прижимает к сердцу и время от времени человеку к глазам подносит — то топ, то эпок, — что там? И не сказать. Тахикардийная близь. И чем ближе к губам зеркальце, тем туманней.

Страус плюнул пыль у ног и замер, задержав веко. Эта химера из оперной костюмерной. Он смотрит на ноги страуса, на этот страшный сон

отставных простипуток с Плас-Пигаль, эпок канкан кошмара. Смотрит и видит зверье, уткнувшееся в распресканное дно ручья. Да, отцы высиживают, а матери роняют в песок детей и головой закапывают их под опцов, и отбегают, по-деревенски подопкнув отпыленные юбки. Куда? Отбегают, встанут, подергивая головой, семечки воздуха лузгают, успокаиваясь.

Человек смотрит сквозь сетку. Ему не видно, как за его спиной по дорожке спайкой капятся инвалидные коляски, в них полулежат церебральные паралитики, юные, если о возрасте. Их вывезли на экскурсию. Они вразнобой пытаются сфокусировать взгляд на том, куда им указывают, но головы их всякий раз выворачиваются по сторонам, и взгляд выскальзывает, как обмылок из рук. Они помогают ему выгнутыми вверх руками, сжатыми в кулаки, покручивая эту пугую баранку округи, мыча в безысходно-восторженном напряжении.

Там, за рвом, мимо которого едут они, шурился красная головня, чуть обдуваемая на ветру, провожая их взглядом, и ложится в траву, исчезая.

Он не видит, он смотрит сквозь сетку вдаль — на две скользящие по земле наполеоновские треуголки. Они приближаются.

Да, думает, как та разница меж двумя ладонями — левой, предначертанной, и правой, сбывшейся. Может, эти осколки, саднящие в сердце памяти, как-то связаны с этим несбывшимся предначертанным?

Приближаются, и теперь он видит — кто это: марсиане. Они подходят к сетке, лишь мельком взглянув на него, да и то — лишь один из них, она, похоже. Два метра гипотенузы, и — равнобедренные — хвост и нос, по метру. Хвост — как густая жесткая щетка для металлических стержней, и нос — такой же, как хвост, только голый, как голенище.

«А воздух море подметал, как будто море есть металл», — шепчет он, — это про хвост. «Зачем кружится ветер в овраге», — а это про нос. Но не сейчас, а когда он сует его в термитник. 160 фрикций липкого жгутообразного языка — туда и обратно — в минуту. И маленький бесресничный глаз, как зоркая земляная лунка.

Они смотрят в сторону своего дома, похожего на сауны или солярий, развернутый витринным стеклом к пешеходной дорожке. Сейчас там ремонт. Двое в спецовках, один в костюме, волосы косичкой, рука поднята, указывая в верхний угол, дизайнер, видимо. Термитник мусора на полу. Там же — сломанная табличка, где сказано, чем их кормят: овощ, мясо. Пост муравьиный, пожизненный.

Он переминается, раскачиваясь на грузных лапах — как не от этого тела, будто обул в меховые бахилы с белыми отворотами. Переминается, глядя на нее, и она под его взглядом, как в замедленной съемке, заваливается на бок. Он все раскачивается, чьяя ее от хвоста к голове и обратно, как палиндром.

А там, он думает, в тени деревьев за этим вольером — небольшой заповедник. А в заповеднике лежит опцеленный вагон, смятый, поблескивая сердоликовым тормозком спиленного рога. Лежит, поблескивая этой оскопленной сцепкой с миром.

Возвращается к этой фразе, медлит, держит под языком.

Да, где-то меж носорогом и тем кафе семейства зонтичных, где, сидя за семейным столиком, можно в три поколения глаз смотреть на огороженную лужайку с песочницей, в которой лицом к лицу лежат эти погорельцы вечности — тристан и изольда, запеченные в ороговевших ладонях.

Лежат с этим огарком улыбки, чуть повернутой внутрь, и жизнь проходит меж «я» и «тебя», проетпочье. И свет над ними какой-то пюпчевский, призрачные пючки, тающие узелки на память.

Где-то меж тем заповедником и этой песочницей с черепашками стоит зеркальный куб с фасадным стеклом и витринным задником, на котором — что? — мельница ветряная? дали, кресты, костры? Домики, рассыпанные по полу меж зеркальных стен? Что еще? — книги, набросанные меж домами, распахнутые? Может, маленькая заводная фигурка, похожая на богиню, с ключом в боку? Нет, вряд ли.

Надпись: *реликтовый человек*. Как это по-латыни? Homo relictus? *Семейство жертвенных. Самоды. Способ существования — иллюзорный.*

Вид утрачен.

Закрывает глаза, вглядывается сквозь стекло. Нет, вот он — сидит на камне, как Демон Врубеля. Сидит, рвется как холст, и наново пишется. Рвется и переписывается. А вокруг ног его — маленькая богородица кружит, монорельсовая, в огне. Нет?

Да, говорит, открывая глаза, в самом деле — как палиндромы. Она заваливается, распахнув руки; он видит их, эти полумесяцы, вросшие в ее запястья — по два на каждом. Чтобы вспарывать города что ли? Вспарывать их, эти каштановые мегаполисы, и просовывать в них трубу архангелову, и протрубить вспять, всасывая народы — слой за слоем?

Они ищут подобий, думают, эти бродячие гавриилы. Они ищут конусы вавилонов. Они идут на них вразвалку, как апокалипсисы, с тонкой дудкой лица. Они вонзают лицо во вскипающие алфавиты и мечут в них языки. И уходят, не оглядываясь, передергиваясь на ходу, иеронимы.

Он вдруг вспомнил свой давний сон. Если такие вещи можно назвать сном. Он с предельной ясностью сознавал *кто* это, *чье* лицо, и *что* происходит. Лицо приблизилось к нему вплотную, со всех сторон, и охватило его, держа на весу, как кромешная глубь — моллюска.

Лица он не видел, не мог поднять голову, такая тяжесть была, но и вместе с тем невесомость. Он не помнит, сколько так длилось, а потом голос (хотя звука не было): «Теперь смотри». И они начали наплывать из тьмы, одна за другой, удерживаясь во взгляде на миг, не больше — тайны тайн, душа мира, ее ключи.

Потом очнулся — как выброшенный на берег, глотая воздух. Пустой. Как дом — пустой, брошенный, откуда выгребли все жилье.

Вот, он думал, найди (и почему — меня?) в этом термитнике времен, лицо приблизить, открыть, дать... и тут же оплывать, спереть в памяти, оставив лишь дверь со скважиной и глазом моим, к ней прикипевшим: было...

Зачем Он так? Это как голем: вдохнуть жизнь, на лбу написав: *истина*, а потом спереть букву, обратив в стену, в смерть, в глину.

Это как что? Как если б явил Христа и тут же спер память о нем у всех, кто был, видел. Хлев остался, хлев с ослом, который дышал в лицо ему, согревая. Глаз остался — осла, моргающий на ветру, глаз с младенцем, в зрачок спеленатым.

Она лежит, раскинув руки, ноги смежены, на боку. Он кладет голову меж ее рук. Она в небо смотрит, он — за ее плечо, вдаль, на двух рабояг, приколачивающих табличку к дому: *муравьед... неполнозубые... от Мексики до северной Аргентины...*

Вольер, говорит, прикуривая, а по-русски — загон. Меж волей и правлей звучит. Воля запроваженная.

Пятеро теперь в отряде, двое отстали, сидят, ружья чистят. А те зигзагом идут, клинопись.

Будки тут расписные на каждой развилке. А в будках кто? — маленькое окошко, не разглядишь. Рука? Крыло? *Лоперя* — написано. - А выигрыш? Может, память? Другая память? Ну не деньги же. Или форма жизни другая? Лоперя сансары. Неустойчивое, пяпиконечное, разбеленное... Нет в живых, говорит. Снег — мелкие клочья, письма, рвут их и рвут — лепит. Нет, говорит, тех, кто любил. Кто оставил себя в живых.

Та дорожка, по которой, посверкивая, укапались коляски, ведет к 9-му павильону. Теперь, за полчаса до закрытия, пишешь там, редко кто с порога обведет взглядом пустые вольеры и прикроет дверь, не заметив у дальней стены призрачный силуэт с лицом месропа маштоца. Он стоит, опустив голову, задумчиво перебирая своими печально-сливовыми глазами маленький арарат зелени у ног. Тело его такого же сливового цвета, а посередке охвачено радикалитным серебристо-пушистым поясом. *Талёр* — написано.

А под куполом павильона распянуты веревочные лестницы, провисшие, как лианы. И по сторонам купола, обняв эти лестницы, висят две плюшевые игрушки. И смотрят сны. А в восемь утра они оживают на час молитвы — рук, ног, головы, и вновь медленно сворачиваются лицом внутрь.

Снег. Снег в глазах, с тем московским жестковатым подвывом. Январь. Глазурь и январь в этом слове. А в поп-день мело. И, как ни вертись, — в лицо. Пустынные дорожки, суртобы, ни людей, ни детей. Неподвижные, наполовину занесенные снегом верблюды, бизоны, ламы. И, по мере его приближенья, этот подвыв, прерываемый все нарастающим ревом.

Он стоял лицом к стене, в глубине клетки, и рвал рев из груди с мясом, с кровью, гнул ребра, схлестывая живот с хребтом. Лицом, этим косматым солнцем, в стену. А другой лежал спиной к нему, у прутьев клетки, и при каждом рыке, щурясь, круглил губы — беззвучно. Как дул на рану. Куда? Чью? Как сурдоперевод. Кому? На весь парк их четверо: он и три бомжа, которых видел издали, они махали ему рукой с авоськой и скрылись, запахнутые пургой.

Час спустя он снова увидел их — в крытом манеже; они сидели внизу, на скамейке, глядя на слона, который стоял в тиши, чертил хоботом на землистом песке иероглифы и задувал их.

Они сидели с этой авоськой у ног, бутылка вина и батон, ополовиненные. Две сивиллы в лохмотьях, друг к другу прильнувшие, — сквозь него, сидящего между ними. Он встает, и они, как подклеенные к нему, встают, идут к выходу, у двери оборачиваются, и эхо подхватывает их голоса, вначале мужской, потом сдвоенный женский: «ауфидерзейн!.. ауфидерзейн...», и еще долго кивают ему, им кивающему с манежа.

Он опускает ладонь, уже совсем озябшую, в карман и чувствует там ее ладонь, и она осторожно греет его, перебирая пальцы.

Спранно, думает он, спранно, шепчет, не в силах голову повернуть. Снег в глазах. И внутри все белым-бело.